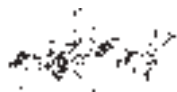


НИКОЛАЙ ПЕРОВСКИЙ

ЖУРАВЛИ НЕ ТОЛЬКО УЛЕТАЮТ...

СТИХИ • ПРОЗА • ВОСПОМИНАНИЯ



**ББК 84(2Р)
П 91**

Перовский Н.М.

П 91 Журавли не только улетают... Стихи. Проза. Воспоминания. – Орёл: Издательство “Вешние воды”, 2009. – 474 с., 16 с. ил.

Художник Т. Блинова

На обложке использовано фото Ивана Пашкова (1966 г.)

© Н.М. Перовский, 2009

© Издательство “Вешние воды”, 2009

ISBN 978-5-87295-239-8

© Макет издания – А.П. Литюга, 2009

СТОПА ТВОЯ ЛЕТКА



Купиш

и от д'явола

и от дявола

и от дявола

и от дявола

и от дявола

и от дявола

и от дявола

и от дявола

и от дявола

и от дявола

и от дявола

и от дявола

и от дявола



БЛАЖЬ

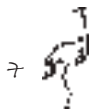
Дмитрию Порушкевичу

*Я думал, Хозяин творит на глазок
свои чудеса и мистерии,
используя каждый подручный кусок
земной и небесной материи.*

*Но вот я примерил чужую судьбу —
торчит, выпирает, топорщится,
примерил другую — ни пяди во лбу,
творение, чуждое творчеству.*

*Тогда я отбросил внезапную блажь,
и в шкуру мою затрапезную
вернулись сомнения, срывы, кураж,
полёт и парень над бездною.*





ТРОПИНКА

Л. Агибалову

*Какой простор и звон в ушах,
когда тропинка полевая
тебя выводит на большак,
все горизонты открывая.*

*Ты набираешь высоту
и видишь с птичьего полёта
всю наготу и всю тщету
земных страстей, людского пота.*

*Тебя охватывает страх,
и манит тёплая, живая,
вся в повилке и в репьях,
твоя тропинка полевая.*





ГЛОТОК ВОДЫ

*Глоток воды. В горах или в пустыне,
когда полдневный зной под пятьдесят,
когда словами самыми простыми
о самом сложном люди говорят.*

*Глоток воды. А где-то есть на свете
прозрачные, как воздух, родники,
там в самый знойный час гуляет ветер
и влажные колышет васильки.*

*Глоток воды. Но стоит нам напиться —
и сложность мира снова тут как тут,
нам подавай опять любовь и пищу,
и люди плачут, радуются, лгут...*





НОЧНЫЕ ГОРОДА

*Ночные города — моя беда.
Так просто потерять покой и веру,
когда всё спит, всё немощно когда,
а ты один мотаешься по скверу.*

*Лишь ветер пробежится по листве
да по трамвайным рельсам чем-то звякнет,
а то в твоей бессонной голове
сладчайшим бредом вспыхнет и иссякнет.*

*Да ветер ли? И кажется тебе,
что нет, не ветер, что-то там иное,
причастное ко всей людской судьбе,
витийствует, витая над тобою.*

*Оно, наверно, ждёт, что я усну,
я не усну, я слишком старый сторож,
пересидевший не одну луну
в многоэтажных каменных просторах.*

*Я не за плату — плата мне не впрок,
я не за славу — спят владельцы славы,
покуда мир плетёт себе венок,
я должен охранять цветы и травы.*



БЕССОННИЦА

Что так гнетёт в часы бессонниц?

*Неужто в мареве ночей
нам не даёт покоя совесть
из-за житейских мелочей?*

*Не оказал услугу другу,
но подал руку подлецу,
как будто жизнь идёт по кругу,
а мы блуждаем по кольцу.*

*Ночная совесть — не награда,
и ты мычишь на белый свет:*

*“От слишком пристального взгляда
себе и ближним проку нет.*

*Не голубиный, а глубинный,
он не несёт в себе добра
ни тем, кто вылеплен из глины,
ни тем, кто создан из ребра...”*

Всё это дух противоречья.

*Непостижимо странный дух,
что человек себе на плечи
с рожденья взваливает вдруг.*

*И в этом духе — столкновенья
души и логики, и в нём
живут ночные озаренья,
не возникающие днём.*

*А потому раздумий горьких
глушить снотворным не спеши —
да озарят они задворки
твоей судьбы, твоей души...*



ПРОЗРЕНИЕ

Памяти Сергея Наровчатова

*Бывает острое прозрение,
как взрыв в мозгу, что ты – живой,
что ненависть, любовь, горенье
в тебе, с тобой и над тобой.*

*Ты только вскрикни, хлопни дверью
или засмейся – просто, вдруг –
и тут же ветер и деревья
тебя затянут в общий круг.*

*В тот милый круг, где всё живое,
где наслаждение и боль,
где правят общию судьбою
горенье, ненависть, любовь.*

*Мы в общем хоре все – солисты,
и даже тот, кто безголос,
в своём, особенном, регистре
доносит шепот свой до звёзд.*



В. Блинову

*Жить! На закате и рассвете
встречать гостей и ждать вестей,
и попадать в чужие сети,
и рваться из своих сетей.*

*Жить! Ради слова, ради дела,
как будто каждый друг и брат, —
душа проснулась и взлетела, —
полёт не требует наград...*





МОЦАРТ

*Похороненный в общей могиле,
он лежит меж былинки и трав,
сколько раз эти травы всходили,
суету и забвенья поправ!*

*Одинокому всюду пустыня,
если верить народной молве,
небеса благоволят к святыне,
чей престол и обитель в траве.*

*Человечество занято делом,
цель ясна и задача проста —
дай вкусить ему Божьего тела,
непорочного мяса Христа!..*

*Он устами ромашек смеётся,
сеет дух из открытой горсти,
светлый Моцарт, божественный Моцарт,
ты прости нам блаженным, прости...*



*Причуды, страсти, праздность гения,
всемирной славы торжество, —
кто знает цену откровения,
надрыв и жертвенность его?*

*Всё остаётся за кулисами,
он в жизни гаер и актёр,
флиртует с венскими актрисами,
играет в карты, мелет вздор.*

*По-детски плачет и смеётся он,
считает марки, пьёт вино,
так Моцарт остаётся Моцартом,
ему быть Моцартом дано!*





САД

Н. Силаеву

*Художник сад нарисовал.
В его мазках, в его накрапах
листвы янтарный карнавал
и прелой падалицы запах.*

*Я знаю, много лет назад
ему позировала осень,
но сотворенный кистью сад
с тех пор цветёт и плодоносит.*





*Глухая тишина легла на Карадаг,
дубовые леса в полночной дрёме,
в далёком далеке мигающий маяк,
а может быть, ночник в тревожном доме.*

*Такая темнота, такая тишина,
как будто в эту ночь и слеп, и глух ты,
постой, пока из моря выплывет луна
и ты увидишь призрачные бухты.*

*А то, чего нельзя понять издалика,
ты мысленно представишь и дополнишь:
испанский дрок и скал граненые бока,
и тени облаков, причудливые в полночь.*

*И вспомнишь, как на осыпях крутых
слепяще расцветали ветви дрока,
как море с небом ровно на двоих
делили землю где-то там, далёко.*

*И как после заката, в вышине,
сошлись созвездья, словно на параде,
и чуть шумело море в тишине,
и чуть шуришал песок, нагретый за день.*

*Луна бледней, бледней, и груди облаков
сияют, словно росписи в соборе,
проснулся Карадаг, и видно далеко,
и от зари вот-вот зажжется море.*



НОЧЬ

Дочери

*Ночь с фонарями, с глазницами окон
смыла остатки дневной бирюзы
и размотала свой бархатный кокон
в лужах прошедшей весенней грозы.*

*Ночь разлеглась, как невеста на ложе,
гроздь сирени провисли фатой,
ночь подытожит, а время низложит
всё, что не смыто грозой и росой.*

*Жизнь в мирозданье подвластна привычке —
купол искрит, и троллейбус искрит,
по расписанию, как электрички,
перемещается звёздный синклит.*

*...Молния Зевса, сразив Фэтона,
семенем жизни развеяла прах,
яблоком Евы, Париса, Ньютона,
райской оскомой греха на зубах.*

*Ева в Эдеме сама себе сваха,
женскому чреву не писан закон,
только оно и не ведает страха,
только оно перешло Рубикон...*

*Ночь без Пришествия, ночь без Потопа,
быт совершает вселенский обряд,
больше не ткёт полотно Пенелопа,
нить Ариадны не вьёт шелкопряд.*

*Как это страшно — закон и порядок!
Плазма не выкипит в звёздном котле,
Марья Иванна над стопкой тетрадок
неотвратима, как ночь на земле.*



ПТИЦЫ

*На весенние рощи и чащи
прямо с крыльев летучих зарниц
опрокинулся вещей и вящий
звон и гомон разбуженных птиц.*

*Им внимает и вторит округа,
вся природа потворствует им,
возвратившимся с райского юга
к чернозёмным гнездовьям своим.*

*Поневоле собьёшься на лепет,
будь хоть тысячу лет городским,
так доверчиво ласточка лепит
свой домик над балконом моим.*





МУЗА

*Она верна своей природе —
всегда внезапна и хитра,
в её приходе и уходе
есть чисто женская игра.*

*А вот её метаморфозы:
то смех-смешок, то грех-грешок,
то к аромату майской розы
примешан серный запахок...*

*И недотрога, и блудница,
готова к плахе и к венцу,
ей по плечу и власяница,
и багряница ей к лицу.*

*Сатира, магия, эклога —
пределы жанра ей тесны,
она привыкла брать у Бога
и добирать у сатаны...*



КАРТИНА

Ольге Сорокиной

*Живописный портрет, где мы вместе с женой
восседаем на фоне далёкого храма,
забирает всё большую власть надо мной —
вот комедия, вот мелодрама!*

*Театральной овчиной покрыта скамья,
в росной мороси гроздь сирени,
за оврагом скворец на манер соловья —
пересмешник! — творит свои трели.*

*У прилежной художницы быстрая кисть,
чтобы облик наш, беглый и блёклый,
всю прошедшую жизнь, всю грядущую жизнь
обессмертит кармином и охрой.*

*Уловить и застопорить наши черты
в моментальном, живом, быстротечном,
воскрешая из пепла земной красоты,
мимолётное делая вечным.*

*Нам на этой картине цвести и цвести,
купиною гореть, не сгорая,
нам дано до себя, молодых, дорасти,
не старея и не увядая.*

*Как он пристально смотрит на мир, мой двойник,
кисть умеет быть животворящей,
этот дух, что из чрева искусства возник, —
может он, а не я — настоящий?!*



ГАСНУТ СВЕЧИ КАШТАНОВ

Дочери

*Отцветает сирень,
передав эстафету жасмину,
гаснут свечи каштанов,
вразлёт мельтешат лепестки.
На подрамник природы
июнь водружает картину,
жизнь летит по прямой,
словно торные тропы строки.*

*Солнце с тучками спорит —
и кто там кого объегорит?
Одичавший от вольности
ветер с рассветных полей,
помыкая пространством,
без визы врывается в город,
напуская на пух одуванчиков
пух тополей.*

*Всё в движенье —
природа чужда рефлексии,
вечный двигатель — Время —
бесстрастный её демиург.
С подневольным прищуром
смотрю и смотрю на часы я,
неизбежный закон бытия
постигаю не вдруг.*



*Циферблат, не шутя,
замедляет усталые стрелки,
в унисон спотыкается
ревностный счетчик в груди,
грех пенять на судьбу —
Время долго с тобою
играло в гляделки, —
с кем ты вздумал тягаться?! —
Смирись и глаза отведи.*





В РАСКОЛДОВАННОМ МИРЕ

*Мы живём в расколдованном мире.
Сказки кончились — скучно, старо.
Злой иронии, едкой сатире
вручено золотое перо.*

*Что поделаешь — всё по науке:
подобрали к природе ключи,
а Емеля без сказочной щуки
так и свищет в кулак на печи.*

*Нам почти удалось откреститься
от стихов, от восходов, от звёзд,
жирной курицей стала Жар-птица,
потерявшая радужный хвост.*

*Мы утратили магию слова,
взбаламутив источник до дна,
остюки да гнилая полова
обретаются в роли зерна.*

*Ох, ученые, будь вы неладны!
Напрягите высокие лбы,
синтезируйте нить Ариадны,
дайте шанс в лабиринте судьбы!*



ЕЩЁ ЗАИГРЫВАЮ С МУЗОЙ

Лета к суровой прозе клонят...

А.С. Пушкин

*Еще заигрываю с музой,
отодвигая день и час,
когда я стану ей обузой,
как постаревший ловелас.*

*Игра — в природе человека,
тасует страсти род людской,
но я в течение полувека
был верен музе, ей одной.*

*Мы накануне расставанья,
уж не поплакаться ли мне —
пусть не в жилетку мирозданья,
а лишь в подол своей жене?*

*И всё окончится чудесно:
моя законная жена
своей сопернице небесной
воздаст сторицею сполна...*



ЧАС ПИК

*Час пик — все козыри на стол!
Над площадями и полями
полночный запах маттиол,
полночных звёзд живое пламя.*

*Душа гнездится в небесах
и презирает хлеб насущный,
рассудок — рекрут на часах,
земной потребности крест несущий.*

*Но наступает новый день,
ночные рушатся обеты,
душа отбрасывает тень,
как все телесные предметы...*





ГЕРОЙ

*Слава вечная Герою
сорока земных колен —
он вчера разрушил Трою,
а сегодня Карфаген.*

*И опять пастух и пахарь —
кто останется живой —
поднимают жизнь из праха,
а в семье растёт Герой.*





ЛУННАЯ НОЧЬ

Сергею Ташкову

*Ночь оккупирована луной,
мир до рассвета замер.
Мой карандаш — туз козырной! —
время сдавать экзамен.*

*Пусть мне воздаст по моим делам
лунная панорама,
звёзды подсвечивают куполам
близкого небу храма.*

*Я утопил в глубине зрачков
свет бересты берёз,
стройно поют мириады сверчков
гимн мириадам звёзд.*

*Я прислонился к сосне спиной
и приписал в тиши
ночь, оккупированную луной,
к летописи души.*



АНОНИМ

*Есть мир исчисленных планет,
туманностей и звёзд,
а ты одна из тех комет,
что тянут звёздный хвост.*

*Твои туманности внутри,
они не сочтены,
ты зажигаешь фонари
от солнца и луны.*

*А я всё тот же аноним,
ничто или никто,
неотличим и заменим,
как плащ или пальто.*

*Я не могу сойти с поста,
назначенного мне,
где шум дождя и дрожь листа
в крадучей тишине.*

*Судьба у каждого своя,
бессилен даже Бог,
презрев законы бытия,
переменить итог...*



КАМЕНЬ

*Вечерний небосвод перерчертил
осиротевший межпланетный камень,
он был согрет дыханием светил,
а я посмел схватить его руками.*

*Я с ним провёл часы на пустыре,
огнём пришельца душу согревая,
но он исчез, истаял на заре,
и с той поры душа, как неживая.*

*Земная жизнь светла и хороша,
пока живешь надеждами и снами,
зачем нам знать, что в камне есть душа,
что небо и над нами и под нами?*





УПАЛ В ТРАВУ

*Упал в траву и обнял землю
и мне пригрезилось во сне,
что я и чувствую, и внемлю,
как бродят соки в глубине.*

*Земли божественное суло
бурлит и рвётся из котлов
и делит собственное русло
на миллионы рукавов.*

*Там, в океане превращений,
в гигантском тигле бытия,
берут свой старт глупец и гений,
библейский голубь и змея...*





БОМЖ

*Попросил прикурить у бомжа,
он смутился на долю минутки,
а потом, суетясь и дрожа,
протянул мне бычок самокрутки.*

*И, потешно потряхнув головой,
он как будто на миг возгордился:
дескать, видишь, браток, я живой,
я кому-то еще пригодился.*





ФАЛЬСТАРТ

Памяти Владимира Высоцкого

*Как хочется думать, что время не знает фальстартов!
Но ради приличий во все геликоны трубя,
эпоха хоронит своих трубадуров и бардов,
не зная, что в поисках жанра хоронит себя.*

*Источатся камни надгробий, осыплются ноты и строчки,
забудет привыкший к фальстартам компьютерный мир,
что жили когда-то на голой земле кустари-одиночки:
Сократ, Леонардо и Моцарт, Гомер и Шекспир...*





ХОЛОДА

*Холода среднерусской равнины.
Опаленные кисти рябины,
голубые пары, зелень,
полусумрак короткого дня.*

*И распластанный дым в огороде,
и сугробы багряной листвы,
и усталая строгость в природе —
притупившийся траур вдовы...*





ЛИСТОПАД

Геннадиию Александрову

*Душа такого не припомнит,
такого не было со мной:
шум листопада был приподнят
над кромкой леса, над стернёй,
над обомлевшею речушкой,
над пожелтевшю лозой
и над пастушкой с белой кружкой,
присевшей рядышком с козой.*





ЖУРАВЛИ

*Клином, караваном, вереницей,
вместе от начала до конца,
проплывают медленные птицы, —
задираем головы и лица,
простираем руки и сердца!*

*Как летят! привыкнуть невозможно!
В стае облаков белым-белы,
дарят нам печально и тревожно
влажное гортанное “Курлы”.*

*Долетят до моря и растают,
но на радость жителям земли
журавли не только улетают,
но и прилетают журавли!*





ОБ ОСЕНИ ПИСАТЬ...

*Об осени писать — какой наглец!
О ней не раз великие писали...
Но как же быть, когда соседний лес
опять, опять в безлиственной печали?*

*Как не писать, когда в сухой стерне
старинный горьковатый запах грусти,
а в блеклой отпылавшей вышине
всё тот же плач несут над нами гуси?*

*И будет так за окнами темно...
Случайный, а, быть может, не случайный,
ворвётся ветхий лист в моё окно,
хрустящий, как пергамент, полный тайны.*

*Кружитесь, листья, падайте на грудь,
ложитесь мне на голову и плечи,
и пусть ваш золотой и краткий путь
с путём пересечется человечьим!*

*И я бегу из дома, и до слёз
все так необъяснимо и так близко...
То листья поднимаются до звёзд,
то звёзды опускаются до листьев!..*



ДВОРНИК

*Он берёт метлу и старый ватник,
озирает двор, как господин,
под росой курчавится гусятник,
одуряет запахом жасмин.*

*Блёклою луной размыты тени,
назревают птичьи голоса,
ветер спит в объятиях сирени —
до рассвета ровно полчаса.*

*Чьи-то сновиденья провожая,
чью-то ночь, сгоревшую дотла,
истовая, стёртая, чужая
шаркает и шаркает метла.*





ЗАВОДЬ

*Эта сонная заводь —
день открытых дверей,
здесь учился я плавать
и удить пескарей.*

*Здесь я отроком грешным,
сговорясь с камышом,
подглядел, как потешно
ты прошла нагишом.*

*Я забыл твоё имя,
но шуршит между строк
под ступнями твоими
раскаленный песок...*





*Остывший Орлик, палая листва,
еще вчера блистательная крона,
изъедена червями и мертва,
заполонила зеркало затона.*

*Студёный ветер в зарослях куги
гудит, как домовой над пепелищем,
а по воде тяжелые круги,
а небосвод, как лодка кверху днищем.*

*Деревья, дерева и деревца
обнажены, черны, но беспечальны.
Природа! Нам бы воду пить с лица,
ей всё к лицу, любой наряд — венчальный!*





*Морозцем тронута рябина.
Качни — и заиграет гроздь,
резными гранями рубина
оледенит, озвучит горсть.*

*В затонах с порыжелой ряской
пролётным родичам вослед
вершится посвистом и пляской
хозяйских птиц кордебалет.*





БРОЖУ ПО ОСЕНИ

Ивану Александрову

*Брожу по осени кругами,
выписываю кренделя,
и в перелётном птичьем гаме
меня баюкает земля.*

*Быть может, я немножко выпил,
но перелётная страда
томит птенца, который выпал,
однажды выпал из гнезда.*

*Я соберу багряный ворох
и, чиркнув спичкой, посмотрю,
как этот ворох, словно порох,
отсалютует сентябрю.*

*... Мы всё бесцветное отринем
и занесём в лесной альбом
синкопы желтого на синем
и серого на голубом.*



В ДЕТСКОМ ПАРКЕ

*Кружит над Орликом листва
скрипят качели в Детском парке,
полунагие дерева —
свечные желтые огарки.*

*Грибков ржавяющая медь,
амфитеатра горловина,
дощатый птичник — что-то здесь
от теремка и от овина.*

*Старух оплывший стеарин,
молочнокислые внучата,
фазан — китайский мандарин,
а уж фазаниха квохчата!*

*Весёлых листьев канитель
творит гирлянды и мониста,
и одинокий поздний шмель
жуужжит над бархатцем пятнистым.*



АЛЛЕЯ

Тане Блиновой

*Кустами роз обсажена аллея,
прохожие ушли в себя самих,
как будто, розовея и алея,
цветут и пахнут розы не для них.*

*Одни несут бутылки и батоны,
укрывшись от небес в дождевики,
другие, распустив свои бутоны,
купают в вешней влаге лепестки.*

*И ни к чему заборы и соборы,
пока живут, друг к другу снисходя,
два высших вида фауны и флоры,
объединённых нитями дождя.*





СТЕПНОЕ ОЗЕРО

Л.Ю. Новиковой

*Я увидал степное озеро,
когда на нет сошла луна:
вода, густая, как молозиво,
прохладных лилий белизна.*

*Дымилась гладь его зеркальная,
похоронившая луну,
созвездия зодиакальные,
отсыревая, шли ко дну.*

*А на закате бледно-розовом
бессмертники и ковыли
головки свесили над озером
и к водопою прилегли.*

*И вслед за жаркими зарницами
на берег хлынули лучи
с людьми, отарами и птицами,
перворождѣнными в ночи.*



*И снова этот запах
подвянувшей травы,
и желтый лист в крапах
осенней синевы.*

*Любви и всепрощенья
полна душа моя —
о это ощущение
почти небытия!*

*Я в крике журавлином
родной услышал крик,
лечу сквозь паутину,
сквозь листья — напрямик,*

*И не стыжусь внезапно
почуять на щеке
начало слез и запах,
и вкус на языке...*



ПАУТИНА

В. Михееву

*Паутина в осиновых чащах,
паутина в берёзовых рощах,
сизый морок, по миру летящий,
укрывает и выгон, и площадь.*

*По тропинкам опавшего сада,
по дорожкам увядшего луга
прохожу я, настух листопада,
паутиной опутанный туго.*

*Разомлев от теплыни в полыни,
науки понаделали пряжи,
запропала земля в паутине,
и никто не заметил пропажи.*





*Дремлют лилии в озёрах,
спят степные пауки,
суховея сонный шорох
шелушит солончаки.*

*Велики глаза у страха —
слёзы, стоны, шепот, смех...
А луна, ночная сваха,
осеняет первый грех...*

*Просыпаются стрекозы,
богомолы и жуки,
по степи белеют козы —
оренбургские платки.*

*Звёзды в зареве зачахли,
поседали кураи,
и бессмертником пропахли
губы жаркие твои.*



*Когда капли накопили,
весна, смывая снег и грязь,
омыла землю, как в купели,
и за растенья принялась.*

*Леса, сады и огороды
шумят листвой, пестрят травой,
чистописание природы –
триумф работы черновой!*





*Стопа твоя легка,
в охотку этажи,
весёлая рука
хватает миражи.*

*На травы и цветы
глядишь, как ротозей,
до неба полверсты,
и полон дом друзей.*

*Когда-нибудь потом,
все связи обрубя,
стареющим кротом
зароешься в себя...*





НА ОРЛИКЕ

В. Романенко

*Воды Орлика спокойны,
холодны и зелены.
Дух болотный, запах хвойный,
ожидание луны.*

*Шелестят в ночи деревья,
камыши в воде по грудь,
дремлет город, спит деревня,
проплывает Млечный Путь.*





*Камыши и прибрежные ивы
поклоняются полой воде.
Ранний грач, смоляной и счастливый,
утопает в парной борозде.*

*Застоялось затишье ночное
над полями, над шапками гнёзд,
запах озими, дух пережня,
ледяное мерцание звёзд.*





*Опять на юг уходит лето,
освобождаясь от меня,
опять в просветах бересклета
колючки молнийного цвета
да полинявшая стерня.*

*Душа осела и остыла,
с годами осень тяжелей,
пришла и тайну мне открыла,
что где-то в мире есть могила,
могила матери моей...*





ВЕСНА

А. Потапову

*Давай, зима, на посошок
пригубим мартовской капли!
По свету носится слушок,
что на подлёте птичьи трели.*

*Весна с грачами на слуху.
Однажды ночью лопнут почки,
проснётся верба, вся в пуху,
и лес в зелёной оторочке.*

*А этот зябкий березняк
и этот паводок весенний —
вселенский праведный сквозняк
в канун Христова воскресенья.*

*Две тыщи лет — из года в год —
дух торжествует над каноном
и каждый праздничный восход
кропит пасхальным перезвоном.*



ПОСЛЕДНИЕ ЛЬДИНЫ

*Последние льдины плывут по реке,
апрельские лёгкие льдины,
плывут облака, отражаясь в Оке,
плывут голубые осины.*

*И мостик, разрушенный полой водой,
и сваи, поросшие мохом,
и трепетный запах травы молодой,
и ранних грачей суматоха.*

*Цветистый и праздничный сон наяву,
неведомый скуке и злобе,
весь мир на бегу, на лету, на плаву
в неведенье, в страсти, в захлёбе...*





ПУСТЫ ПОЛЯ...

*Пусты поля и голы огороды,
смирение акаций и берёз,
попробуй вопреки игре природы
не слишком принимать себя всерьёз.
Заставь себя уснуть, уgomониться,
притормози свой разум до весны,
живи душой, как дерево, как птица,
придумывай и верь в цветные сны...*

*Неотвратимо! Выше, глубже, шире
рассудок проникает в бытие —
найти еще не найденное в мире,
найти и дать название своё!
И лишь в минуты переутомленья
во искупленье вечного труда
рождают в нас восторг и умиление
сирень и предрассветная звезда.*



ОСЕННИЕ КОСТРЫ

Памяти Александра Маслоva

1

*Приятно в эту пору
вытаптывать росу,
я собираю хворост
за городом, в лесу.*

*А ноги в листьях тонут,
куда ни наступи,
впиваются в ладони
шиповника шипы.*

*Костёр всё ближе, ближе,
в нем что-то от игры,
и вот уже я вижу
давнишние костры.*

*От холода, от голода
спасавшие меня,
сквозь детство
и сквозь молодость
прошла игра огня.*

2

*Костёр из довоенной
картофельной ботвы
дымит себе средь верной
детдомовской братвы.*



*Чабанский азиатский
стреляет саксаул,
в ущелье холод адский
и водопада гул.*

*Поют костры целинные,
гитарят через край,
в озёрах дремлют лилии,
трещит степной курай.*

*А вот и белгородский,
у выбеленных круч,
гитара стала взрослой,
а вкус вина горяч.*

3

*Как много тех, с которыми
я жёг свои костры,
ушли в иные стороны,
в последние миры!*

*Подул ли ветер с севера,
но с некоторых пор
летит листва осенняя
в мой нынешний костёр...*



ПРЕДЗИМЬЕ

*Так небо пасмурно, и так вокруг темно,
что ни к чему не чувствуешь доверья,
всю ночь скребутся в мокрое окно
корявые и черные деревья.*

*Но лишь три дня, три дня тому назад
за этим вот окном, над этим лесом
кружился и светился листопад,
и это называлось бабьим летом.*

*И пахло листьями и выжженной стернёй,
и сыростью грибной несло в низине,
и лист кленовый, желтый и резной,
запутавшись, качался в паутине.*

*Но скоро, скоро, может быть, вот-вот,
вскружатся галки и снежок капризный
пойдёт-пойдёт, и сердце отойдёт
в предчувствии морозной, чистой жизни.*



БЛАГОВЕСТ

*Звонят к заутрене, давно уж не звонили,
распугивают галок и ворон,
сияют купола, сверкают шпили,
сквозят кресты, как после похорон.*

*Звонят, звонят — размеренно и глухо,
не разобрать — вблизи или вдали,
плывёт, плывёт смиренный праздник духа
над стогнами поруганной земли.*

*Я не войду в старинную ограду,
лишь постою, смущен душою, за...
Пусть вышний звон навеет мне отраду
и увлажнит иссохшие глаза...*





СОБЛАЗН

*Не сотвори себе кумира
и непрелюбы сотвори —
сия библейская стихира
меня сжигает изнутри.*

*Что дух и плоть — собор и фреска?
Дыша и тем уже греша,
скупыми проблесками блеска
не насыщается душа.*

*Зачем же запер ты, Господь,
надмирный дух в мирскую плоть?*

*Воздвигнув стены и стропила,
Ты щель оставил в потолке,
дабы соблазном ослепила
меня свеча в Твоей руке.*

*Я пёс, бездомный и поджарый,
закрытый в будке на засов,
скулю и вою на Стожары
и на созвездье Гончих Псов.*



АГАТ

*Однажды в бухте Коктебеля
нашел я редкостный агат
и возмечтал, как тот Емеля,
что буду славен и богат.*

*Его прожилки и вкрапленья
играли радугой внутри,
то был природный перл творенья —
осколок плазмы и зари.*

*Все любовались им в восторге,
лаская, славили его,
и он от тех словесных оргий
свое утратил волшебство.*

*Он превратился в круглый камень,
случайно выплывший со дна,
из тех, которые веками
катает глупая волна.*

*А я в бесцветных буднях быта
себе вернул свои права,
чтоб у разбитого корыта
искать волшебные слова.*



СЛОВА

*Лебяжье, Лебединка, Лебедянь –
издревле наши реки и озёра,
приветливо открытые для взора,
с разбуженных сердец взимали дань.*

*В глухой чащобе, в пустоши степной
природа родила на свет полотна,
где лебедь легкопенной белизной
соперничает с лилией болотной.*

*И человек, во власти естества,
задолго до кресала и мотыги
искал в окрестном мире, а не в книге
летающие, как лебеди, слова.*





ЗВЕЗДА

В. Беганову

*В мое окно звезда вечерняя
глядит, подмигивая мне,
а для меня, для виночерпия,
не только свету, что в окне.*

*Я говорю: ко мне по случаю
сошлись старинные друзья,
а ты подмигиваешь, мучая
и праздною вечностью дразня.*

*Мы здесь живем и пьем по-черному,
мы смертны, впереди ни зги,
лети, пожалуйста, к ученому,
ему запудривай мозги.*

*В ответ она вонзилась штопором
мне прямо в душу — вот беда!
И я запел мощней, чем Штоколов:
— Гори, гори, моя звезда!*



ИТОГИ

*Под Новый год подводятся итоги,
тусуются вершки и корешки,
играют в поддавки земные боги
беспечно и азартно, как в снежки.*

*А мне судьба — карманы наизнанку! —
преподнесёт в подарочном мешке
бутылку с джинном, скатерть-самобранку,
жар-птицу в клетке, щуку на крючке!*

*Надеждой не по чину награждённый,
не жду от жизни сказочных щедрот,
а за окном снежок новорождённый
идёт себе, идёт себе, идёт...*





ЗАВИСТЬ

В. Беганову

*Эти луны нарисованы,
эти звёздочки замешаны
так, что ветви стонут совами,
так, что дебри пляшут лешими.*

*Эта гиблая болотина
водяными взбаламучена,
чья тут заводь, чья тут родина,
подколотая излучина?*

*Сон ли смертный, жизнь ли пряная
с насекомыми, растеньями —
эти противостояния
между кроной и кореньями?*

*Гнусом внутренним искусанный,
я стою, слепой от зависти,
к этой вязкости искусственной,
к ароматной этой затхлости.*

*Ни кивком, ни жестом разовым
не избыть нам стылой млечности,
спит душа в объятьях разума,
как мгновенье в путях вечности.*



СОНЕТ

*Игра словами — древняя игра,
ведущая в трагическом размахе
прямую — от пера до топора,
секущую — от славы и до плахи.*

*Когда душа чиста, а мысль остра,
творение живёт в цветке и прахе,
сжигая и развенчивая страхи
своим огнём и пламенем костра.*

*Широкая народная молва
у мастеров заимствует слова
и обряжает их в свои одежды.*

*Стоят потомки, головы склоня,
стоят, в плену печали и надежды,
у книжной полки — Вечного огня.*





В РАЙЦЕНТРЕ

*В райцентре хоронили старика,
не знаю, кем он был на белом свете.
Плыла машина, плыли облака,
старухи, старики, деревья, дети...*

*А на его рассудочном лице
такое затаилось выражение,
как будто это он привёл в конце
весь мир в одностороннее движение.*

*Сдвигалось и смещалось всё окрест,
живое и бессмертное покамест,
и старый домкультуровский оркестр
шел во хмелю, хрипя и спотыкаясь.*

*И довели до места, и снесли
к пределу, где кресты стояли косо,
и с каждым комом сброшенной земли
слабее становился запах тёса.*

*И стали расходиться, и оркестр
куда-то поспешал на именины,
а мне казалось — вбитый в землю крест
ухмылкой провожает наши спины.*



ПЛИТА

*Руины в степном городище
всегда навевают тщету.
Вселенская нива — кладбище,
плита попирает плиту.*

*Старинные фиты и яти,
проросшие мхом и травой,
кем был он, истец благодати,
забытый народной молвой?*

*Вокруг ни родных, ни знакомых,
ни ближних, ни дальних, увы...
Лишь ветер да рой насекомых
в июльских владеньях травы.*

*Всё мимо и всякое — мимо
под музыку пчёл и шмелей —
судьба Персеполя и Рима,
и тайна пастушьих яслей.*

*Зачем же под шорох и шелест
травы, от лучей золотой,
стою я, как звёздный пришелец,
над старой могильной плитой?*

*А станет ли наша эпоха
с кичливою славой своей
навозом для чертополоха,
нектаром для пчел и шмелей?*

ФИЛОСОФ

*Наконец, в его серое здание
заглянула ночная звезда,
и мучительный смысл мироздания
для него приоткрылся тогда.*

*И утратил он имя и отчество,
и забросил земные дела,
золотые плоды одиночества
стал он прятать в утробу стола.*

*И покуда звезда не отринула,
подходил он ночами к окну,
а потом мудрецам ледериновым
говорил, усмехаясь: — Ну-ну!*

*Но в погоне за стилем отточенным
он забыл, что живёт на земле,
и в мозгу завелась червоточина,
древоточец завёлся в столе.*

*Пожиная плоды самомнения,
отвергая хвалы и хулы,
ждал прозренья — дождался сомнения,
уколовшего тоньше иглы:
луч звезды, леденяще мерцающий,
издевательски всё обещающий...*

*И ночами, гонимый бессонницей,
отвергая бесцельный досуг,
стал копать он в собственной совести,
докопался и выяснил вдруг:*

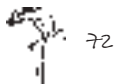


*все родные и близкие вымерли,
навсегда позабыли друзья,
ветры времени начисто вымели
дух добра из его бытия.
Подошел он, шатаясь, к столу —
и костёр запылал на полу...*

*Но страшней, чем бегут от пожарища,
он бежал от себя самого
и увидел цветущий боярышник,
и смертельно вцепился в него.*

*...Отыскал я могилу философа —
ни травинки на ней, ни цветка,
с той поры дорожу своим посохом
и степные пасу облака.*





ЛЕБЕДИ НА ОРЛИКЕ

Вадиму Ерёмину

*Внезапно разглаживаются морщины,
пропадают следы бытовых страстей,
и разжимающие кулаки мужчины
становятся похожими на детей.*

*Лебеди, лебеди, сказочные птицы!
Белые и черные, как добро и зло,
как вам удаётся пасмурные лица
превращать в человеческое чело?!*

*Ходит, поскрипывая, висячий мостик,
зыркает нищий, грозя и моля,
он тут хозяин, а мы только гости
на палубе сумасшедшего корабля.*

*Пенится радугой отравленный Орлик,
проплывают лебеди, неслышно скользя,
и что-то такое ворочается в горле,
но расслабляться нельзя.*

*Что же нам — чувства прятать в иронии
или оправдывать в неразборчивом лепете?
Мы мимо жизни плывём, посторонние,
потусторонние мимо нас — лебеди.*



РЫНОК

*Не пишется, не пьётся, не поётся...
И всё-таки пишу, пою и пью!
Гляжу на дно забытого колодца
и собственную душу узнаю.*

*А по ночам отдёргиваю шторы,
и лунные лучи, ложась на стол,
безжалостные, словно кредиторы,
бракуют и бракуют мой глагол.*

*Но, горд, как лорд, и кроток, словно инок,
я заново сплетаю кружева,
сегодня на земле и в небе рынок,
а мой товар — слова, слова, слова...*





ПАМЯТИ ПОЭТА

*От больного ума за плечами сума,
сандалеты на босую ногу,
впереди сумасшествие или тюрьма,
и молись ты хоть черту, хоть Богу.*

*Все друзья позади, все враги впереди,
все дороги пропахли полынью,
льют на тощие плечи чужие дожди,
омывая сиренью и стынью.*

*Подглядит и запомнит земляк-ротозей,
как ты прыгаешь с кочки на кочку,
ты погибнешь, и выплывет куча друзей,
ухватившись за лёгкую строчку.*





В СОННОМ МОЛЧАНЬЕ

*В сонном молчанье дома и растения
на перепутье усталых миров,
даже созвездья мерцают рассеянно,
лишь маттиолы не спят вдоль дворов.*

*Что-то не пишется, что-то не верится,
что-то никто у тебя не в чести,
может быть, душу, как веточку вереска,
в Красную книгу пора занести.*

*Хлебом насыщным душа не насыщена,
кров не спасает от звёздных ветров,
что-то всё гонит и гонит, как нищего,
от площадей и от сельских дворов.*

*Кто там придумал причины и следствия,
обозначения связей земных?
Спит одуванчик, с рябиной соседствуя,
вихрем развеванный в думах моих.*

*То озадаченный, то озабоченный,
пересекаешь судьбы бурелом,
что там в болоте и что на обочине —
рой светлячков или небо вверх дном?..*



*Я заблудился, как в лесу..
На белый свет, на главный праздник
спешу, спешу и колешу
среди стволов однообразных.*

*Но вот мне чудится вдали
полоска узенькая света —
там ветряки и ковыли,
и пыль, и зной, и запах лета...*

*Бреду, качаясь меж стволов,
на свет, что раньше был неведом,
на ту последнюю любовь,
что рождена бедой и бредом.*

*Еще немножечко, чуть-чуть,
уж ветер хлещет по верхушкам,
и вдруг — конец, окончен путь:
опушка — черт возьми! — опушка...*

*Вокруг меня всё тот же лес,
куда ни кинься, одинаков,
пропало солнце, день исчез,
мир полон тайных звёздных знаков...*



Рите

*На пепелища и кресты,
на лист черновика
посмотрит мудрость с высоты,
а глупость свысока.*

*На облетевшие цветы,
на пляску мотылька
посмотрит мудрость с высоты,
а глупость свысока.*

*Служанка вечной суеты —
судьба — во все века —
на тех, кто смотрит с высоты,
взирает свысока.*





ГЕОМЕТРИЯ ЖИЗНИ

Е. Лебкову

*От рожденья ни злы, ни добры,
мы считаем вселенной квартиру,
в ослеплении детской игры
колесим по касательной к миру.*

*В основании школьной шкалы
голубые законы Эвклида:
там углы никогда не круглы,
там прямые строжайшего вида.*

*Эти истины, взятые впрок,
помогают в дорогу собраться,
но, едва переступишь порог, —
хоть аukaiся в зарослях братства...*

*То прямые приводят к врагу,
то кривые уводят от друга,
караулит на каждом шагу
квадратура житейского круга.*

*Как надорваны плечи! Несёшь
жизнь и смерть на одном коромысле.
Если душу не вытравит ложь —
упадёшь под секирою мысли.*

*Что-то гонит и гонит — спеши
на призывный мираж постоянства.
Выправляй прямою души
кривизну мирового пространства!..*



*Жизнь не отбрасывала тени,
пока душа росла в зенит,
но ветви сердца облетели,
а старый ствол еще звенит.*

*Еще ни солнце и ни вьюга
его не могут побороть,
лишь родовых колец кольчуга
стесняет дух и сушит плоть.*





*Друзей поблекшие черты —
не слишком тягостное бремя,
быть может, старишься и ты,
но у тебя иное время.*

*Чутьём сторонись зеркал,
но взглядом, быстрым и косящим,
из бездны выхватив оскал,
замрёшь, застигнут настоящим.*

*Кто погасил твои глаза?
Кто по душе прошелся плугом?
Затихла вьюга, спит гроза —
что им делить над мёртвым лугом?*





ТЕНИ

*На серые дома,
на пасмурные скверы
осенняя накатывает мгла.
Зажгутся фонари,
и тени, как химеры,
на город напоззут из-за угла.*

*И улицы замрут,
и в окнах свет погасит
старинный человеческий обряд.
Полночный этот мир
по-своему прекрасен,
как женщина, что сбросила наряд.*

*Среди ночных теней
я тоже вроде тени,
прохожие проходят сквозь меня,
уйдя от степеней,
взбираюсь по ступеням
всё дальше от рассудочного дня.*

*Полярная звезда
лохмотья туч колышет:
— Когда-то я была тебе нужна,
теперь ты постарел,
не видишь и не слышишь,
душа, как опустевшая казна.*

*Толплятся надо мной
усталые деревья,*



*чернеющие ветви в небесах, —
что снится вам теперь —
таёжные корчевья,
весенние росинки на листках?
Какой еще расцвет
вам в будущем назначен,
и сколько надо влаги и тепла,
чтоб вы могли забыть,
как холоден и мрачен
теперешний ваш вид,
обугленных дотла?*

*Скрипят они в ответ:
— Мы многого не ищем,
мы, знающие жизнь,
признаемся тебе:
лишь тот оценит хлеб,
кто был когда-то нищим,
лишь тот поймёт покой,
кто утомлён в борьбе.*

*Они совсем, как мы,
прожив почти полвека,
я наконец прозрел от слепоты
и отыскал в природе человека
природы окружающей черты.*

*Кленовые листки
летят поодиночке,
похожи на земле
на маленьких ежат,
прожившие свой век
от почки и до точки,
сползаются к ногам,
от холода дрожат.*



*Сначала только горсть,
потом уже охапка,
а за полночь листвой
засыпан целый сквер,
и сам я тут стою
под лиственной шапкой,
на стыке двух миров,
на грани близких вер.*

*Но чу! Как будто звук...
В другом конце аллеи
плывёт сквозь мир теней
живое существо.
Шуршит плащом, поёт,
навстречу ей — смелее!
Ночная — для тебя!
Иначе — для кого?!*

*Прошла... Да как прошла!
Не вздрогнув, не заметив,
как будто бы ты тень,
осыпавшийся куст,
и долго доносил
осенний стылый ветер
щемящее “цок-цок”
да бедных листьев хруст.*

*Прошла она, близка,
как собственный твой локоть,
прошла, сметая тени на пути,
так может в мире петь,
шуршать плащом и цокать
любимица судьбы,
прости же ей, прости...*



*Огни приглушены
сгустившимся туманом,
ушла в чужие сны
Полярная звезда,
настала черед
притворства и обмана,
людей, дневных теней,
настала черед.*





ЛЕГЕНДА

*Он был покладист и доверчив,
считал — до неба полверсты,
он каждый день и каждый вечер
был с мирозданием “на ты”.
Однажды, стоя над криницей
и провожая облака,
он стал страница за страницей
листья прошедшие века.
Из всех историй и мистерий
хлестала кровь пьяным-пьяна,
он дно души своей измерил —
в его душе жила война.*

*Он до Адама проклял род свой
и захотел пророком стать,
но стал он перьями сиротства
всем на потеху обростать.
Цвели цветы, и пели птицы,
своею жившие судьбой,
лишь он не знал уже границы
между природой и собой.
Да и в самом его обличье,
в смешной бесплотности его
вдруг завелись повадки птичьи
и травяное естество.*



*Он, в сундуки перстами тыча,
кляня добро, взывал к Добру,
разбросан и косноязычен,
как одуванчик на ветру.
Его цедили сквозь ресницы,
но, неподвластные молве,
весною гнёзда вили птицы
в его косматой голове! .*





КОРНИ

*Был я болен и тем виноват
перед миром людей и растений,
но однажды ушел я в закат —
проводить удлинённые тени.*

*Я присел у слепого костра,
согревая озябшие руки,
и осенняя ночь, как сестра,
обняла меня после разлуки.*

*А когда от земного огня
глянул на небо в звёздных накрапах,
мне почудилось, что зеленыя
источают младенческий запах.*

*Я не думал, откуда взялась
и с такой прямотой воплотилась
неподсудная разуму власть —
обращать наказание в милость.*

*Я стоял, не стыдясь своих слёз,
между звёздами и зелеными,
и меня не тревожил вопрос,
что считать в этом мире корнями...*



КОЛОДЕЦ

*Глубокий колодец,
обкатанный сруб,
из бездны уродец
с ухмылкою губ.*

*Полдневные звёзды
оттуда видны,
неужто он создан
для той глубины?*

*Тяжелою влагой
размыты черты,
каких-то полшага
и он — это ты...*





СВОБОДА

*Свобода так похожа на фантом:
Проявится, продлится, исчезает, —
Так мощная река, покрывшись льдом,
Струится и до дна не промерзает.*

*Элементарно, Ватсон, жизнь — игра,
А в прикупе свобода — Божья карта —
Пригоршня зла под горсточкой добра,
Ты сам — и демиург, и раб азарта.*

*Мираж удач в пустыне неудач,
Граница, как всегда, на зыбкой кромке,
А впрочем, ты свободен, как циркач,
Ходить по струнке или рвать постромки.*

*От жажды не спасет один глоток,
И все-таки не так уж это плохо,
Когда свободы аленький цветок
Окажется цветком чертополоха.*

*По небу журавли летят, трубя,
У них в крови чужие небосводы,
На свете нет свободы от себя,
А значит, никакой иной свободы...*



ТУМАН

Ивану Ермакову

*Туман занавесил цветы в луговине,
и зелень промыта тяжелой росой,
рыбак по колени в тумане, как в глине,
висит с удилищем над сонной рекой.*

*Над лугом плывут отсыревшие звуки —
хрипят пастухи, и заходятся псы,
заря сквозь туман — от излома излуки —
раскинула мост до песчаной косы.*

*Сидеть бы и мне на замшелой коряге,
на тоненький прутик низать пескаря,
с лицом, отраженным от радужной влаги,
с душой, что проснулась ни свет ни заря.*

*Высокие годы, тяжелые воды
туманом окутали душу мою,
стою, словно пасынок мирной природы,
над бездной тумана, на самом краю.*



ДИОГЕН

В. Зябкину

*Вышел я в полдень с ночным фонарём,
стал я искать человека,
встретился с деревом и с муравьём —
что за оказия? Эка!*

*Тот лихоимец, другой лиходей,
вдруг я споткнулся — и в яме,
глядь, а вокруг меня тыщи людей,
все, как один, с фонарями...*





СОКРАТ

*Сограждан собственных любя,
учил их безвозмездно:
в себя заглядывать, в себя,
стоять над бездной.*

*Пестрел триерами Пирей,
но ни одна Кассандра
не нагадала ни морей,
ни Индий Александра.*

*Лишь он истории зачет
сдавал без проволоочки,
ну, а поскольку всё течет,
то не писал ни строчки.*

*Острил и спорил там и сям —
нельзя прожить без денег,
вот и шатался по гостям
классический бездельник.*

*А был ваятель, говорят,
так нет же — бил баклуши,
вот и добился! Так творят,
когда ваяют души.*

*Нас всех прельщает горний свет,
тропа змеится круто,
да за спиной стоит сосед
с целебною цикутой.*



Лене Черепковой

*Гляди! Пушистый жеребёнок
резвится, пляшет, травы бьёт,
почти духовный, как ребёнок,
почти абстрактный, как полёт.*

*На переломе и на стыке,
на тонкой дужке коромысл
струится космос безязыкий,
времен и судеб тайный смысл.*

*И, может, высшая минута
тебе даётся для того,
чтоб лишь коснуться абсолюта,
а не ослепнуть от него.*





ФЛОКСЫ

Миле Бегановой

*Вот опять я сюда приволокся
под покровом ночной темноты.
Вы — цветы по прозванию флоксы,
кто вы, что вы, зачем вы — цветы?!*

*Отчего к вам ласкается ветер,
луч звезды окропляет росой?
В разноцветие ваших соцветий,
как в горящие угли — босой...*

*В золотых и чернильных накрапах —
я цвета различаю на слух —
притаился, похожий на запах,
дух, вселяющий в душу недуг.*

*Горизонт раздвигается шире,
или разум ныряет на дно —
разве жить не в квартире, а в мире
человечьей душе не дано?*

*В кожуре или в клетке словесной,
золотой, но постыдно земной,
мне, как в камере смертника, тесно,
поиграйте в гляделки со мной!...*



ЯЛТА

*Себя не сознавая,
природа входить в раж,
внезапно создавая
мираж и антураж.*

*От века и доньне,
сегодня, как вчера,
за дымкой номерные
стальные крейсера.*

*Пока в нейтральных водах
синее небоклон,
магнолией и йодом
наш берег напоён.*

*Пестрят и плещут пляжи,
и царствуют тела,
а нравственность на страже
до первого угла.*

*Обманчивые звёзды
всплывут над головой,
вскипит вечерний воздух
синкопой голубой.*

*Студенты и шахтёры,
больные и врачи,
но кто из нас который —
неведомо в ночи.*



*Браслетов аметисты,
обрывки полотна –
пречистые туристы?
Плечистая шпана?*

*Рубиновые бокалы,
кровавы шашлыки,
улыбки и оскалы,
тонзуры и зрачки.*

*А море по привычке
смывает грязь и ложь,
и никакой отмычки
к нему не подберёшь.*

*Чистилище и свалка
у бездны на краю,
чего же нам так жалко
в потерянном раю?*

*Играем в мелодраме
повсюду и везде,
прижатые горами
к распахнутой воде.*



ПАРТЕНИТ И ВОКРУГ

Прощай, свободная стихия!

А.С. Пушкин

*Поселок по прозванию Партенит,
Лежащий у подножья Аю-Дага,
В истории ничем не знаменит,
Но не роняет собственного флага.*

*Я не приемлю местнический зуд,
Как ни кичись соседние державы,
Едва ли Курск древнее, чем Гурзуф,
Любой клочок земли достоин славы.*

*Одни в ночи созвездия горят,
В моря впадают все речные воды,
Березка с пальмой мирно говорят
На языке одной природы.*

*Народ всегда селился у воды,
А впрочем, не последняя затея —
Искать истоки, ибо есть следы
В трагедии Эсхила “Орестея”.*

*И пусть гиперборейцы — явный вздор,
Но Геродот приводит те же мифы,
Свидетельствуя нам, что с давних пор
В степях Тавриды обитали скифы.*

*И что же, в этот райский уголок,
Подобие библейского Эдема,
За все года, за весь античный срок
Не заходила ни одна трирема?*



*Старик Гомер, знаток чужих морей,
Дал маху и оставил под вопросом,
Входил ли в эту бухту Одиссей,
Сей эллин с вездесущим хитрым носом?*

*Тут из земли растет холодный камень,
И с ним народу некогда скучать,
Тут научились добрыми руками
Бездушный камень к месту приручать...*

*Прославленные парки Партенита,
Розарии, бордюры, цветники —
Не детища холодного гранита,
Растущие здесь людям вопреки.*

*Аллеи пальм, аллеи кипарисов,
Редчайших даже в Красной книге тиссов,
Смолистых горных кедров череда —
Содружество природы и труда.*

*Раскинувшийся в парке санаторий,
Бессонная страда и торжество —
Все это море, море, море, море
С неповторимой аурой его!*

*Здесь люди, отдавая дань привычке
Расслабиться, принять врожденный вид,
Предавшись добровольной обезличке,
Как бы теряют свой природный стыд.*

*Вольготно распускаем животы —
На пляже ни надзора, ни позора
И обретаем внешние черты —
Мы здесь скорее фауна, чем флора.*

*Сентябрь — блаженный бархатный сезон!
Вода еще тепла и в меру жарко,
Как будто до зимы в аллеях парка
Складируются солнце и озон.*



*Морская гладь свободна от оков,
И лишь своим подвержена капризам:
То, словно легкий лепет лепестков,
Шуршание волны под южным бризом,
А то поверх привычных свойских вод
При ясном небе, будто без причины,
Волнение и шторм – самозавод,
Внезапный бунт разгневанной пучины.*

*Медведь-гора открыта человеку,
Ее гранит, ее глубинный тuff,
Тропа ведет к горластому Артеку,
А рядом с ним – прославленный Гурзуф.*

*“Грот Пушкина” – изустные преданья,
Почти готовый рыцарский роман –
Здесь назначал любовные свиданья
Раевским-девам юный донжуан!...*

*А правда в том, что это он впервые
Своим пером восславил этот край,
Его стихии волны голубые,
Морской Гурзуф, степной Бахчисарай.*

*“Двух ножек” шаловливая игра,
“Взлеянных в восточной неге”,
Аукнется, когда придет пора, –
Отсюда начинается “Онегин”.*

*Историк-Пушкин в сонме именитых,
Как сам Гомер, Эсхил и Геродот,
Но нам пора вернуться к Партениту,
Куда тропа Раевского ведет...*

Октябрь 2006 г.



СТРЕКОЗА

Лиде

*В сентябрьский полдень в лоджии просторной,
обвитой виноградною лозой,
вдыхая аромат морской и горный,
я встретился с прекрасной стрекозой.*

*На крыльях перламутровые блёстки,
глаза навывкате, холодные, как лёд,
в ее природной легкости и в лоске,
казалось, воплотился сам полёт.*

*Не доверяя зрению и слуху,
я вдруг остолбенел — на грани чувств:
царица насекомых ела муху,
и в тишине был слышен слабый хруст.*

*Я, потрясён виденьем плотоядным,
невольно загляделся на откос,
где женщины в наряде шоколадном
резвились наподобие стрекоз.*

*Надев бикини, платьица и юбки,
цветистые умчались мотыльки
вонзая свои пленительные зубки
в дымящиеся кровью шашлыки.*



*Придет пора — они наденут шлафор,
и, с сожаленьем глядя им вослед,
ни радужных сравнений, ни метафор
не сможет подыскать для них поэт.*

*Ну, а пока под солнечной короной
солёный бриз лелеет их каприз
и осеняет царственную кроной
вечнозелёный крымский кипарис.*





КОКТЕБЕЛЬ

Н. Краснову

*Сначала окунуться и наплаваться,
а покидая синюю купель,
вдруг осознать, что ты на месте, в Планерском,
что вновь тебе дарован Коктебель.
Ну, а в природе всё, как ей положено,
свершается несуетно и в срок:
на ближних скалах с профилем Волошина
давно уже отцвёл испанский дрок.*

*Но как легко и радостно довериться
морской стихии, скалам и холмам,
долинам с виноградником и вереском,
причалам, кипарисам и садам.
Крестьяне и природа не наперсники,
совместно проливают сто потов,
чтоб мы вкушали сладостные персики,
вино и виноград любых сортов.*

*На набережной море пахнет дынями,
а от мангалов просто бьёт под дых
чуть сыроватый и слегка продымленный
телесный сок барашков молодых!
Соблазны утолив, мы снова на море,
оно слепит, и брызжет, и зовёт,
у пирса, точно высеченный в мраморе,
готов к отходу белый теплоход.*

*Еще закат висит над кипарисами,
багров залив, багряны гребни гор,
а где-то за небесными кулисами
ночной спектакль готовит режиссёр.*



*Вдали за перекатами холмистыми,
где днём царят кураж и эпатаж,
загаженный бесстыдными нудистами,
купаются в прибое дикий пляж.*

*Под звёздами, по-южному высокими,
под слабым светом лунного серпа
по набережной встречными потоками
разряженная движется толпа.
Открытые кафе и ресторанчики,
кассеты заглушают треск цикад,
с накачанными бицепсами мальчики
смакуют “Черный доктор” и “Мускат”.*

*Но всё и вся придёт без опоздания
на некий освещенный пятачок,
где назначают встречи и свидания
и любят попадаться на крючок.
Загары здесь не прячут под румянами,
сентябрь — что ни кустик, то постель...
Короткими курортными романами
от основанья славен Коктебель.*

*Здесь, разложив полотна и треножки,
под звук рожка и переборы струн
торгуют импозантные художники
набором лун и солнечных лагун.
Аквалангисты, гордые, как авторы,
с морёными обломками триер
вам предлагают греческие амфоры,
которые держал в руках Гомер...*

*А под конец таких нагрузок пиковых
не выдержит любой карман и вкус
при виде яшмовых и сердоликовых
кулонов, ожерелий, брошей, бус...*



*И это всё, измеренное “баксами”,
изящные поделки, мишура,
с девицами грудастыми, губастыми
здесь будет тусоваться до утра.*

*А за стеной, на главной территории,
где клумбы и подстриженный газон,
известные писатели, которые
даруют женам бархатный сезон.
В прекрасно оборудованных лоджиях
под коньячок витийствуют творцы,
а жены их, значительно моложе их,
своих хозяев держат под уздцы.*

*Потом картишки нехотя тасуются,
а бедным женам хочется туда,
где до рассвета сверстники тусуются,
не признавая страха и стыда.*

*Неужто этот мир стоит на зависти
и ярмаркам тщеславья нет конца?!
Над миром ночь, глубокая, как замысел,
как умысел Небесного Творца.*



КОНЦЕРТ

*Присел на одинокую скамью
в берёзках у речного косогора.
Скворец усердно вторит соловью,
солируют вдвоём на фоне хора.*

*Равнина майским солнцем залита,
придёт гроза, но сердце не сожмётся —
симфония для скрипки и альта
с оркестром — это Моцарт!*

*Природа не чурается длиннот,
но кто рассудит — мало или много
для Моцарта семь нот,
семь дней — для Бога?!*





МАСТЕРА

Виктору Потанину

*Шарманщик, трубочист или тряпичник,
точильщик или чистильщик сапог,
придите к нам из тех времён давнишних,
когда любой из вас был полубог!*

*Я вижу вас, корявых, груболицых,
с весёлой сумасшедшиной в глазах,
в фуфайках и потёртых рукавицах,
в передниках, в халатах, в картузах.*

*В истоке детства, в солнечной излучке —
телеги и точильные станки...*

*Когда тебе, как в сказке, прямо в руки
ныряют рыболовные крючки!*

*Тряпичник! За старинный хлам и ветошь
тебе не жаль свистульки и волчка,
надев очки, ты “зайчиками” светишь,
кто сослепу сойдёт с того крючка?!*

*Станок скрипит, трясётся с жутким визгом,
точильщик усмехается: — Не тронь...
А ты, мальчишка, искрами обрызган,
под пляшущий брусок суешь ладонь...*

*А чистильщик! А уличный сапожник!
Ты приглядишься к нему из-за плеча:
какой уж там ремесленник — художник
с повадкой и сноровкой циркача!*



*Они всегда в порядке и в ударе,
они и есть твой двор, твоя страна, —
о, запах кожи, ржавчины и гари!
О, дух махорки, пота и вина!*

*Я многое забыл или отбросил,
но, если жизнь не ноша, а игра,
мой прикуп — мастера ручных ремёсел,
волшебных сновидений мастера!*





ВЁРСТЫ

А.П. Колодяжному

Только вёрсты полосаты
попадаются одне...

А.С. Пушкин

*Верстовые столбы полосатые.
Полустанки, посты, палисадники.
Безразмерные вёрсты судьбы
набекрень, на авось, на кабы...*

*С арестантами и погорельцами,
с поголовьями серых солдат
стонут шпалы, распятые рельсами,
да столетья на стыках стучат.*

*Города с их блажными затеями,
вавилонские башни столиц
по лесам и болотам затеряны,
как зрочки меж таёжных ресниц.*

*О, Россия! За что тебя ввергнули
в летаргический сон наяву?
Заблудилась в пространстве и времени,
задохнулась в бездомном “Ау!..”*



НАШ ДОМ

Александрю Логвинову

*Краюха с таким,
вёрсты с гаком.
Ночлег под сереньким стожком.
Но оттого горюч и лаком
дорожный посох с посошком.*

*Мы в этом мире вроде пугал:
из века в век,
из рода в род
всё ищем тридесятый угол,
а вечность переходим вброд.*

*С какой торжественностью отчей,
под звон каких колоколов
подвёл под звёздный купол Зодчий
наш дом — пространство без углов?!*





В РОЛИ АКЫНА

*Я в роли акына. Пою обо всём.
В любую погоду бреду без дороги.
Исхлёстаны плечи пургой и дождём,
изрыты ступни о крутые пороги.*

*Я в роли акына. В ней сотни ролей,
сквозной карнавал и безумство мистерий,
в ней гул площадей и безмолвье полей
слагаются в судьбы людей и растений.*

*Я в роли акына. А вместо домбры
под пальцами пляска и цоканье клавиш.
Я пленник игры, но созвездья добры,
к пространствам судьбы часовых не приставишь.*

*Я в роли акына. Село и аул,
столица и стойбище жаждут глаголов,
чтоб слить воедино, в торжественный гул
молитвы мечетей, церквей и костёлов.*

*Я в роли акына. Струна порвалась.
Замкнулась душа, немотою терзаясь.
Вселенская связь и словесная вязь
опять не срослись в плодоносную завязь...*



ПОЛЫНЯ

*Закрыв глаза — и время вспять:
колючий снег и стылый ветер,
а мне опять, а мне опять
искать пристанища на свете.*

*По хрусткой наледи бредёшь,
куда “авось” тебя направит,
а полынья, как финский нож,
в крещенской матовой оправе.*

*Змеится, манит — спасу нет...
Бежать, бежать, пока не поздно,
на белый свет, на санный след,
на конский храп и визг полозный!*

*...Судьбе не скажешь: — Отвяжись!
Тут не отрежешь пуповину,
и полынья длиною в жизнь
неотвратимо дышит в спину...*



ПРОХОДНЫЕ ДВОРЫ

*Проходные дворы беспризорного детства,
безнадёжной орлянки, бесславной буры...
Если негде приткнуться и некуда деться, —
проходные дворы, проходные дворы.*

*Дровяные сараи, углы, закоулки,
голубятни, подвалы, верёвки с бельём,
ржавый жмых, самогон, кукурузные булки
и разборки, и дружбы с домашним жульём.*

*...С коммунальными схватками из-за обмылка,
в чадном запахе примуса, в приторном духе греха,
где, обритая наголо, постетифозная Милка
увела у родимой мамыши её жениха.*

*Там свистели литые ремённые бляхи —
морячки под “полундру” со шпаной толковали “за жисть”,
а военный патруль в суматохе и чуть ли не в страхе
то грозил трибуналом, то просто просил разойтись.*

*В проходных процветали бандитские хазы,
банковала “малина” до самой зари,
и по крышам — куда там тебе верхолазы! —
уходили в отрыв от ментов скокари.*

*Там скрипели, насытившись ваксой, блатные сапожки,
правил бал марафет и подначивал хмель,
отшвырнув костыли, отрешась от плаксивой гармошки,
инвалиды войны заползали на вдовью постель.*



*Всё, что было там, — шито и крыто, и брито...
провалилось в безвременье, в тартарары,
только в старом кино отбивает свой ритм “Риорита”
да вразвалку плывут в никуда проходные дворы...*





МУРАВЕЙ

Ю. Чубукову

*Безмянный пассажир на верхней полке,
вписался и втянулся в общий круг
и мотался, словно нитка при иголке,
под вагонный перегонный перестук.*

*Понимая, что сиротство не в награду,
был я каждому и всякому родня,
прилепился к человеческому стаду
так, что не было отдельного меня.*

*Дни и годы нарастают не в нагрузку,
если с детства ты сдаёшь себя в наём,
и, с поправкой на усушку да утруску,
оставался я вселенским муравьём.*

*Я летел на дух полыни и гудрона,
беспородный и безродный до седин,
чтобы вдруг, среди галдящего перрона,
спохватиться и увидеть — я один...*

*Облик времени неясен и неярок,
а в наследство от дурного волшебства —
одиночество, магический подарок,
вроде пятого туза из рукава.*



ЧУЖАК

*Не сплю ночей, как мартовский ручей,
бреду по тротуару городскому,
я блудный сын, с рождения ничей,
я человек, но где пути к людскому?
Я болен, я бессонницей томим,
находка для храпящих психиатров,
а ты, земля, смывай свой скудный грим,
всё в мире спит, оставь его до завтра.*

*Округлая и сытая луна,
как баба деревенская в расцвете,
а на земле такая тишина,
хоть разревись, не вздрогнут даже дети.
Куда же я, потерянный, бреду,
куда бегу от каменных громадин,
какому жаловаться высшему суду
на то, что бедный разум мой украден?*

*Вы знаете, как травят чужака
прислужники хозяина — собаки?
Швыряют навзничь, рвут ему бока,
собаки — что им знать о честной драке?!
Мой бедный пёс, ты дрался, как боец,
клыками вражьи глотки разрывая,
ты, умирая, понял наконец —
прислужники страшней своих хозяев.*

*Заря над соснами, над сонною рекой,
заря над отцветающей гречихой,
и здесь покой, но здесь такой покой,
как будто эти сосны знают выход.*



*На противоположном берегу
колючий луг, укрывшийся в тумане,
и там, на этом скошенном лугу,
я вижу то, что мучает и манит:
пять-шесть коней, унылый табунок,
и у костра мальчишка-пастушонок
да с ним ушастый пёс, почти щенок,
весёлый и беспечный, как ребёнок.
Всё это было, было у меня —
и ранний луг, и первые зарницы,
да что осталось от того огня,
который и теперь ночами снится?..*

*Смешно вздыхать о милых пастушках,
поругивая город-муравейник,
когда и в этих мокрых лопухах
судьба сжимает глотку, как ошейник.
Так где же выход, есть он или нет,
здесь, на земле, и там, под небесами,
неужто мысль — оставить в жизни след —
насмешка одиночества над нами?*

*И снова город. Листья шелестят
беспечных тополей пирамидальных,
надраенные статуи блестят,
гнилой картошкой тянет из подвальных.
Сижусь в канаве, глупый и больной,
срываю белобрысые ромашки,
а там, сверху, хохочут надо мной:
— Что делать, ты родился не в рубашке.
Хохочут эти серые дома,
смотря на мир глазами занавесок,
серванты, телевизоры, тома
и человек, их маленький довесок.*



*Эй вы, дома, и вы, кто спит в домах, —
министры, кандидаты, работяги,
какого черта роетесь в листах
небрежно отсвинцованной бумаги?
Шпаргалочники! Жалкая напасть
безверием отравленного века...
Проснулись и, позёвывая власть,
натягивают маски человека.*

1972 год





ТЕСЕЙ

*Добродетельная Ариадна,
чьим отцом был коварный Минос,
поступила весьма отрадно,
дав Тесею клубок на вынос.*

*Сей Тесей убил Минотавра,
отвернув ему рог на квинту,
заработал венок из лавра,
пробираясь по лабиринту.*

*Он отплыл добывать награды
к зlatorунным брегам Колхиды,
а красотки со всей Эллады
на Тесея имели виды.*

*Но, когда подравнял Прокруста,
уложив на его же ложе,
стало скучно ему и грустно
и воскликнул герой: — О, Боже!*

*Надоели мне кифареды
и прекрасных гетер служенье,
опротивели мне победы,
испытать хочу поражение...*

*— Не капризничай, мой любимец,
лишь бессмертье — венец карьеры! —
усмехнулся Зевс-олимпиец,
подкаблучник ревнивой Геры.*



*Победил герой амазонок
и женился на их царице,
но... родится у них ребёнок –
и трагедия сотворится...*

*На подмостки выходит Федра,
героиня дежурной темы, –
не ищите в шутовском ретро
ни трагедии, ни поэмы...*

*Будь ты сам Александр Великий,
тешься славой Наполеона, –
золотая награда Ники –
только пропуск в ладью Харона...*





КОМНАТА СМЕХА

(Из поэмы)

*Я летал, я парил в поднебесье,
я в нирвану впадал на лету,
но внезапно проснулся от песни,
весь в слезах и в холодном поту.*

*А слова её были простые
(не простые — душой не криви):
“Начинаются дни золотые
воровской непроглядной любви...”*

*Забулдыга, видать, окаянный
под моим примостился окном
и, рыдая на пару с баяном,
всё хрипел и хрипел об одном.*

*Был надрывен мотив, и банальны
позабитые были слова,
что ж я плакал в супружеской спальне
так, что юзом пошла голова?*

*Где паденья и где наши выси? —
я спрошу никому не в укор.*

*В сорок пятом в овражной Арыси
беспризорный дымится костёр.*

*И какой-то ворюга “в законе”,
снизойдя до сопливой братвы,
так и режет мне по сердцу: “Кони!
Черны-вороны кони мои!”*



*Я срываюся с постели, да поздно —
“Воронных уж теперь не догнать”...
Я, шатаюсь, бреду, как тифозный,
свой размеренный век досыпать.*

*Чей там хохот и взгляд исподлобья,
чьи там губы, ресницы и рты?
Эти призраки, эти подобья —
ты вчерашний и нынешний ты.*

*От себя не уйти, не уехать —
заповедны любые края,
и в душе, точно в комнате смеха,
толчея моих тысячи “я”.*

*Блётки мыслей, обрывки мелодий,
отражения гор и морей...
Неужели в зеркальной колоде
больше нет для меня козырей?*

*Было время — дрожали колени,
ветви сердца роняли листки
от заплочной расплывчатой тени,
от обычной житейской тоски.*

*Было время — ничтожная малость —
шорох платья, дымок резеды —
и в восторге душа подымалась
от канавы до ранней звезды.*

*И висит надо мной наважденье
в толщу лет опустить эхолот,
если эхо отметит паденье —
что ж, падение — тоже полет!*



*Или свистнуть в свирель камышинки —
и застойная плесень куги
обнажит золотые кувшинки
и погонит, погонит круги...*

*Что за сон — хоть заглядывай в сонник...
Занавеской процеженный свет,
под луною просел подоконник,
вздыбил рёбра лимонный паркет.*

*Чёрный день оставляю на старость,
залезаю за словом в карман,
и пергамент, широкий, как парус,
направляет ладью в океан.*





ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

В. Самарину

*Мы все меняемся с годами,
но что же делать нам, когда
толкают к драме, к мелодраме,
к трагикомедии года?*

*Покуда ветви сердца гнутся,
какой же ты себе судья?*

*Не так-то просто отмахнуться
от своего живого "я".*

*Так иногда от присвоенья
чужих и чуждых нам ролей
приходит горечь раздвоенья
души единственной твоей.*

*Я был слепым максималистом,
двойник, рождавшийся во мне,
мог быть и чистым, и нечистым,
и под конём, и на коне.*

*Я бился лбом в глухую стену,
искал начала и концы,
а он на жизненную сцену
взошел с покорностью овцы.*

*Я удирал из душных спален
туда, где пляшут и поют,
а он, трагически нормален,
замуровал себя в уют.*

*Страшней, чем брата против брата,
"я" против "я" свела беда,
на рубеже семидесятых
мы раздвоились навсегда.*



*И вот — я без вести пропавший,
а он, по виду мой двойник,
но по натуре — ангел падший,
всецело в жизнь мою проник.
Он научился растворяться,
двойной орудовать судьбой:
где надо — мною притворяться,
а где не надо — быть собой.*

*Не вдруг, не мигом, постепенно
шло превращенье день за днём,
в душе накапливалась пена,
чтоб ею справиться с огнём.
Мы у себя не замечаем,
как замечаем у других,
когда всё то, во что играем,
переиграет нас самих.
Когда инерция движенья
несёт не в гору, а с горы —
уже не самовыраженье,
а выражение игры.*

*Так мой двойник почти в расцвете,
почти взойдя на пьедестал,
вдруг угодил в свои же сети —
и сам раздваиваться стал.
И был его самоанализ
уже запутан до того,
что мы бы просто рассмеялись,
соединившись в одного.
Пришел он к выводу, во-первых,
и убедился, во-вторых,
что это я его соперник,
что это я его двойник.*



Так отделился дух от плоти,
и зашатало двойника:
я — в зеркале, а он — напротив,
но — кто за зеркалом пока?..
Перед трюмо он корчил рожи,
смеясь и плача над собой:
— Зачем, обличьем так похожи,
так непохожи мы судьбой?
Ты был, а я хотел казаться,
ты научить меня не смог..
— Жаль, нам нельзя соприкоснуться:
я — твой исток, ты — мой итог...





ЗОЛА

*Невесомое бремя молодого бродяжьего духа,
жизнь берёшь “на ура” и послушно идёт к Магомету гора,
Тополя, провожая меня, шелестели: — Ни пуха!
Перелётные стаи курлыкали мне: — Ни пера!*

*Я всходил на перроны, пропахшие углем и шлаком,
я летел, никому не давая отчета, зачем и куда,
понапрасну пугала Полярная мстительным зраком,
семафоры чеканили честь, пропуская мои поезда.*

*Я, быть может, родился в рубашке в пресветлом чертоге,
я, быть может, родился без кожи на пыльной рогоже,
и не зря васильки да ромашки стелились под ноги,
не случайно репы да колючки хлестали по рожге...*

*Сердце стало посуше — из него испарилась отвага,
уголь выгорел в топке — зола сопричастна сединам,
угнетает стерильностью электровозная тяга,
округлилась судьба, и куда ни ступи — середина.*



ПЕГАС

*Никогда не участвовал в рубке лозы
и на скачках не брал дорогие призы,
если даже на прикуп ложились тузы,
их легко побивали шестёркой,
в поездах и бараках, от стужи дрожа,
не юлил, не темнил, не терял куража,
пробавляясь последнюю коркой.*

*Обокраден судьбой среди белого дня,
я не мог бы полцарства отдать за коня...
Но не ведаю — кто надоумил меня,
что ничем не приманишь Пегаса —
ни серебряной сбруей, ни мерой овса...
Что нездешних препятствий лежит полоса —
не взойти, не взлететь, не воздвигнуть леса
в бирюзовые кущи Парнаса.*





ВРЕМЯ

*Рыхлая баба снимает бельё с узловатой верёвки,
пьяный мужик перекрыл своей грудью канаву, как дзот,
клёны роняют листву, балансирует голубь на бровке,
в мире мистерий на цыпочках Время идёт.*

*Время шутя проникает в любую лачугу и крепость,
вечный свидетель зачатий, смертей и стирки белья,
лепит из наших ничтожных страстей героический эпос
и надзирает за нами в тюремном кругу бытия.*





ПАМЯТЬ

Ивану Пашкову

*Как будто памяти не пропил,
но стал распутывать клубок —
людей и дней анфас и профиль —
всё пастораль и всё лубок...*

*Углы спрямились, стрелы стёрлись
иже еси на небеси! —
хоть выставляй себя на Сотбис
и в книгу Гиннеса вноси!*

*И мне почти уже по нраву,
что в настоящем жизнь моя
привносит горькую приправу
в похлёбку бытия...*





ВСТАНЬ И ИДИ!

Ген. Александрову

*Странные есть на земле совпадения:
зная, что ждёт малыша впереди,
мать говорит ему после падения:
— Встань и иди!*

*Разве не с этой бессмертной фразой,
фразой естественной, как ни суди,
Бог обратился к умершему Лазарю:
— Встань и иди!?*

*Даже погрязшему в непогрешимости —
для покаянья нет места в груди —
Бог милосердный поможет в решимости:
— Встань и иди!*



ΠΕΡΨΥΙ ΣΗΕΤ



Εξοχότητα
Επιβλητικότητα
Απόλαυση
Εξοχότητα
Εξοχότητα
Εξοχότητα

Εξοχότητα
Εξοχότητα



ПЕРВЫЙ СНЕГ

*Сошел, растаял первый снег
там, между школою и садом,
для всех растаял без помех,
лишь мы, заснеженные, рядом.*

*Метёт, заносит колею,
швыряет щедрую охапку
на шубку черную твою
и на мальчишескую шапку.*

*Сквозь эти хлопья белизны
ты всё белее, ты всё дальше,
приди ко мне из той страны,
где нет ни горечи, ни фальши.*

*Где я с потерянным лицом,
как уличенный в страсти инок,
всё не могу понять — о чём
по снегу пишет твой ботинок.*

*Приди без тех позднейших слёз,
переиначивать не будем,
так безоглядно, так всерьёз,
как только смерть приходит к людям...*



ЩЕНОК

*...Тогда акация цвела,
был палисадник за спиною.
В окно я видел часть стола
с крахмальной скатертью льняною.*

*Там обгоревший фитилёк
семилинейной дутой лампы
отбрасывал на потолок
вещей расплывчатые штампы.*

*А рядом с лампой, на столе,
стояла гроздь в хрустальной вазе,
она светилась в полумгле,
как будто таяла в экстазе.*

*Там, у босых прекрасных ног,
терзая кружево рубашки,
вертелся увалень-щенок,
чистопородный сын дворняжки.*

*Как я завидовал щенку
с его бесхитростной забавой!
...Зачем храню свою тоску,
давно остывший, трезвый, здоровый?*

*И даже верую тайком,
что в череде реинкарнаций
смогу побыть её щенком
и гроздью грезящих акаций...*



ДЕВЧОНКА

*Она стояла, в зеркало смотрясь,
она — прикосновением и взглядом —
искала ту, единственную, связь
между собою и своим нарядом.*

*Нашла! И я увидел, что она,
кому-то подражая, может, маме,
по городу вечернему одна
впервые простучала каблучками.*

*Как плащ шуришал, как гребень в волосах
поддерживал летучую прическу!
И полудетский, тайный, сладкий страх
витал вокруг неё по перекрёстку...*

*И были так чисты её черты,
так трогательно всё в её расцвете,
что эта неподсудность красоты
по городу раскидывала сети...*



ЧУДО

*Постарел я и стало мне худо,
не найти подходящих чернил,
и приснилась мне ты, моё чудо,
то, которому я изменил.*

*Я вскочил, я искал твоё имя
в стародавних своих дневниках,
потускнело ли рядом с другими,
затерялось ли в желтых листках?*

*Как назвать тебя — Настя, Мария?
Кто ты — грёза, затмение, сон?
Понапрасну листал до зари я
разноцветие женских имён.*

*Обронил и оно расколосось,
разбежалось на тысячи брызг,
мне остался лишь мартовский голос,
мне остался июльский каприз.*

*Гнутый гребень и солнца осколки
на лице, на груди, на плечах
и упавшие в хвою заколки
в предзакатных и влажных Филях.*

*То ли взгляд, то ли вздох твой короткий,
и в багряной листве октября
твоя тень вдоль чугунной решетки
у Донского монастыря.*

*И теперь на любом перекрёстке,
где давно отшумела гроза,
расколовшейся радуги блёстки
размывают и колют глаза.*



В МЕРЗЛЯКОВСКОМ ПЕРЕУЛКЕ

Памяти В. Ермолаева

Не потому, что от нее светло,
а потому, что с ней не надо света.

Ин. Анненский

*А в Мерзляковском среди тараканьих бегов
Анненский плыл между узенькими берегами...
Спал я, как будто на теле пестреющих летом лугов,
весь, от подошв до макушки, обросший лугами.*

*Плыли и таяли восемь таинственных строк,
напоминая, какой я бездарный и жалкий,
строки, которым, по слухам, завидовал Блок,
плыли и таяли в грязной глухой коммуналке.*

*Спал и не спал я, как будто бы жил и не жил,
в мире пространств, диковинных ассоциаций,
Богу ли, дьяволу душу свою заложил
ради восьми этих строк, неподсудных мне граций.*

*Что-то шептал мне на кухне обкраденный жизнью старик,
гневом косила старуха, годами горбата,
в комнате девушки я проглотил свой проклятый язык,
плыл и тонул на кушетке между Тверским и Арбатом.*

*Свет был погашен, и на небе не было туч,
время смешалось, в созвучьях запутались сроки,
луч безымянной звезды, приплудившийся луч,
словно космический цензор, прощупывал дивные строки.*



*Конские гривы и крупы размыло на черной стене, —
где ты, куда унесло тебя, дикий детёныш?!
Будь милосердна, не я себя создал, пригрезилось мне
что-то такое, чего на Коньке-Горбунке не догонишь.*

*Кто я и что я, зачем я родился на свет,
что выразить языком и к чему прикосаться руками?
Предназначение моё уничтожил почти неизвестный поэт,
так, между делом, восьмью неземными строками.*





АУ!

Ю. Трошину

*Ау, осенняя Москва!
Вдоль площадей и дымных улиц
к перилам Крымского моста
бреду, под временем сутулясь.*

*Ау, повисший в небе мост!
Куда ушли мои трамваи?
От ранних звёзд до поздних звёзд
в кольцо любви вела кривая.*

*Ау, любимая, ау!
Трамвай на свалке, дом в ремонте.
Другие вытопчут траву,
найдут звезду на горизонте.*

*Ау, старинные друзья!
В чаду вещей, постов и званий
у нас повыцвели глаза
от непомерных притязаний.*

*Ау, прошедшее, ау!
Жизнь — океан, а люди — реки,
еще, быть может, доплыву
до человека в человеке...*



*Еще до слов, ещё до встреч
живут в игре воображенья
скупая речь и зыбких плеч
как бы невольное сближенье.*

*Но, устремив глаза в глаза
и до предела сблизив лица,
вдруг удаляется гроза —
так и не в силах разразиться.*





ЛЮБОВЬ

*Роса и ветви краснотала,
чужого города огни,
моя любимая устала
влачить сиреневые дни.*

*Она считает мелодрамой
жизнь в шалаше из диких роз,
а вместо драного Адама
ей нужен джинсовый завхоз.*

*Весь мир поэзией опутан,
но, как душою ни криви,
где есть любовь, там нет приюта,
где есть приют, там нет любви.*





ПРОЩАЙ

*Над синим морем синяя звезда
мерцает от заката до рассвета.
Прощай! В последний раз я жду ответа...
Прощай! Мы расстаёмся навсегда.*

*И ты прощай, скрипучий мой причал,
мой верный друг, качаемый волнами,
что я здесь пил, кого я здесь встречал,
останется, конечно, между нами.*

*Тот дробный, тот подробный перестук,
когда, не глядя, чувствуешь спиною
начало новых снов и новых мук,
намытых, словно золото, волною.*

*И тот, несовременный, странный тот,
давно уже забытый нами голос,
что, затаясь до времени, живёт
для одного бессмертного глагола...*



ЛИДЕ

*... А тишина стоит такая,
как будто всё уже прошло.
Высокая и золотая,
звезда струит своё тепло.*

*Когда была б она падучей,
необходимой, как и ты,
звезду бы опрокинул случай
на эту землю с высоты.*

*Ну что же, спи. В твою квартиру
случайность не придёт с бедой.
Любой из нас иному миру
падучей кажется звездой.*





ДЕВА

*Я рождён под созвездием Девы,
пребывая в подобной чести,
незапятнанный шлейф королевы
я обязан по жизни нести.*

*А несу я, судьбою забытый,
суковатую палку в руке,
для подруги своей знаменитой
созидаю дворцы на песке.*

*Но она на поля и на нивы,
и на весь мой земной вертоград
сквозь ресницы бросает ленивый
и, быть может, насмешливый взгляд.*

*Я служу ей, как рыцарь невесте,
но когда-нибудь мне надоест:
покровительство высших созвездий —
непосильный для смертного крест.*



*Когда от пыли и от зноя
уйдёт на отдых летний день,
земли дыхание ночное
разбудит позднюю сирень.*

*И что-то в мире сотворится,
как бы родясь из темноты,
чтоб наши помыслы и лица
освободить от суеты.*

*И отменить права разлуки,
и допустить из глубины
то, для чего даны нам руки,
глаза и губы нам даны.*





ЗВЕЗДА УПАЛА

*Звезда упала в женские ладони,
и пошатнулась женщина, смеясь,
а в озарённом искрою затоне
огнём желанья лилия зажглась.*

*В безумии рыбак отбросил снасти,
возжёт от жаркой искорки костёр
и к женщине, слабеющей от страсти,
свои ладони тяжкие простёр.*

*Цветы и травы бросились в объятья,
и судорога прошла по глади вод,
а пламя непорочного зачатья
зеркально отошло на небосвод.*





ЖЕНЩИНЫ

М.В. Зубавиной

*Что говорить, божественные женщины —
Елена, Клеопатра, Натали...
Недаром с вечной славою повенчаны,
но как же те, кто в святцы не вошли?*

*Они — сама природа их отечество
и от её законов ни на шаг —
рожали и рождали человечество,
поддерживая вечности очаг.*

*Они бывали сильными и слабыми, —
земное первородство не из книг,
их называли девками и бабами,
но не могли и дня прожить без них.*

*Да здравствуют те женщины, которые
в крови, в поту творили бытие,
остались безымянными в истории
за то, что сами делали её.*



УГЛЫ

Ларисе Новиковой

*В городе было четыре угла.
Всё остальное сгорело дотла.
То ли судьба в наказанье сожгла,
то ли надежда на откуп взяла.
В комнате было четыре угла.
Женщина в ней одиноко жила.
Чистила коврики, мыла полы,
в синих глазах отражались углы.*

*Жил в этом городе тихий чудак,
в небе снимал обветшалый чердак,
думал о чем-то, не зная о чем,
привороженный рассветным лучом.
Женщина гордо по городу шла,
светлую голову в небе несла.
— Боже! — вскричал потрясенный чудак, —
будь милосерден, обрушь мой чердак!*

*Не помогают скопища слов,
в городе сделалось восемь углов...*



ОЖИДАНИЕ

*Ожидание дня, ожидание вечера,
ожиданье улыбки от первого встречного.*

*Ожиданье плодов и листвы опадающей,
ожидание мысли, всю жизнь ускользающей.*

*Ожиданье любви, ожидание верности,
ожидание слова, и славы, и вечности...*

Ожидание...





ГРАЦИИ

Лиде

*В подлунном мире правят грации.
Природа — мера всех вещей,
мы лишь придумали градации
мелодий, красок и страстей...*

*Мы в жизни только тем и заняты,
а тополь, листьями шурша,
поёт, не зная нотной грамоты,
поёт древесная душа.*

*Волна размеренным гекзаметром
рождает длительность и ритм,
гроза из тучи, павшей замертво,
спектральной радугой горит.*

*И, соревнуясь с маттиолами,
жасмин струит свой аромат,
так бессловесными глаголами
цветы, озвученные пчелами,
между собою говорят.*



НОЧНЫЕ СТИХИ

*... И я решил, что всё потеряно,
что предал друг, и ночь темна,
и тут — царевною из терема! —
из тучи выплыла луна.*

*И осветила даль окрестную,
омыла ближние места
и всё окрасила в небесные,
туманно-звёздные цвета.*

*И что-то тёмное и мрачное
над бездной пасмурной воды
она преобразила в дачные,
осеребрённые сады.*

*Бомжи — патриции за ужином
у полуночного костра,
они пропиты и простужены,
нет ни кола и ни двора.*

*Но как хохочут, окаянные,
на зависть дачникам они,
пусть без мольбы и покаяния —
спаси их Бог и сохрани!*



ТЕПЕРЬ...

*Стучусь в распахнутую дверь
и спотыкаюсь на пороге,
мне скоро семьдесят — теперь
в тупик ведут мои дороги.*

*... Но ты живёшь среди людей,
их возжелений, их идей,
ты не злодей, не лиходея,
но — поневоле лицедей...*

*Ты должен душу напрягать —
одних хвалить, других ругать,
и с кем-то пить, и с кем-то петь,
и всё терпеть, терпеть, терпеть...*

*Когда ты врал или не врал,
ты не себя — других играл,
так репетируй же, скорбя,
в урочный час сыграть себя...*



КОВЧЕГ

*Всё-то мне бродится, всё-то мне бредится,
спать не даю ни себе, ни другим,
дрознит сосцами Большая Медведица,
звёздное млеко глотаю, как дым.*

*Поздние росы прохладнее инея,
ноги промокли, и сам я продрог,
ночь беспредельная, ночь соловьиная,
дай надышаться досыта и впрок.*

*Дай наглядеться, дай мне послушаться,
дай докопаться до звёздных корней.
Лёгкая лодка на отмели сушится,
двое влюблённых устроились в ней.*

*Я ни на что в этой жизни не сетую
и признаюсь, ничего не тая:
сладко вздыхать и дымить сигаретой,
щелкать и петь на манер соловья.*

*Филин кугукает в диком орешнике,
в лодке на отмели шорох и смех,
все-то мы грешники, все пересмешники,
всех нас баюкает звёздный ковчег.*



*Холод и сырость,
снег или дождь,
в шубке на вырост
ты меня ждёшь.*

*Руки озябли
без рукавиц,
прячется зяблик
в хвое ресниц.*

*Май приворотный,
гасим пожар
по подворотням,
по этажам.*

*Платье из ситца,
стоптан каблук,
что ж ты, синица,
рвёшься из рук?*

*Явка с повинной,
слов макияж,
клин журавлиный,
счастье — мираж...*



У ЗАПРУДЫ

*Я увидел тебя за селом,
там, где речка подходит к запруде,
на лугу, среди трав и цветов,
обнаженной, босой, —
золотое венерино лоно,
упругие девичьи груди
и склонённую набок головку
с распущенной влажной косой.*

*Я хотел бы часами глядеть на тебя
не насытись,
но не выдержал, вскрикнул...
И ты, прикрываясь рукой,
подхватила с земли
заstrуившийся платица ситец
и, вздымая песок, побежала
и скрылась в лозе за рекой...*

*Упадут мне на узкие плечи
бесцветного времени груди
и придавят к земле,
и заставят поверить,
что в мире бессмертия нет,
я умру и воскресну в другом,
чтобы видеть тебя у запруды,
среди трав и цветов,
обнаженной,
в зените твоих восемнадцати лет!..*



ДЕВЧОНКИ

Ах, ножки, ножки, где вы ныне?

А.С. Пушкин

*Ах, ножки, тонкие, как спички,
и расплетённые косички...*

*Скакалки, банки из-под ваксы,
веснушки — солнечные кляксы.*

*Ах, капризули и растрёпы —
Елены, Федры, Пенелопы...*





ПЕТЕРБУРГ

Добро, строитель чудотворный! –
шепнул он, злобно задрожав.
– Ужо тебе!

А.С. Пушкин. Медный всадник

*Кто двинул рать амуров и химер
в нетёсаное царство круглых брёвен?
Он просто был слепой или Гомер,
он просто был глухой или Бетховен?
Напротив Исаакия, в саду,
мужик справляет малую нужду.*

*Сдирая с классицизма штукатурку,
на Невском оркестранты правят суд –
играют разухабистую “Мурку”,
а впечатленья – жмурика несут.
Мой бедный Йорик – жмурик-Петербург...
О, если бы воскрес твой демиург!*

*Куда скакать кентавру Фальконета?
Кого когтит оципанным орлам?
Держава, как разменная монета,
со звоном раскатилась по углам.*

*Нырять в метро. Шатаясь, как с похмелья,
вылазить наугад из подземелья
и догонять грохочущий трамвай.*

*Рассудком люмпена, душою погорельца
то плакать, то глумиться, как Мамай,
над миром красоты, сходящим с рельсов...*



БОЛДИНСКАЯ ОСЕНЬ

*В глубине задремавшей России,
где раскольничьи гнёзда в скитах,
ах, как пелось-скрипелось гусиным
в тех осенних ночах при свечах!
Что готовит судьба — неизвестно...
Пушкин в Болдине, Пушкин в тоске.
Потому что невеста прелестна,
потому, что невеста в Москве.
Потому, что вокруг карантины,
ни okazji, ни прочих вестей,
выпить чаю, задёрнуть гардины
да созвать в свою келью гостей.*

*Пелерины, плащи и камзолы,
звон мечей и блистанье кирас,
серенады и клятвы — глаголы
всех времён и наречий, и рас...
Пушкин плачет, поёт и смеётся,
сыплет яд, соблазняет и лжёт,
сам себе и Сальери, и Моцарт,
сам себе Дон Жуан, Дон Кихот...*

*Так, в плену смертоносной холеры
осенил его осень Господь,
так летейские сны и химеры
обретали обличье и плоть! ...
В глубине задремавшей России,
где раскольничьи гнёзда в скитах,
ах, как пелось-скрипелось гусиным
в тех осенних ночах при свечах!*



ПРОМЕНАД

*Царскосельские пенаты.
Трёхвековый променад
превращает в экспонаты
парк, дворец, лицейский сад,
галерею Камерона
и подворье кирасир —
императорского трона
куртуазно-праздничный мир.*

*Ордена, кресты и ленты,
сёдла, сабли, кивера,
палаши и позументы —
всё игра и мишура?
Костюмерная морока,
медовуха и Клико —
ради каменных барокко
и альковных ро-ко-ко?*

*Жили-были Пётр и Павел,
Николай и Александр...
Променад сей крест оправил
в пастораль и палисандр.
Люстра звякнет, кресло скрипнет —
время пятится назад,
ветер пилит тоньше скрипки
трёхвековый променад.*



ДОЖДЬ

Лиде

*От Павловска до Царского Села
мы топали по лужам терпеливо,
в полдневном небе радуга цвела
и туча вызревала, точно слива.*

*Июньский дождик шлёпал по воде,
шуршал в траве, шумел в аллеях парка,
и что-то было в пушкинском дожде
дороже царскосельского подарка...*

*Дождь занавесил царские пруды,
лицейский сад, дворец Екатерины,
в наплывы, в брызги, в крапины воды
упрятались пейзажи и картины.*

*И кучка музыкантов в париках
стояла в галерее Камерона
с пюпитрами и с дудками в руках,
нисколько не рискуя сбиться с тона.*

*В гармонии оркестра и дождя
была давно разгаданная тайна:
на поводу у вечности идя,
струились ноты Моцарта и Гайдна.*

*Почтенные туристы подошли
и, расточая щедрые улыбки,
скупые кроны, тощие рубли
оставили в футляре из-под скрипки.*



*Какой восторг почувствовали мы,
когда вблизи лицейской колыбели
внезапно поднялась завеса тьмы,
а лужи и пруды заголубели!*

*Природа вмиг порядок навела:
на сотни вёрст открылась панорама,
и в золото оделись купола
распахнутого пушкинского храма!*





КРЕСТ

Ивану Рыжову

*Ходит по городу старый знакомый,
курит, сутулится, ищет друзей,
пасмурной родины сын незаконный,
душу свою превративший в музей.*

*Перепевает, перепивает,
переживает себя самого,
день убывает, тень прибывает
и с головой накрывает его.*

*Нянчит осенние строки и строфы,
птиц провожает с насиженных мест,
думаю, он донесёт до Голгофы
свой неподъёмный праведный крест.*





СУДЬБА

Евг. Черноплёкову

*Какой судьбы, какие кисти
тебя сметали по сусекам?
Так собирает осень листья
по лесосекам, по лесосекам...*

*Пока несёшь, в листве по пояс,
молвою сдавленные плечи,
судьба летит, как скорый поезд,
еще не вечер, еще не вечер...*

*Пока лопух цветёт в канаве,
пока звезда, мерцающая, манит,
тропа к бесславию и к славе
не одурманит, не одурманит...*

*Ты разметёшь молву-кликушу,
ты разорвёшь паучью пряжу,
свою не выставишь ты душу
на распродажу, на распродажу...*

*Листва раскинется периной,
лопух подушкой обернётся,
шатёр небес согреет спину,
и жизнь вернётся, и жизнь вернётся...*



ФОТОГРАФИИ

Роберту Винонену

*Фотографии старых приятелей,
групповой юбилейный портрет
донкихотов, зубрил, прожигателей,
но кого-то здесь, кажется, нет.*

*Проползли, пронеслись коридорами,
позабросили книги и спорт,
обросли именами, моторами,
облысели у лунных реторт.*

*Кто на полюсе, кто в “Метрополисе”,
асимметрия круглой земли
да нехитрый закон Кориолиса
тех свели, а других развели.*

*Тот корпит без претензий на жречество,
этот корни пустил в кабинет, —
дорогое моё человечество!
Но кого же здесь всё-таки нет?..*

*Кто остался за кадром, за зеркалом,
не проявленный, как негатив,
неизмеренный общими мерками,
не охвачен, не вписан в актив...*

*Где-то шастает он по обочинам,
то расхристанный, то озабоченный,
упирается лбом в тупики, —
всем открытым дверям вопреки.*



*Всё мне кажется — вот он покажется,
Зазеркалье откинув на миг,
и окажет себя — и окажется
неосвоенным, как материк.*

*То судьбой, то мечтой увлекаемый,
на путях-перепутьях земных
кто-то должен бродить неприкаянно
для спокойствия всех остальных.*





ЧУМАЦКИЙ ШЛЯХ

*Чумацкий шлях. Поросшая травой,
едва-едва заметная дорога.*

*Изъезжена, избита тракторами,
распахана, засеяна, и всё же —*

*Чумацкий шлях! И кажется, давно ли
скрипели арбы, сонные волы
тащились по степи с сивашской солью,
нагруженной в широкие чувалы...*

*И чумаки, подстриженные в скобку,
в потёртых широченных шароварах,
лениво погоняли хворостиной
свою худобу?*

*Солнце выжигало
суглинистую землю. Редкий пахарь,
над скудной полосой сгибая спину,
держался за чапиги...*

*Всё прошло!
И шлях зарос травой, и даже память
быльём и чернобылом порастает.*



УЗЛЫ

Виллю Мастафину

*Мудрец придумал колесо.
Природа, как двуликий Янус,
открыв одно свое лицо,
другим в сторонку посмеялась.*

*Приятно с помощью шкалы
жизнь ограничить берегами,
зло выбирает путь стрелы,
добро расходится кругами...*

*Но жизнь придумала узлы,
природа слишком таровата:
то не совсем остры углы,
то дуги как бы угловаты...*

*Пока в житейской толчее
решаешь комплекс квадратуры,
тебе готовит бытие
иные зыбкие фигуры...*



ОТРАЖЕНИЯ

(Фантазия в форме венка сонетов)

Роману Солнцеву

I

*Звезда вошла и смотрится в меня,
а я в неё, выцеживая строки,
собратья — добродетели — пороки
сгорают в тигле звёздного огня.*

*Февраль. Одеты в саван зелена,
резвятся зимородки и сороки.
Природа на сносях — подходят сроки,
и снег окрашен небом — иссиня.*

*Весна с меня потребует оброк,
я не сторонник праздных подношений,
ей подарю не лавровый венок,
а свой венок сонетов предвесенний.*

*Звезда в меня, как в зеркало, глядится,
её приют — небесная столица.*

2

*Её приют — небесная столица,
она в моём заброшенном углу,
продравшись сквозь космическую мглу,
красуется и пляшет, как актриса.*

*Её луча крутая биссектриса
с моим углом играет неспроста,
как в Зазеркалье девочка Алиса
с улыбкою чеширского кота.*



*Небесный луч владеет подсознанием,
вселяет в душу смертного кураж,
имея за плечами звёздный стаж,
нетрудно снизойти к земным созданиям.*

*Друг друга отражают наши лица,
мой угол — острие земного мыса.*

3

*Мой угол — острие земного мыса,
но каждая черта и каждый штрих
с пристрастием глядят в себя самих,
как в молодых монашек аббатиса.*

*Я для звезды подопытная крыса,
луч-скальпель беспощаднее земных,
ворочается в тайниках моих
и заставляет грешника открыться.*

*А внешние и внутренние связи
с пучками встречных мыслей и лучей
то рвутся, то сливаются в экстазе
и пробивают русло, как ручей.*

*Вбираю блики звёздного огня,
но мы по духу — кровная родня.*

4

*Но мы по духу — кровная родня,
и прежде, чем умру и стану глиной,
мне суждено проплыть перед витриной
созвездий, отражающих меня.*

*И я плыву, сомненья отстраня:
так белая кувшинка дружит с тиной,
пресветлый угол храма — с паутиной,
с Ахиллом — бесполезная броня.*



*А за окном ни света, ни просвета,
метель берёт на приступ города,
природа предъявляет право “вето”,
но будет час — взойдёт моя звезда.*

*Она взойдёт и вселится в меня,
лучами, точно струнами, звеня.*

5

*Лучами, точно струнами, звеня,
играет солнце мартовской капелью,
прощаемся с морозом и метелью,
предчувствием весны себя дразня.*

*Фантазия плетётся, семена,
пора бы соблазниться и постелью,
не то, подобно тяжкому похмелью,
в душе отравя звёздного огня.*

*В хрустальной вазе веточка мимозы,
букет сухих ромашек от Свапы,
стояли розы — и увяли розы,
в наследство мне оставили шипы.*

*Мимоза пахнет чем-то изначальным,
не склонна к отношениям вербальным.*

6

*Не склонна к отношениям вербальным,
в своё бессмертье верит красота,
она способна с чистого листа
искусственное сделать натуральным.*

*Все прописные истины банальны,
а все не прописные — без креста,
наш гордый дух — святая простота! —
склоняет к обязательствам кабальным.*



*Но где они, ключи или отмычки,
где право на мазок или строку,
которым луч звезды и пламя спички
даруют крест-костёр еретiku?*

*Судьба глуха к мотивам пасторальным,
она горит огнём исповедальным.*

7

*Она горит огнём исповедальным,
процеживает горы наших книг,
предпочитая непритворный стих
творениям монументальным.*

*Не претендую быть оригинальным,
не отвергаю истин прописных,
но, отдавая дань кострам астральным,
не грех земному помнить о земных.*

*Восходит солнце. По моей стене
гуляет зайчик, пойманный пространством,
ползёт по мне и мечется во мне,
и бередит мой дух непостоянством.*

*Луч солнца проникает в глубь меня,
пронзительными бликами дразня!*

8

*Пронзительными бликами дразня,
бессонница, исполнена простраций,
в душе рождает цепь ассоциаций,
в глубины подсознания маня.*

*Но как бледна отдельная струна,
и, если ей не вторят музы граций,
то лучшая из лучших вариаций
не может воспарить, коснувшись дна.*



*Природа мне даёт свои уроки,
и остается пара пустяков —
найти свои единственные строки
в содружестве шипов и лепестков.*

*Всему свои назначенные сроки,
законы мироздания жестоки.*

9

*Законы мироздания жестоки,
но есть в цепи ущербное звено,
где всё парадоксально смещено,
где дышат добродетелью пороки.*

*Там иноходь в галоп пускает строки,
там из плевел рождается зерно,
там судеб и времён веретено
нанизывает устья на истоки.*

*Там каждую весной живое ретро
воскресшего земного бытия
порывом ностальгического ветра
нас возвращает на круги своя.*

*Но всё проходит, молодость прошла,
для всех один устав, одна шкала.*

10

*Для всех один устав, одна шкала,
я не спешу к заутренней молитве,
душа чужда Божественной ловитве:
ни веры, ни безверья — смута, мгла...*

*Но солнце отрывает от стола,
и в бытовом, давно привычном ритме,
я доверяюсь зеркалу и бритве
и выхожу из пятого угла.*



*Спасительный бальзам житейской прозы,
когда бросаешь фишку на зеро,
с благословенья музы и мимозы
я выношу помойное ведро.*

*А солнце золотит колокола.
Всё сущее глядится в зеркала.*

11

*Всё сущее глядится в зеркала,
выискивая вещице приметы,
события и лица, и предметы
играют роль волшебного стекла.*

*С Пегасом, закусившим удила,
гарцуют соглядатаи-поэты,
не соблюдая нормы или сметы,
им кажется, что в цель летит стрела...*

*В погоне за нездешним эталоном
они отвергли здешнюю тщету,
забыли, что в колчане Аполлона
серебряные стрелы на счету.*

*Их токи во всемирном кровотоке,
и всё из отраженья тянет соки.*

12

*И всё из отраженья тянет соки:
зрачок сверлит зрачок, звезда – звезду,
вражда рождает новую вражду,
река вбирает в русло все притоки.*

*Когда судьба взимает с нас оброки,
горя презреньем к нашему труду,
нам стыдно выставлять свою нужду,
на вид мы сибариты-лежебоки...*



*Но разве нам неведома корысть?
В зеркальном отражении страданья
нам чистит и одалживает кисть
Верховный Живописец мирозданья.*

*В мечте мы завораживаем Лету.
Плету цветок к цветку, сонет к сонету.*

13

*Плету цветок к цветку, сонет к сонету,
и мой неканонический венок
то вольностью развенчивает слог,
то потакает разуму-эстету.*

*Пегас не подчиняется запрету,
летит и набирает потолок,
так день идёт к закату, ночь к рассвету,
наитие — природный оселок.*

*В хрустальной вазе от живых цветов —
их ароматов, абрисов и звонов —
осталась вязь иссохших лепестков
да жгутики скукоженных бутонов.*

*Послушная прощальному обету,
звезда передаёт мне эстафету.*

14

*Звезда передаёт мне эстафету —
угасший луч небесного огня,
и я приемлю дар её, храня,
как нумизмат истёртую монету.*

*Свою весну подталкивая к лету,
на высохшем асфальте ребячня
играет в классы, скачет, гомоня,
наперекор зануде Гидромету.*



*И эти дети — наши отраженья,
в них прозреваем будущие мы
свои победы или пораженья,
свой звёздный луч среди вселенской тьмы.*

*Едва дождавшись окончанья дня,
звезда взошла и смотрится в меня.*

15

*Звезда взошла и смотрится в меня,
ее приют — небесная столица,
мой угол — острие земного мыса,
но мы по духу — кровная родня.*

*Лучами, точно струнами звеня,
не склонна к отношениям вербальным,
она горит огнём исповедальным,
пронзительными бликами дразня.*

*Законы мироздания жестоки,
для всех один устав, одна шкала,
всё сущее глядится в зеркала,
и всё из отраженья тянет соки.*

*Плету цветок к цветку, сонет к сонету,
звезда передаёт мне эстафету.*

26 февраля — 9 марта 2001 г.



МАРТОВСКАЯ ПОЭМА

*Ты мне снишься, ты манишь...
Понять и постичь не могу,
для чего мне тянуть из колоды
давно уже битую карту?
На последнем, на мартовском,
на почерневшем снегу
отыскал я следы к молодому
московскому марту.*

*Среди ночи, спросонок,
по лужам, покрытым ледком,
я лечу напрямик
через вымерший город,
к вокзалу.*

*— Поскорее билет!
— Вам куда?
— Мне туда, далеко...
— Э, да он сумасшедший, —
тихонько кассирша сказала.*

*И вот за окнами вагона
гудят и стонут провода,
а там, за гранью перегона,
сквозит Полярная звезда.
Над почерневшими снегами,
над предрассветной тишиной
она, как мост меж берегами,
соединит тебя со мной.
В купе шумят, играют в карты,
звенят стаканы за спиной,*



*гонимый мартом, мчит с азартом
купе, вагон, весь шар земной.*

*Пустынны дачи подмосковные,
деревья в мартовском снегу,
такие давние да кровные,
что я бегу, но не сбегу
от этих сосен, этих ясеней
с их первородной чистой
перед Тверским, Садовой, Красина
и всей московской суетой.*

*Сюда из южных стран апрелями
летят весёлые грачи,
и грезят соснами да елями
в столичном шуме москвичи.*

*Уж понаедут! А пока ещё
живёт на дачах брат-студент,
пусть не о том уже мечтающий,
пусть помоднее нас одет.*

*И всё же брат во-хрестоматии,
во-сопроматии наш брат!*

*Прощайте, дачи альма-матери,
зовут Донская и Арбат...*

*Когда на Чистые пруды
упал последний зимний холод
и лёд с наплывами воды
был конькобежцами расколот,
когда земля и тополя
дышали влагой предвесенней,
всему дожившему суля
начало снов и потрясений,
когда, “норвежками” звеня,
в пушистом свитере, в берете,
ты налетела на меня,
раскинув руки, словно сети,
и закричала мне: — Замри!*



*И я, как в детстве, взял и замер,
вдруг замерцали фонари
потусторонними глазами.*

*В институтские окна
врывается ветер шальной,
что-то ищет в душе
и находит, конечно, находит!
За окном зеленеет и пахнет весной,
и доносятся снизу обрывки мелодий.
На мгновенье привстанешь —
и выхватит взгляд
мяч, взлетевший над сеткой,
и солнце на трубах оркестра,
а вдали, у причала, весенние платья пестрят.*

*У тебя — “сопромат”, у тебя — окончанье семестра,
Будь что будет!
Скорее туда, на дощатый причал!
Там густеет толпа в ожиданье речного трамвая,
и опять удирал,
и тебя у причала встречал,
и фиалками пахла в “Нескучном” трава молодая...*

*Я возвращался усталый и лёгкий,
встречая рассветы на Крымском мосту,
годами я мерил совсем недалёкий
путь через всю Москву.
И чудилось мне, что деревья и зданья
спускаются к набережным по ночам,
и я назначал тротуарам свиданья,
я звёздам свидания назначал.
Пусть всё это было наивно и глупо,
но мне озаренья дарила заря,
а снились мне ты и слепящий купол
Донского монастыря!*



Отыскал я Донскую.
Трамвай с неё сняли давно.
Отыскал я твой дом,
обнесённый чугунной оградой.
Так мертво и темно,
как глазница слепого, окно,
лишь свеченье деревьев
в глубине монастырского сада.
Отпустил я решетку
и пошел, озираясь, как вор,
на невидимый купол,
на дом злополучный ...
Вот мой Горный,
за ним, как и прежде,
дырявый забор
и аллеи Центрального парка,
и сад по прозванию “Нескучный”.

Карусель, “Поплавок”,
павильоны, театры, ларьки,
а вон в том,
голубом, точно мартовский лёд,
павильоне проката,
поправляя шнурки
и тебе надевая коньки,
я стоял перед тобой на коленях,
как сам де Грие
перед дамою сердца когда-то.
Ты мне снишься...



ЗА РАДУГОЙ

*Гроза пройдёт, накуролесит,
размечет копны и снопы,
большую радугу развесит
как раз от Сейма до Свапы.*

*Цыганский табор едет цугом,
плывут над пасекой дымы,
сады, леса и вся округа
в плену у птичьей кутерьмы.*

*У нас в детдоме “мёртвый час”,
наш воспитатель ищет нас,
а мы нарушили режим,
а мы за радугой бежим,
за нами светлой пеленой
несётся дождичек грибной.*

*Мы удираем от погони,
от серпантинной мелюзги,
летим, как взмыленные кони,
в упряжке радуги-дуги!*



ГАЛЧОНОК

*Уже не помню, кто принёс галчонка.
Он был весёлый, черный и крикливый,
он просыпался летом вместе с солнцем
и начинал кричать: “Пора! Пора!”*

*Он видел всё, что делали мальчишки —
варили раков, бегали в орешник,
а в сорок первом он летел за нами
и возле Курска встретился с войной.*

*Нам о войне немало говорили,
но в детстве видишь слишком много неба,
считая тучи, даже грозовые,
предвестниками тёплого дождя.*

*Мы ехали на нескольких подводах —
отличная мишень, куда уж лучше!
В сынах большевиков железа много —
мы были для фашистов, как магнит.*

*Их было два, прерывисто ревущих,
украшенных тяжелыми крестами,
они спокойно выгружали бомбы
на нас, застывших в выжженной степи...*

*И наш худой очкастый воспитатель
кричал куда-то в небо: — Здесь же дети!
(О, милый дядька, где ты?!) А галчонок
лишь вздрагивал при взрывах и молчал.*



*Смотрело солнце, яркое, большое,
и снова степь жила привычной жизнью,
а нас осталось мало, но железа
удвоилось в мальчишеской крови.*





СТАРИК

*В сторожке из серых нетёсанных досок,
где ночью и днём табачный туман,
тихонько работает старый философ,
философ, от горя сошедший с ума.*

*По виду обычный — смущенный и добрый —
он летом пришел и прижился в детдоме.
Густеющий клей и веселые стружки,
в тазу отсыревшая за ночь лоза, —
все эти корзинки, все эти игрушки
с восходом старик отнесёт на базар.
Он всё променяет — зачем ему деньги? —
и скажет рассеянно: — Кушайте, дети...*

*Он звал нас уверенно Гришей и Петей,
откуда, откуда безумному знать,
что Гриша и Петя, любимые дети,
погибли на фронте два года назад...
Философ, которому твёрдую почвой
полвека служили запасы ума,
не мог и придумать тот день, когда почта
вручит ему два похоронных письма.
И он побредёт городским тротуаром,
шатаясь и плача, и бормоча,
пустынный и праздный, как пепел пожара,
как храм, что оставлен навек без ключа.*

*Без гроба, в простую простынку завёрнут,
мальчишка, мой друг и философа “сын”,
землёю оттаявшей в сорок четвёртом
засыпан... и всё это было, как сон...*



*Цветущий урюк и шиповника зелень,
и глупой кукушки бессмысленный счет,
и гневный старик, укоряющий землю...
и небо, и солнце, и что-то еще...*

*Потом он бродил по казахским аулам,
меняя игрушки на хлеб и ночлег,
и где-то в Тянь-Шане, южнее Джамбула,
сожженный страданием, растаял, как снег...*





БИБЛИОТЕКАРША

*Она нам казалась ужасно богатой,
библиотекарша детской колонии,
окруженная греческими богами,
мушкетёрами и ковбоями.*

*Она приходила до грусти усталая,
на гвоздик пальто своё старое вешала,
смотрела на полки, плотно заставленные,
и улыбалась вежливо.*

*Она зажигала нас Горьким и Лондоном
и заставляла грустить над Чеховым.
...Она жила в эти годы голодная,
и дети её голодали — четверо...*

*Дети, серьёзные не по возрасту,
ждут свою маму с дровами, с продуктами,
ждут каждый день и невесело берутся
в квартире, ветрами войны продутой.*

*Она ждала, забывая про голод,
ждала и верила безгранично, —
и муж вернулся в маленький город,
вернулся и встал на камень гранитный!*

*Она неустанно и твёрдо боролась,
чтоб стали мы честными, стали мы добрыми,
а мы ей носили дрова ворованные,
когда её не было дома...*



АРБОВОЗ

*В зеркало прошлого смотрим любовней,
слаще бездомье, чем сытый уют.
...Флюгер трещит над саманной воловней,
ласточки гнёзда под стрехами вьют.*

*Едем за сеном. На небе ни тучки.
Сухо скрипит полевая арба.
Серый курай да верблюжьи колючки,
Азия — наша судьба.*

*У арбовоза воловье терпенье,
вялые возгласы “цоб” да “цобе”,
злой самосад, заунывное пенье,
мысли и чувства в себе.*

*С ранней весны в гимнастёрке и в кепке,
крученный, вроде степного дрючка,
выжженный солнцем, мосластый и крепкий,
сын семиреченского казака.*

*“Горькая линия”, “Горькая линия” —
русский заслон от кочующих орд.
Черные кони, околыши синие,
выправка — царский эскорт!*

*(Что бы его откровения значили —
время страшнее стихий моровых:
не рассказчили, так раскулачили,
поубивали на двух мировых.)*



*Ни тебе жалоб, ни бабьих истерик,
всё “добровольно” – налог и заём.
Я походил у него в подмастерьях,
жизнь за налыгач тянули вдвоём.*

*Желтая степь, солончак, суховей,
в сизой дали снеговые хребты,
стайки сайгаков, фаланги и змеи,
беркут, пикирующий с высоты.*

*Трудно поверить, что где-то оазис
поят тьянь-шаньские льды и снега,
едем туда, где природа в экстазе –
хлопок, табак, золотые стога...*





ТЮЛЬПАНЫ

*Скупая Чуйская долина
с кремнистой выжженной душой
тюльпаны щедро нам дарила,
морила вшой и анашой.*

*Сорняк забытых огородов
и нераспаханных полей,
тифозный жар, угар природы —
тюльпаны в памяти моей.*

*Во все четыре горизонта
кумач раскинул письма:
“Всё для Победы! Всё для фронта!”
Война — воистину красна...*





ЭТОТ ГОРОД

*Этот город, войною не тронутый,
вековечный, глубинный, лепной,
застоялся в душе, точно в омуте,
с минаретом, с арыком, с луной.
С ишаками, надрывно ревущими,
с кизяками в метровой пыли,
с мавзолеями, в небе несущими
азиатские шпильки свои.*

*Муэдзина фальцет над святынями,
над прохладой урючных садов
и над площадью, пахнущей дынями,
потной шерстью и гнилью плодов.
Там, блуждая глазами нетрезвыми,
над гармошкой склоняясь навзрыд,
проскрипел мне по сердцу протезами
престарелый солдат-инвалид...*

*Где-то там корпуса общежития
с полудетскою жизнью-игрой,
не заставишь сегодня события
рассчитаться на первый-второй.
Где-то там Комсомольское озеро,
где-то райские кущи в садах, —
видно, память разъела коррозия
в тридесятих годах-городах...*



МИРАЖ

*Восточный фронт —
цветочный Самарканд
к Победе нацепил
свой красный бант.*

*Кружился пух
над радугой воды,
цвели вокруг
урючные сады.*

*И, салютуя
мёртвым и живым,
ревел карнай
с оркестром духовым.*

*И подпирала небо,
как всегда,
сам Гур-Эмир,
сама Шахí-Зиндá!*

*...А эта женищина,
безбожно хохоча,
сияла жемчугом
в тени карагача.*

*Платочек комкая,
струилась, точно ртуть,
сквозь блузку тонкую
просвечивала грудь.*



*Плясала чёлочка,
зачеркивая лоб,
а туфли-лодочки
выщелкивали дробь.*

*И приклатнённая
компания парней,
как зачумленная,
стояла перед ней.*

*Не зная похоти,
я видел только страсть
в кромешном хохоте,
в игре зелёных глаз.*

*Журчал арык
по розовым камням,
а я стоял,
завидуя парням.*

*Мне не было
одиннадцати лет
и я не знал,
что счастья в мире нет.*

*Триумф Победы,
женщины кураж —
всё отойдёт, исчезнет,
как мираж...*



“РИОРИТА”

*Сколько помню себя — “Риорита” —
Неотвязный заморский мотив,
Торжество танцевального ритма,
Безыскусный и страстный призыв...*

*Секретарь комсомольской ячейки,
Оттесняя послушный народ,
Убирает с дороги скамейки
И с девчонкой танцует фокстрот.*

*Как упорно дробит кастаньеты
Патефон на чужом языке,
Сотрясая на стенах портреты
В нашем “красном” — святом! — уголке.*

*Продуктовые карточки, примус,
Письма с фронта, но радости нет,
У картошки мороженный привкус
И победная дробь кастаньет!*

*“Риорита” — кумир общежитий,
Сельских клубов, столичных дворцов —
Самовольно прописанный житель
В семьях прадедов, дедов, отцов...*

*Для нее не назначены сроки.
Что ей моды и что ей года?
Всё состарится — джазы и роки,
“Риорита” всегда молода...*



ДЕНЬ ПОБЕДЫ

*Как раз мы были заняты едой,
когда ушастый, рыжий и худой
влетел дежурный, крикнул: — Пацаны!
Конец войны! Эй вы, конец войны!*

*И всё смешалось, грянуло “Ура!”
И эхо докатилось до двора.
Из кухни воспитатель: — Вы чего?
Мы, хохоча, глядели на него.*

*Хоть мы в те годы грезили едой,
швыряли миски с тыквенной бурдой,
горбушки по карманам и — айда! —
куда-нибудь на улицу, туда,
на снеговой Тянь-Шань, на белый свет,
где нет войны, где смерти больше нет!*

*Ревела Чу в булыжных берегах,
саманные домишки и бараки
вывешивали праздничные флаги
и бредили на разных языках:*

*на русском, на казахском, на иных
наречиях Советского Союза,
да что язык! — он был тогда обузой,
Победа породила свой язык —
тот самый, что важней и ярче слов:
язык улыбок, слёз, внезапных жестов...*



*Там пастушонок растерял коров,
тут бабушка сияет, как невеста!
Седой солдат, безногий инвалид,
детдомовцам суёт буханку хлеба,
он плачет и смеётся — жуткий вид!
Но, забывая, что и где болит,
он костылями салютует в небо!*

*Не площадь, не перрон — сплошной базар!
Чалмы, чубы, пилотки, тюбетейки...
Там укротитель с пляшущей змейкой,
А тут канатоходец из Джунгар!*

*Сияло солнце в этот майский день,
цвела в садах дунганская сирень.*





РЕЧУШКИ

В. Михалёву

*Небогаты водою и красками,
в городишке, а чаще в селе, —
сколько их, безмятежных и ласковых,
протекает по нашей земле!*

*А за ними луга или выгоны,
а над ними ракитник, ивняк,
пастушата, легки и зашмыганы,
да гусей перелётный косяк.*

*Далеко им до Волги, но Родине
и такие речушки нужны,
пусть петляют себе огородами,
перелесками нашей страны!*





ТИМОША

*У местных барахольщиц нарасхват,
живей живого — надо же везуха,
по всем статьям мужчина и солдат,
подумаешь — без глаза и без уха.*

*...А нам казалось, сгинут все враги,
когда сорвёт он грязную повязку,
когда пинками сбросит сапоги
и ринется в отчаянную пляску!*

*“Мучной” базар стонал, хрипел и пел,
“Мучной” базар прихлопывал и топал,
ишак ревел, и карагач скрипел,
и весь в пыли отряхивался тополь.*

*Тимошу обожгла огнём война,
и в нём душа такая накопела:
Тимоша плакал — плакала страна,
Тимоша пел — страна, рыдая, пела...*

*Когда он подарил свою гармонь
проезжему солдату-инвалиду,
в груди его, в печи, погас огонь,
лишь одинокий глаз торчал для виду.*

*Потом их было много, но того,
Кривого и безухого Тимошу
со всеми причиндалами его
тащу всю жизнь
как собственную ношу...*



ЗАСТАВА

Ген. Тюрину

*Ночь опускалась, как секира,
срезая гребни южных гор,
и посреди слепого мира
чабанский вспыхивал костёр.*

*И головешки саксаула,
из тьмы выхватывая пост,
с неукротимым треском, с гулом
швыряли в небо искры звёзд.*

*Загон — бессонная застава.
И гуртового сонный лик,
и молодого волкодава
сторожевой гортанный рык.*

*И в спевке с бляньем и ржаньем
немолчный хор ночных цикад,
и, приглушенный расстоянием,
за перевалом — водопад.*

*И наш ковчег — жилия юрта,
и посреди вселенской тьмы
свечной нагар и запах курта,
и спёртый, душный дух кошмы.*

*Лишь просыпаясь на рассвете,
уже не думал я с тоской,
что мы одни на белом свете
и с нас начнётся род людской.*



ИГРУШКИ

*Какие смешные игрушки
на праздничной ёлке висят:
зайчата, ежата, пеструшки,
содружество трёх поросят.*

*Дошкольного возраста чертик
Петрушка, а может, Пьеро,
повесил у пояса кортик,
на шляпу — павлинье перо.*

*Как жалко, что Золушки нету,
и Принц по посёлку пешком
всё бродит и бродит по свету
с хрустальным её башмачком.*

*И все в ожидательных позах,
ударят часы — и тотчас
поступит от Деда Мороза
весёлый и важный приказ.*

*— Ребята, зверята, — он скажет, —
восстаньте из сказочных книг! —
И маленький чертик запляшет
в стеклянных сапожках своих!*

*Такого еще не бывало,
в зените ночной тишины
магический шум карнавала
врывается в детские сны...*



ТАВОЛЖАНКА

В. Молчанову

*Таволжанка, Таволжанка!
Золотой сосновый бор,
канительная тарзанка,
самодеятельный хор.*

*Репетиции, концерты
или танцы под баян,
клуб прописан вместо церкви
пролетариям всех стран.*

*За оградой сахзавода
перекличка сторожей,
сенокосный луг в разводах,
ловчий промысел стрижей.*

*Отработал — и на лоно...
Нравы сельские просты:
сахзавод без самогона,
что невеста без фаты.*

*А теперь всё это свято:
клуб под именем “дворца”,
и тарзанка, и маслята,
и лесные озера.*

*Отчего же мне так жалко
тот огонь и этот дым?
Таволжанка, Таволжанка...
Хорошо быть молодым!*



НОСТАЛЬГИЯ ПО СЕВАСТОПОЛЮ

*Ленту памяти застопорю
и, по клавишам стуча,
побреду по Севастополю
в ранге бомжа и бича.*

*... С подгулявшими матросами
и с портовой голытьбой
мы дымили папиросами
по прозвищу “Прибой”.*

*В виноградных палисадниках
под нетрезвый звон гитар
распевали о десантниках,
распевали “Солнцедар”.*

*Жизнь была такой прекрасною:
море, небо, диск луны,
кипарисы над террасою
Корабельной стороны.*

*Ожидаемый туристами,
золотистый, словно сон,
швартовался в Графской пристани
теплоход “Абрау Дюрсо”.*

*Я, беспечный, как растение,
в рифму думал и мычал,
ветер нёс листву осеннюю
с парашютов на причал...*



ЛЁНЬКА

*В пилотке фронтовой,
в трофейной куртке кожаной,
хмельной и разбитной,
небрежный и ухоженный.*

*Отдельный человек,
войной не искалеченный,
покуривал “Казбек”,
пуская дым колечками.*

*На весь колхозный двор —
скажу во имя истины —
единственный шофёр
полуторки единственной.*

*Струилось на току
причесок пламя рыжее,
и были начеку
глаза его бесстыжие.*

*— Залётка, не томи...
Ах, Лёнька, Лёня, Лёнечка!
Возьми да обними,
да только так, слегонечко...*

*— Маруська, не шути,
а то не поздоровится,
мотор на полупути
чихнёт и остановится...*



*Горчит сухая рожь,
пылит дорога к станции,
бросает в жар и в дрожь
учетчицу с квитанцией...*

*...Блаженный ли, блажной,
но, памятью просвеченный,
он весь во мне, со мной —
от ручки заводной
да сладостной “казбечины”.*





ЭХО

Николаю Алешкову

*Голос первой любви – нашей юности эхо,
расстоянья и годы ему не помеха.*

*И его голоса, подголоски и вздохи
не дано заглушить громогласной эпохе.*

*Потому что под сердцем проросшее семя
попадает в иное пространство и время.*





ДУХОВОЙ

В городском саду играет
духовой оркестр...

Алексей Фатьянов

*В вельветках и военных кителях,
в платочках и заношенных туфлях,
заполняя парки и бульвары,
кружились и отплясывали пары.*

*И каждый подпевал, как он умел,
"Катюше" и "Смуглянке-молдаванке",
и мощными литаврами гремел
победный марш "Прощание славянки"!*

*Торжественней, чем люстры на балах,
луна — всегда в зените! — им светила,
и отражались в медных зеркалах
танцующие звёздные светила.*

*Давно из моды вышел духовой,
досадно, что прогресс не знает меры.
Горсад зачах без музыки живой, —
как можно танцевать под скрип "фанеры"?*

*Да что вздыхать о давних временах...
Какое сердце горечь не затронет,
когда оркестр на похоронах
рыдает, будто сам себя хоронит?!*



РОЗАРИЙ

Л.С. Колодяжной

*Мы многое из памяти стираем —
такой вот избирательный склероз...*

*Назад тому полвека за сараем
сажали мы кусты тянь-шаньских роз.*

*Наш скотный двор был вымощен навозом,
по щиколотку жижа — не пройти,
но как вольготно было майским розам
на прошлогоднем гумусе цвести!*

*В отборной матерщине, в женском визге,
где царствуют побои, голод, страх,
росистых капель розовые брызги
сияли на раскрытых лепестках.*

*Они так отрешенно, ровно пахли,
послевоенным бедам вопреки,
и розовый нектар из каждой капли
выцеживали пчелы и жуки.*

*Мы ими торговали на базаре,
валялся в стельку пьяный скотный двор...
Тот разорённый, проданный розарий
я помню и жалею до сих пор.*



ЧАЙХАНА

*Здесь обретают временный уют
погонщики верблюдов, змееловы,
играют в нарды, чай зелёный пьют,
смакуют бешбармаки, манты, пловы.
Неспешное общение любя,
встречают пилигрима, словно брата,
откинув полы пёстрого халата,
сидят часами, ноги под себя.*

*Не к этим ли дорожным кураям,
взбивая пыль на ослике кургузом,
спешил невольник мудрости – Хайям
отдать поклон вину, любви и музам?
Сам Тамерлан, покорный временам,
не соблазнясь далёким Керуленом,
полмира приторочив к стремянам,
сложил добычу к глинобитным стенам.*

*Аллах велик, а небосвод высок...
Фаланги Македонца, войско ханов –
все пересейл времени песок,
всё уложил в могильники барханов.
...Она шумит с темна и до темна,
привычная для глаза и для слуха,
харчевня, клуб, пивная – чайхана,
оазис духа.*



БАЯНИСТ

А.И. Лысенко

*Я музыкант. Не очень настоящий.
Я баянист, короче говоря.
Таскаю на плечах фанерный ящик
и провожает спать меня заря.*

*Меня зовут на свадьбы и гулянки
не в те дома, где шпроты и коньяк,
а в те, где без наклеек полубанки,
где мало слёз, хотя немало драк.*

*Я должен пить и оставаться трезвым,
и так давать по просьбе гопака,
чтоб дом дрожал от топота и треска
весь — от фундамента до потолка.*

*Я поп без церкви, вижу острым взглядом —
кто с кем гуляет, кто и сколько пьёт...
Да что! Мне сам заведующий складом
наедине ладошку подаёт...*



ГОЛУБЯТНИКИ

Вл. Найдёнову

*Как копыеносцы или латники
в забвенье канувших веков,
пропали в нетях голубятники
с послевоенных чердаков.*

*И те кепчонки приבלатнённые,
тельняшки, фиксы, брюки-клёш,
и те бабёнки забубённые
в прическах “стриженный Гаврош”.*

*Они, расхристанные, рыскали
по птичьим рынкам и дворам,
они всходили, эти рыцари,
на голубятню, точно в храм.*

*На чердаке, присев на корточки,
прикармливали голубей
тем, отоваренным на карточки
пайком из чёрных отрубей.*

*Я вспоминаю с умилением,
что кодекс чести был в чести, —
тогда считалось преступлением
чужую пару увести.*

*Порой разборки были бурными —
кастеты, финские ножи,
а в небе дутыши и турманы
закладывали виражи!*



*И слаще не было, наверное,
для нас, бездомной ребятни,
чем их высокое доверие:
— А ну-ка, малый, шугани!..*





ЛАПТА

*На выгоне, на выгоне,
на выбитой траве
голодной и зашмыганной
нет удержу братве.*

*Конаешься, конаешься,
мухлюешь на счету,
как в прорубь окунаешься
в жестокую лапту.*

*Пространство ограничено
и замкнуто, хоть плачь,
судьбою намагниченный,
притягиваю мяч.*

*У Митьки нос картошкойю,
у Митьки грудь горой —
что с вилами, что с ложкою
ему игра игрой.*

*Захватит мяч потрёпанный
в грабастую пращу
и так примочит, грёбанный,
вовсеки не прощу.*

*Лечу, лечу, как молния,
зигзагами лечу,
пролезть в ушко игольное
хочу назло мячу...*



ВОДОВОЗ

Александр Швыдких

*Я был назначен водовозом.
Как будто дело не хитро:
мне были выданы завхозом
бочонок, упряжь и ведро.*

*Запряг кобылку — ну и кляча!
Присел на бочку, крикнул: — Н-но!
Подъехал — сразу неудача —
ведро бултыхнулось на дно.*

*Тут, как всегда, со стороны
понабежали пацаны:
— Что, упустил?
— Да затонуло...
— Дак полезай, не трусь-петрусь!
Глухим и рыкающим гулом
несло из бездны — эх, сорвусь! .*

*Под мышки схваченный ремнями,
сдирая ногти рук и ног,
я задохнулся в склизкой яме,
вспотел и струсил и продрог...
Достал ведро и кое-как
сквозь зубы выдавил: — Ништяк!..*

*Сперва шустряк-молотобоец
из кузни выскочил с ковшом,
стал обливать себя по пояс
и вдруг — остался нагишом!..*



*Гонявший привод молотилки,
совсем обугленный гаврош
прокрался около кобылки,
затычку хватать! — и был хорош...*

*Потом девчата обступили.
— Марусяка, эй, не завлекай!
А сами пили, пили, пили, —
ну хоть затычку затыкай...*





РАССВЕТ В ГОРАХ

(Из поэмы “Август”)

*Рассвет в горах — далёкий праздник!
За перевалом гул воды.
Как долго в памяти не гаснет
миганье утренней звезды.
А как изменчива, лукава
зарниц предутренних игра,
и взгляд седого волкодава
в полуживой огонь костра!*

*Мой август, лунами твоими
я налюбуюсь наконец?
Густейший, августейший — имя
подходит —
ты всему венец!
Твоей росой промыты косы
той, что укрыта пиджаком,
я с лаской девочки раскосой
благодаря тебе знаком.
Арбузом пахнувшие губы,
что так тревожны и смелы,
ладони, что в работе грубы,
а вокруг шеи так теплы!*

*Не знаю, чем за эту радость
я заплачу судьбе смогу —
за отдыхающее стадо
на пожелтевшем берегу.*



*За желтизну стерни и дальних
хребтов Тянь-Шаня белизну
и тополей пирамидальных
полуденную тишину.
Сады и тёмные затоны,
кувшинок белые ладьи,
как только август — так ладони
на шее чувствую твои!*





ВЕСНА

(Из поэмы "Воркутинский дневник")

*Весна, а за Полярным кругом
сегодня звонкая капель,
но через день опять закрутит,
завоеет майская метель...
Но люди знают — ненадолго,
чуть с юга ветер повернёт —
и снег сойдёт, оставшись только
у Карских ледяных ворот.
Здесь нет красот России средней,
полярный край суров с лица,
и всё же есть у тундры средство
к себе приковывать сердца.
Там день и ночь на страже солнце,
ржавая, расцветает мох,
а неба синюю бессонницу
я описал бы, если б смог.
Холодно вато и беззвёздно,
хрустальной ясности полно,
забыв свой миллионный возраст,
лежит, как девушка, оно...
Весной услышишь, как, подвыпивши,
вздыхают о родных местах
и о судьбе, на долю выпавшей,
и о несбывшихся мечтах.
А иногда в неясном лепете
я разбирал не без труда:
— Сюда летите, гуси-лебеди,
летите, белые, сюда...*



*Сердце не прячут под рубашки,
и тундра для людей таких
растит полярные ромашки
и ледяные васильки...*





БЕЖИН ЛУГ

Памяти Саши Филатова

*Я не бывал на Бежином лугу,
но отчего он так запал мне в душу?
Я, как своё родное, берегу
ночной костёр, и “бяшу”, и Павлушу.*

*И тот внезапный, тот ознобный звук
из чрева ночи или ниоткуда,
исторгнутый нечаянно и вдруг —
природы потаённая причуда.*

*Мне тоже доводилось на заре,
когда сполохи теплятся в затонах,
картошки, испеченные в золе,
как угли, перекачивать в ладонях.*

*По лугу разносилось “хруп” да “хруп” —
овсяница не мёртвая зелёнка —
пофыркиванье влажных конских губ
и, топкий в травах, топот жеребёнка...*



СИРЕНЬ

В.Н. Алфееву

*На площадях, в садах и вдоль дорог
она царит свободно и беспечно,
неприхотлива, как чертополох,
как Золушка в наряде подвенечном.*

*Отрада городов и деревень,
всегда живая, праздничная гостья,
раскинулась, развесилась сирень,
к прохожему протягивая гроздь.*

*Как будто просит: — Рви меня, ломай!
Одаривая мною мир окрестный,
не забывай, что будет новый май,
я расцвету, я заново воскресну!*





ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

РЕМЕСЛО

*Вот на закате облако плывет
И золотится, мимо проплывая,
И ты глядишь на летний небосвод
И зарифмуешь: “Тучка золотая”...*

*Ты ремеслом владеешь, как артист
Высокого, испытанного класса,
Но вот перед тобою чистый лист
И сам ты перед ним — табула раса.*

*О, белые одежды бытия!
Поэту к ним опасно прикасаться,
Он сам истец и сам себе судья,
И он обязан быть, а не казаться...*

*Искусственные розы не для нас,
Мы топчем землю голыми стопами,
У каждого поэта свой Парнас,
Усыпанный цветочными шипами.*

*Поэтому глядишь на небосвод
Или глаза отводишь виновато...
А золотое облако плывет,
Плывет за горизонт в лучах заката...*



ЛИДЕ

*Пора, пора отбросить ревность,
Она теперь уж ни к чему:
Давно не ждет меня царица
В своём высоком терему.*

*И ты попробуй-ка взглядеться,
Раздвинув памяти кусты,
И не вернется он из детства —
Тот принц, что выдумала ты.*

*Что было — было... Но сегодня
Когда-то бурная река,
Освободясь от половодья,
Течет, полна и глубока.*





*Я сказал: научи меня, степь,
Дай мне воли и дай мне покоя,
Я годами сидел, я ослеп
В безнадежной борьбе со строкою.*

*И услышал я странный ответ:
— Все дороги ковыльной равнины
Упираются в горный хребет,
В океан обрываются синий...*





ТАЙНА

*Обметаем углы, выметаем
Пыль и мусор из тесной избы,
Но опять, словно мухи, влетаем
И жуужжим в паутине судьбы.*

*Выбиваем ковры, выбиваем
Злую нечисть, гремя и пыли,
В белоснежных холстах выбиваем
В ту страну, где сплошная земля...*

*Если жизнь в этом мире случайна,
Отчего этот зов чистоты
И какой они связаны тайной —
Жажда плоти и дым красоты?..*





ПОСЛЕ БУРЕЛОМА

*В завалах сосен и берез,
Где поработал смерч,
Пушистый молодняк пророс,
Поправший смертью смерть.*

*Стволы порушенные смят,
Припав к родной земле,
Больные выводки онят
Пасутся в полумгле.*

*Кора деревьев, как шелом,
Ребриста и крепка,
Чтоб не тревожил бурелом
Покой молодняка.*

*Шуриша листвой, купаешь грусть
В канаве дождевой
И вдруг увидишь белый груздь
Веселый и живой!*



МАСКА

*На новогоднем карнавале,
Где люди маски надевали,
Искал я маску для себя,
В себе сомненья истребя.
То ржал я мысленно, то рыкал,
То тело иглами утыкал,
Как безобразный дикобраз.
И так я долго горе мыкал,
Но вдруг подумал: вот те раз!
Да разве дамся я в упряжку,
Да разве съем козу бедняжку
Или кому-то выбью глаз?
И тут я понял — крыть мне нечем,
Придется, видно, в человечьем
Обличье встретить Новый год,
Авось для праздника сойдет...
Да где там — стреляные волки,
Стуча клыками из-под елки,
Завыли: ты в своем уме?!
И я затряс бородкой: м-меее...
С тех пор я ангел всепрощенья,
С тех пор я козлик отпущенья —
Все недоеденный хожу
И за собой волков вожу...*



ЖИЗНЬ

*Подобие дворового театра:
Грибок, песок, скамейки, детвора,
“Козел” – фуражки, шляпы, пиво, “Ватра”,
И каждое сегодня, как вчера...*

*Косички, сопли, бантики, качели,
Детсадик, школа, армия, семья –
Ячейки вековой карусели,
Истоптанная жизнью колея...*

*Учителя, наладчики, шоферы...
Всегда и всюду – жажда перемен,
Политика, работа, бабьи споры,
Инфаркт, инсульт, процессия, “Шопен”...*





*Можно подняться к могиле Волошина,
Не затирая чужие следы.
Глянуть — до неба камней наворочено,
Вдоволь налито солёной воды.*

*Камень-гранит неподкупен для золота,
Памятный слог лаконичен и строг,
Солнцем иссушенный, ветром исколотый,
Пахнет бессмертьем степной полынок.*

*Платьями женщин пестрят виноградники,
Жизнью командует местный базар...
Буднями сборщиц оплачены праздники —
Пляжи, гостиницы, флирт и загар...*

*Строчки и краски поэта-художника...
Сдую с ладоней дорожную пыль
И прикоснусь-приклонюсь остороженько,
Как прикасается к ветру ковыль.*



НА УРОКЕ

(Поток сознания)

*Я не могу сосредоточиться...
У Генки прыщик на губе,
Ему чего-то очень хочется,
И он, мерзавец, льнет к тебе...*

*А вот в учительской по радио
Идет футбольный репортаж,
Но мой “Спартак” меня не радует,
И я берусь за карандаш.*

*Пишу записку осторожненько:
Заметят – вызовут к доске,
Что в клубе железнодорожников
Трофейный фильм о Спартаке.*

*Бобров пасует на Федотова,
Ведет в атаку ЦДКА,
Ботвинник выиграл у Котова –
И все не в пользу “Спартака”...*

*Ты занята своими косами...
Вот снова Сальников с мячом...
Несчастный синус, бедный косинус.
А гладиатор обречен...*

*Спартак спускается с Везувия,
Татушин, Нетто, Симонян...
Там Сулла в приступе безумия,
Тут школьный дворник с утра пьян.*



*Ведь это он без разрешения
Включил Синявского, алкаш,
Учитель требует решения,
Берет меня на абордаж.*

*Спартак встречается с Валерией...
Мяч в сетке, синус на доске,
А мы по щучьему велению
Сидим с тобой на "Спартаке".*





СТРУЧКИ

*Среди невыжженной ботвы,
совсем как овцы и телята,
паслись мы в поисках жратвы —
послетифозные ребята.*

*Те прошлогодние стручки
бобов и сои, и фасоли похожи
были на крючки,
полуистлевшие в подзоле.*

*Вдруг появлялась ловкость рук,
ты был по-зверски чутким, зорким
и слышал чмокающий звук,
вскрывая слякотные створки.*

*Наверно, было бы умней
прожарить гниlostные зерна,
но чувство голода сильней,
оно рассудку непокорно.*

*Сквозь дальнoзоркие очки
при всех бананах и пельменях
я вижу ржавые стручки
и ощущаю дрожь в коленях...*



*Поэт, раскрученный вполне,
Полвека бывший на волне,
Гордыни вдоволь накопил...
И вдруг утратил прежний пыл...
...Давно не слышал соловья,
Не видел хрусткого жнивья,
Не замирал от тишины,
Не попадал в тиски луны.
Где друга верного лицо,
Любимой женщины крыльцо,
Где гроздь сирени, луч звезды,
Отяжелевшие сады...
...Очистил зерна от плевел —
Ослеп, оглох, осиротел...*



ОСЕНЬ Ъ ТОПОДЕ



ст.
 1887 г.
 1888 г.
 1889 г.
 1890 г.
 1891 г.
 1892 г.
 1893 г.
 1894 г.
 1895 г.
 1896 г.
 1897 г.
 1898 г.
 1899 г.
 1900 г.

1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г.

1905 г. 1906 г. 1907 г. 1908 г.

1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г.



ОСЕНЬ В ГОРОДЕ

I

*Осень в городе. Я начинал эти строки
в институте Бурденко,
Но диагноз – “инсульт” – запретил мне общенье
с профессией.*

*Впрочем, если профессия ваша имеет название “поэзия”,
То к стихам вы вернётесь в любом состоянии заново...*

*Осень в городе – можно ль назвать тебя осенью?
Межеумок природы, прогал человечьей души...
Осень в городе – разве инсультник осилит поэму?
Как объять необъятное можно в своём безысходном кругу?
Я могу превратить в мелкотемье любую великую тему,
Но признать поражение своё пред своею душой не смогу.*

*Осень в городе – это в теперешнем виде
Облик новой вселенной, теряющей смысл бытия.
Даже я, посторонний поэт, пребываю в обиде
Оттого, что свидетель вселенской потери – не я.*

*Осень в городе, может быть, это впервые
Безвозвратно утерян порядок и вечностью
заданный смысл...*

II

*Осень в городе, дождь, зарядивший надолго...
И северный ветер, и ливень, и грязь.
Весь народ по домам, лишь один живописец по имени Ольга
На природе открыто дает мастер-класс.*

*Затрапезная шапка-ушанка, фуфайка и старые боты,
Горки масляных красок, размытых дождем.*



Осень в городе — это стриптиз уходящего года:
Не малейших секретов, когда каждый профиль —
размытый анфас,
А транзитная осень диктует грядущей зиме мастер-класс.

Но напрасны твои, календарная осень, потуги,
Потому что зима задержалась в чужой стороне,
Покружись — побесись, обтеши своим ливнем фрамуги
И застынь навсегда как бесценный подарок на нашей стене.

III

Осень в городе — тема в мой мозг постучалась внезапно
В институте Бурденко, когда подтвердился инсульт.
Мне хватило остатка рассудка убедиться,
что я ни сегодня, ни завтра
Не смогу предъявить эти странные строки на здравый,
а, стало быть, будущий авторский суд.

Осень в городе. Если есть в этом мире гармонии,
То поэту с художником их испытать не дано,
Потому что в наплыве естественной самоиронии
Им видна только та натуральная осень,
что смотрит в окно.

Осень в городе, словно собравшись с последними силами,
Превращает свой ливень в неверный и робкий снежок,
Но художник себе на уме — не спешит запастись
белилами,

Даже если по случаю спешки творит на глазок.

Осень в городе. Правда, как мы уже раньше заметили,
У него в каждой точке наметанный глаз.
И покорными красками — теми ли, этими —
Будет принят единственно верный приказ.

Осень в городе — что я морочу себе и читателю голову...



IV

*Осень в городе длится, но что происходит с природой,
Если осень — преддверье зимы, то куда подевалась зима?*

*Осень в городе, все в этом мире согласно традиции
Отработано временем до мелочей...
Только мой трудоголик не сможет собою гордиться,
Ибо каждая клеточка — свежий поток живописных лучей...*

*Осень в городе — ты уж, дружок, извини меня,
если имя твоё поминаю я всуе,
Посмотри-ка, на небе внезапная синь,
Свежий, острый закат на закраинах лужи рисует
Вместе с тобой осень в городе. Вот и прекрасно! Аминь!*

*Я не знаю, каким твою внешность доверить глаголам,
Я ведь старый поэт, на себя наложивший запрет,
Знаю точно — талант не бывает беспольм,
И управы на эту его ипостась в мироздании нет.*

*Осень в городе. Что-то ты взялся, дружок,
За едва ли доступную тему,
Из инсульта пытаясь освоить прыжок
В неизведанную теорему...*

V

*Осень в городе, что же нам делать, подруга, с тобой...
Нам известен диагноз, но как нам друг друга лечить?
Врач мой — северный ветер — насквозь прошивает обои,
Если мы не излечим друг друга, то нас не спасут
никакие врачи.*

*Осень в городе... Всё, что мы сделали летом,
Нам едва удалось запретить в золотые свои закрома.*



*Осень в городе, как ни печально нам думать об этом,
Но достать свои клады оттуда пока не хватает
души и ума.*

*Осень в городе — в садиках запах антоновки острый,
У обочины дворник разводит весёлый костер.
Жаль, что ливни и бури — родимые братья и сестры —
Покрывают в течение суток бескрайний
российский простор.*

VI

*Осень в городе — может быть вовсе не осень,
Просто некий фантом и казённый осенний наряд,
Если даже фантом — у него документа не спросим,
Впустим в дом и позволим сыграть золотой маскарад.*

*Осень в городе — где-то в заштатном и пыльном Джамбуле
Дряхлый госпиталь, год 43-й, сыпняк,
Заболел я давно, может, в августе, может, в июле
И теперь мне себя не узнать: узкоглазый и жёлтый степняк.*

*Осень в городе, чем ты отлична от города в осени?
Сколько помню себя, разделить я вас так и не смог,
Вы друг друга бросали не раз, но так никогда и не бросили...
Полноты в этом мире не будет без вас.*

*Осень в городе... Ранний каток в парке Горького
От парадного входа и до Нескучного сада.
Надо срочно искать кредитора и в пункте проката
Брать “норвежки”, чтоб их возвратить
только ранней весной.*

*Осень в городе — с чем я лежу в Воркутинской больнице?
Лёгкая травма, с которой я мог бы ходить.
Заполярное солнце никак не желает садиться,
Обращается в ранние, злые дожди.*



VII

*Осень в городе — время читать настоящие книги,
Убедясь, что адепты добра и любви,
Основатели главных духовных религий,
Были просто живыми людьми.*

*Осень в городе — это не только болезни,
Я и мысленно, и натурально бы смог повторить,
Это дружба, любовь, это книги и песни,
Это, вы мне простите словечко, возможность творить.*

*Осень в городе, может быть, слишком большая,
Не вмещается в ей отведённый формат...
Я добился соседства, и ей не мешая,
Я своё вдохновенье пытаюсь поймать.*

VIII

*Осень в городе, кто удостоился белых одежд,
И кого облакает привычно дыханием бабьего лета...
Разве мало в искусстве транжириющих краски невежд?
И, конечно, немало торгующих рифмой поэтов...*

*Паутинкой по осени время плывет,
Отправляя последние стаи в полёт...*

IX

*Осень в городе, город без осени пуст —
Вот такой перевертыш родился у нас в межсезонье.
Под ногами последней листвы провожающий хруст,
Лёгкий шорох и шелест, звучащие, как предсказанье.
Так играй же ты, ветер, и, ливень безумный, ярьсь.
Вам никак не удастся ослабить осеннюю сплотку,
Потому что она-то и есть настоящая жизнь,
При которой старуха-погода себя выдаёт*

за погоду-молодку.



X

Станиславский, как ворон, сидит на дубу,
И своим он сакральным “не верю”
Нарушает свои и чужие табу,
Создавая систему и хлопая дверью.

Осень в городе. Все-таки дожили мы
До февральских, хотя и несильных морозов,
Закружился снежок, и внутри кутерьмы
Я могу отдохнуть от стихов и довериться прозе.

Осень в городе... Если же ляжет зима,
То придется менять заголовки...
И, конечно, не надо души и ума
Для пустых современных тусовок.

Да и ты, мой дружок-трудоголик, и ты,
Собирай-ка свои причиндалы.
На морозе застывшие краски густы —
Занесем эту осень в анналы.

Осень в городе, грустно, когда мы со временем
делаем выбор,
Но ещё нам грустнее, когда его делает кто-то за нас.
Осень в городе, может быть, я бы, а может быть, ты бы
Занесли на скрижали, как долго ты, осень, гостила у нас.

XI

Осень в городе — путь от рожденья и до могилы,
Освещающий внутренним светом судьбу,
и природу, и нрав,
Осень в городе — это способность и силы
Бросить ливень и ветер к подошвам
деревьев и трав.

ПРОЗА
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



Дружбе
и любви
Скромности
Смелости
и честности
и доброты
и справедливости

Составил и рисунки Е. С. Смирнов



ДОРОГА К ДОМУ

1

Сейчас будет переезд.

Подполковник Василий Бочкарёв приоткрыл дверь тамбура, и на него навалился жесткий и стройный стук колес. Запахло гарью, в лицо ударило копотью. Ветка была второстепенная, ее обслуживали паровозы. В сумерках проплывали лесные участки, стерня, пустоши. Все было смазано, подробностей не рассмотришь, но подполковник знал, как выглядит эта земля в середине октября. В лесу много опавших листьев клена и березы, они ржавеют, покрываются пылью и копотью.

Подполковник собрался и вынес в тамбур чемодан задолго до своей станции. Он в штатском, но забывает об этом и временами подносит руку к голове, чтобы поправить фуражку. Не находя ее, притрагивается к светлым, редким уже волосам, с которыми легко расправляется ветер. Лицо у него еще не старое, шея крепкая, но, когда он улыбается, на лбу и возле переносицы возникают морщины.

Вдали виден зеленый свет фонаря. Это путевая обходчица встречает поезд. Переезд приближается, крупнеет. Вот полосатая, опущенная жердь шлагбаума, будка, женщина с фонарем, — и всё тут же исчезает, становится прошлым. И он уже не думает о том, откуда едет и что там осталось. От переезда началась его земля, и мысли теперь связаны с нею...

Василий увидел себя семнадцатилетним парнем, который шел вразвалку в серой сатиновой рубашке с открытым воротом. На плече у него висела старая кожаная сумка с учебниками. Рядом с ним так же небрежно и не спеша шли ребята и девчонки из его деревни: здесь, на станции, была десятилетка.

— Домой, товарищ подполковник? — спросил проводник, стоявший рядом с Василием. При посадке Василий был в форме.

— Да, к матери...

Проводник понимал, что мешает пассажиру думать о чем-то своем, но все же неуверенно добавил:



— У меня тоже сынок служит... Майор... Давно не было...

— Ничего, отец, приедет, — Василий рассеянно улыбнулся проводнику, и тот, покачав головой, ушел в вагон.

Разговор с проводником не мешал Василию следить... за парнем в сатиновой рубашке и его сверстниками. В первом часу они подошли к будке обходчицы, чтобы посмотреть на пассажирский и помахать проезжающим, чья жизнь казалась такой интересной и загадочной.

Поезд был рядом, метрах в десяти, он пыхтел, грохоча, и казалось, что могучая выпуклая грудь паровоза прорвет любую преграду. Он надвигается, и где бы ты ни стоял, хотелось сделать шаг назад. И вдруг, точно взорвавшись, вперед, едва не под колеса грохочущего чудовища, бросился рыжий Митька, — он летит через голову под насыпь, и в то же мгновение поезд пронесется мимо, и дрожит земля...

Девчонки визжат, а парни, тоже бледные, с замирающим дыханием бегут на ту сторону полотна, куда скатился Митька. Он, твой соперник, стоит с царапиной на щеке, морщится и ухмыляется одновременно, победно посматривает то на тебя, то на Лену... Ты набрасываешься на него вместе со всеми, но он уверен, что ты хотел бы оказаться на его месте, и смотрит на тебя сощуренными желтыми глазами.

В тамбур набилось много народу с чемоданами и мешками, но знакомых не было. О его приезде никто не знает. Хотя, конечно, дай он телеграмму, брат, шофер, встретил бы его.

Он представил, как увидит мать, брата. Мама, наверное, постарела, не подбежит, как бывало прежде, а подождет, пока он подойдет к ней, и тогда уж обнимет его, и он почувствует на плечах ее тяжелые руки и ощутит запах кислого хлеба. Потом он обнимется с братом, от которого будет пахнуть бензином и потертой кожей... Егор нальет два стакана водки, наполнит рюмку для матери. Мама, наверное, как и в прошлые его приезды, первые день-два будет называть его на “вы”, потом на “ты” и “вы” — вперемешку и только к концу недели, привыкнув, что этот молодой серьезный военный — ее сын, перейдет на “ты” ...

Василий спустился на перрон, слабо освещенный в конце поезда. Помещение вокзала было далеко, и он решил не заходить туда, обойтись без попутчиков.



До деревни было двенадцать километров. Он любил эту дорогу и теперь, обойдя привокзальные склады, контейнеры и какие-то бочки, прошел краем лесопосадки и вышел на стерню. В той стороне, куда он шел, посветлел край неба: вот-вот должна была взойти луна. Тропинка временами петляла, и тогда Василий срезал углы. Стерня приятно трещала под ногами.

Когда-то на этом поле работал и он... Вспомнился июльский полдень, застывшее в безветрии поле пшеницы, грохочущий комбайн. Пятнадцатилетний Васька стоит на мостике соломокопнителя, отгребаёт солому на заднюю часть тележки. Когда нужно, нажимает ногой на рычаг, тележка опрокидывается, и в поле остается еще одна копешка. Васькино лицо обветренно, сожжено солнцем, волосы выгорели, а губы спеклись... В глаза летит полова. Она прилипает к потному лбу, к груди, к спине. Кажется, день никогда не кончится. Васька изредка поглядывает на комбайнера — громадный дядька Матвей стоит наверху штурвала. Ему и делать-то там особо нечего — так кажется Ваське. И еще кажется, что и он смог бы так стоять.

Краткий отдых, когда выгружают зерно из бункера. Можно сбегать на табор, к бочке — напиться, вылить пару ковшей на голову, а если никого поблизости нет, вытащить на мгновение затычку и броситься под струю...

Подполковник так хорошо это вспомнил, что ощутил полову, прилиплюю к потной спине. Взошла полная луна, и как бы выросли из земли скирды соломы, лесополосы, разделявшие уголья соседних колхозов. Это его земля. Его дорога к дому. Ее часто запахивали, она зарастала клевером, пшеницей, ее заносило метелью, затопляло половодьем, и каждый раз ее протаптывали снова.

С этой дорогой в памяти Василия было связано многое, и когда ему случилось идти от станции к деревне, он поневоле вспоминал о чем-то давнем, но еще не забытом и не отболевшем...

Васька проснулся под утро. Ему хотелось на двор, но он не решался встать с печи — в хате выстыло. Мать, лежавшая между ним и больным Ваняткой, услышала, что сын заворочался, пошарила рукой (хорошо ли он укрыт) и вздохнула. А



Васька пытался отделаться от сна. В последнее время из ночи в ночь ему виделось одно и то же: мать вытаскивает из печи высокий поджаренный хлеб, и он, Васька, обжигая пальцы, отламывает кусок, хрустит корочкой, набивает рот горячей, с паром, мякушкой...

В соседней комнате спал на кровати дядька Юхим с теткой Клавдией. Дядька храпел и был страшен. Васька не раз видел его спящим после выпивки: лежит на спине, раскинув руки и ноги, полураздетый. Черная, прикрывающая половину лица и шею борода задрана в потолок и вздрагивает при каждом всхрапе...

Проснувшись, дядька станет придирается к тетке Клавде и к Васькиной матери. “Ты, Машка, так-перетак ...на мне не надейся... Сама корми своих шенков... Твой кобель, так-перетак, слышно, пристроился до Сидоры, а я тебе кормить не должен...”

Мать молчит, втянувши голову в плечи, иногда тихо скажет: “Куды мне с ими зимой, Юхим?.. Погоди уж до весны, а там я уйду”.

Васька кое-что знал о ссоре отца с дядькой. Год назад тут создали колхоз, а тех, кто побогаче, стали отправлять на высылку. Дядька тоже попал в список, но поспешил отдать брату лошадь и корову, надеясь, когда колхоз распадется, забрать. Васькин отец подумал-подумал да и свел скотину в колхоз, а потом кто-то поджег сарай.

В ту ночь Васька проснулся от стука в окно. Чей-то веселый и горячий голос кричал: “Юхим, пожар! Колхоз горит!”

Васька открыл глаза: в комнате было светло, и в этом колеблющемся свете по стене, противоположной уличному окну, мелькали тени...

— А-а! Так-перетак... Иван! Вставай! Колхоз горит!

Мать прижимала к себе проснувшегося братишку, кормила его грудью и шепотом говорила:

— Че ж теперь будя, а, Клавдия?..

Тетка, стоявшая у окна рядом с матерью, смотрела в сторону пожара, куда все еще бежали люди, ничего не отвечала, только поживалась.

А на следующее утро отец с дядькой Юхимом сцепились так, что дело чуть не дошло до топоров... Васькин отец ушел из дома. Сначала он наведывался, говорил, что вот найдет место и забрет семью, но, видно, ничего не нашел, а потом стали говорить, что он пристроился в соседней деревне у бабы-самогонщицы.

Каждое утро дядька Юхим запирался в кухне на крючок, чтобы мать не вздумала попросить хлеба для детей. И она не просила.



Она уходила в поле к скирдам соломы: точно крот, прорывала в скирде норы, искала колоски, веяла труху и приносила домой две-три горсточку зерна. Страшно было смотреть, когда она возвращалась: худая, черная от холода, она не могла снять с себя латаную шубенку, и Ваське приходилось разувать и раздевать ее. Терла руки снегом: “С пару зашлись”, а потом немного веселела: “Слава Богу! Наварим пшенички!...” ...Закашлялся Ванятка. Мать склонилась над ним.

— Что он, мам? — спросил Васька.

— Ничего, ничего, сынок... Ты-то на двор, что ли? Беги.

Васька долго не мог откинуть крючок — дядька все делал по себе.

Сарай и задняя часть дома упрятались в сугробы по самые крыши. “Как она пойдет к скирдам?” — думал Васька.

— Пылить? — спросила она, когда он вернулся.

— Ага, завалило...

Васька потрогал рукой голову братишки — она была горячая. Ванятка тяжело, с хрипом дышал. Мать припала губами к его лбу и всхлипнула:

— О, Господи! Что ж это такоича?

— Тише, мамка, молчи! — Васька услышал в соседней комнате шорох. Там ворочались, потом дядька хрипло сказал:

— Ладно, разлеглась. Тащи рассолу.

Проходя мимо печи, тетка приложила палец к губам.

— А Клавдия-то, Клавдия! — вскрикнула было мать, но тут же уткнулась в подушку. Васька не раз слышал, как мать просила у Бога ребенка для тетки Клавдии, но Бог что-то не давал ребенка, и дядька Юхим, напившись, кричал:

— Выгоню, сука яловая!

А если она оправдывалась, избивал ее.

Эй, Машка! — донеслось из той комнаты. — Спишь, корова?..

— Слышу, — отозвалась мать и засобиравалась. — Не балуй тут, Вася. Смотри за ним.

— Ись, ись... Животик... — Ванятка был похож на маленького старичка — слабый, синий, волосы почти повыпадали. Мать давно не купала его, боясь застудить, и теперь он держался за живот грязными ручонками.

Мать ушла. Васька прижимал братишку к себе и говорил ему, что она скоро вернется, принесет пшенички, они наварят, посядут и будут есть.



— Полный цугунок? — братишка улыбался, отчего кожа его лица собиралась в морщинки.

— Полный, полный!

— Дай солички...

Васька вытащил из кармана тряпицу с солью, дал ему щепотку. В соседней комнате шелкнул замок — это дядька Юхим запер сундук с едой.

— Ну, я пошел, — прогудел он пропитым басом. С печи видна была барашковая шапка и воротник дубленой шубы, мимо пронесся запах овчины и самогонного перегара, проплыло бурое бородатое лицо с нависшими бровями и толстым носом.

— Клавдия, — донеслось из сенец, — наруби дров.

Чуть погода тетка пошла в сарай. Когда за нею захлопнулась дверь, Ванятка сел на печи и, глядя в замерзшее окно, в сторону сарая, сказал:

— Майка дой-дой...

— Нет, нет, у Майки нету молочка, — Васька старался уложить братишку рядом с собой, но тот сопротивлялся и хныкал:

— Майка дой-дой... Молоцька...

В начале зимы тетка послала Ваську в сарай за дровами. Это было вскоре после ухода отца, когда у матери осталась только картошка. Ванятка, тогда еще здоровый, пошел вместе с Васькой. Майка, смиренная черно-рябая корова, недавно отелилась и все порывалась за перегородку, где мычал теленок.

Васька пас ее летом, она к нему привыкла и теперь дыхла на него паром и замычала, глядя скорбными выпуклыми глазами.

— Маичка, Маичка, — Васька почесывал ей шею, Ванятка вдруг сказал: Майка, дой-дой, — и засмеялся.

Васька выглянул во двор — там никого не было. В углу стоял маленький стульчик, сидя на котором тетка или мать доили корову. Васька поставил его рядом с Майкиным выменем, сел и взял в рот прохладный, покрытый бугорками сосок. Майка повернула голову, не понимая, чего от нее хотят, — время дойки еще было далеко. Васька потянул губами и языком, но молоко не пошло, а Майка ударила его хвостом по лицу. Ванятка расхохотался. Потом Васька сообразил, что надо делать: он снова взял в рот сосок и стал помогать себе руками. Майка отпустила — и он почувствовал во рту теплую приторную струйку — в молоке еще было молозиво. А братишка стоял возле двери и звонко смеялся.



— Ванятка, быстро! — сказал ему Васька. Усадил его на стульчик, но братишка не доставал до вымени, боком же ему стоять было неудобно — сосок выскальзывал изо рта. — А вот дядька наскочит! — припугнул Васька, и Ванятка обхватил руками Майкино вымя.

Потом они еще несколько раз подсаживались под Майку. Ванятка молчал, не говорил даже матери. Но однажды их застала тетка Клавдя. Она так и замерла на пороге.

— А если б дядька наскочил! — страшным шепотом сказала она. Потом отшлепала Ваську и больше уж не доверяла ему ключей. Ванятка надолго запомнил Майкино молоко и сейчас хныкал и кивал в сторону сарая.

Иногда на кухне оставалась корочка хлеба или немного каши в миске: тетка жалела братьев. Но в последнее время дядька Юхим сам стал запирать остатки еды в сундук, а жене ключей не доверял. И все-таки Васька надеялся. Сердце стучало где-то в животе, когда он входил в соседнюю комнату. На столе ничего не было. Васька с досады ударил кулаком по клеенке и заплакал. Большой братишка завозился на печи. Похоже, собрался слазить на пол.

— Сиди, сиди, я счас, — крикнул ему Васька. Он искал ключи под периной, под сундуком, но ключа не было, а перед глазами стояло бородатое, толстоносое лицо дядьки Юхима...

— Васька, че ты та-ам? — тоненько и капризно позвал братишка. А Васька попробовал приподнять крышку сундука — она подалась, но просвет был слишком мал — его рука не проходила. Он зажмурился до слез, чтобы прогнать из памяти дядькино лицо, и позвал братишку:

— Ванятка, иди-ка...

Тот загремел табуреткой, слезая с печи. Когда Васька увидел его почти безволосую, с редким пушком голову, синий большой живот, тоненькие ручки и ножки, дядькино лицо исчезло.

— Ну-ка, лезь, — сказал он, изо всех сил оттягивая крышку сундука. Братишка запустил руку внутрь, что-то нашарил, и глазенки его засияли. Васька увидел в его руке отщипленную корочку хлеба и почему-то остро запомнил крошки под его грязными ногтями... И тотчас же хлопнула в сенцах дверь. Васька застыл на месте, Ванятка, зажимая корочку в руке, засеменял к печи и уже подсунул было табуретку, когда в комнату вошел дядька Юхим.



Его ручища спокойно сграбастала не успевшего залезть на печь Ванятку. Упала табуретка, затрещала рубашонка.

— Дядечка, миленький! — закричал Васька, бросаясь к нему. Но дядька свободной рукой ткнул ему в лицо, и он упал. Последнее, что он увидел, был громадный дядькин валенок, который опустился на живот Ванятки. Братишка пожил еще три дня...

Похоронив его, мать ушла с Васькой в свою деревню.

2

На краю деревни, возле колхозного сада, были танцы под гармошку. В посадке цвела белая акация, и ее запах забивал все остальные. Василий танцевал с Леной. И теперь он ясно видел себя и ее, и сад, и парней, и рыжего Митьку.

Гармонист играл модные до войны танго и вальсы. Вокруг танцующих прямо на траве сидели мужики, бабы, старики. Здесь же крутились малыши с майскими жуками на ниточках и в спичечных коробках.

Василий танцевал с Леной. Были они в том возрасте, когда стараешься держаться по-взрослому: и танцуешь, и говоришь, и улыбаешься вроде бы небрежно и естественно, как и те, что постарше тебя на три—пять лет, но со стороны хорошо видно, что и ты, и она стесняетесь друг друга, и чем больше вы пытаетесь скрыть это смущение, тем оно заметнее. Ты как бы случайно пригласил ее, мог бы танцевать с другой, но и ты, и она знаете, что не случайно, что между вами есть уже какая-то связь, хотя ни ты, ни она не признаетесь в этом даже себе.

Она в белой кофточке, гладкозачесанные волосы заплетены в косы, черты лица в сумерках расплывчаты. Но ты хорошо представляешь серые спокойные глаза и полные, как бы закусенные в уголках, губы. Ты все это знаешь, хотя давно уже не смеешь просто и прямо смотреть ей в лицо.

Танец окончился, ты отвел ее на место, туда, где стоят девчонки. Гармонист заиграл “Тачанку”, ее подхватили. Одной из девчонок посадили за пазуху майского жука, она визжит. Ты все это едва замечаешь, — напряжённно ждешь следующего танца, чтобы не прозевать его начала и успеть пригласить ее. “Тачанка” допета, и ты опять танцуешь с Леной. Твоя правая рука лежит у нее на талии, в левой ты держишь ее ладошку и чувствуешь,



как этой ладошке беспокойно. И она, конечно, знает, что ты это чувствуешь, и потому разговор (лишь бы не молчать, ты рассказываешь ей что-то о знакомом станционном голубятнике) не клеится.

Какой-нибудь год назад она была для тебя Ленкой, а ты для нее — Васькой. Вам было легко и просто говорить о чем угодно, а теперь вы не называете друг друга никак и не знаете, о чем говорить.

Пахнет акацией. Из сада возвращаются парочки. Притихшие, они спешат смешаться с танцующими.

А потом ты увидел в кругу Митьку Мозгового. Он делал тебе знаки, подзывая к себе. Рыжий чуб из-под фуражки с коротким козырьком глядел весело, задиристо. Давний и постоянный твой соперник — с того дня, когда ты появился в материнской деревне.

Знакомство началось с драки. У Васьки были самодельные коньки, выточенные отцом в кузне. Другие мальчишки катались на санках, а то и просто съезжали с обледенелой горки, усевшись на заднее место.

Митька, привыкший верховодить, с завистью смотрел, как новичок в распахнутой шубенке мотался на своих бегунках.

— Эй, дай прокатиться! — с вызовом сказал Митька.

— А чего ж, попробуй.

Митька привязал коньки к валенкам, сделал несколько шагов и растянулся на льду. Мальчишкам стало весело.

— Митька! Ты бы еще на руки надел пару!

— На печи попробуй!

Митька сгоряча вскочил на ноги и снова упал.

— Ничего, научишься, не спеши, — сказал новичок, а Митьке показалось, что над ним смеются. Он отбросил коньки далеко в сторону, поднялся, сделал подножку и сбил Ваську в снег. Новичок встал, отряхнулся и пошел за коньками, но мальчишки, знавшие Митькину повадку, зашумели теперь на Ваську:

— Это тебе не на железках бегать! Митька, всыпь ему еще маленько!

Васька спокойно надел коньки, и тут же к нему подбежал рыжий задира. Они схватились и повалились на лед. Васька был старше на год и шире в кости, зато Митька проворнее работал кулаками. И когда Митька задел несколько раз своего противника, тот в сердцах тоже приложился к нему раза два по-настоящему.



Они подрастали. Васька знал, что рыжий затаился, кошачьи глаза Митьки он постоянно чувствовал затылком.

На девчонок Митька внимания не обращал. Но, когда он заметил, что между Василием и Леной что-то есть, он и сам потихоньку и по-своему стал за нею ухаживать: то, как бы шутя, вызывался нести ее портфель, то вступал за нее в драку, если на танцах к ней кто-нибудь приставал.

Лена принимала его ухаживания с улыбкой, поглядывая при этом на Василия так, точно предлагала и ему посмеяться над Митькой, но Василию иногда казалось, что где-то в уголках ее как бы прикушенных губ таится усмешка и над ним, Василием: дескать, все это смешно... да только ты молчишь да молчишь, а он...

После школы всегда хотелось есть. В Митькиной сумке оказывались помидоры, яблоки, сало – смотря по сезону.

...Митька знаками подзывал Василия к себе, и рыжий чуб его весело играл под козырьком.

– Иди, тебя зовет, – сказала Лена. Василию почудилось, что они сейчас слегка посмеиваются над ним, понимая, как ему не хочется уходить. Он знал, что и ей не хочется, чтобы он уходил, и не мог понять, как все это в ней уживается.

Митька не уходил. Василий отвел Лену к подругам и подошел к нему.

– Ну, чего там еще?..

– Мать звала... Там какой-то дядька к вам приехал...

Митька улыбался, и его улыбка говорила: “Я понимаю, как тебе не хочется уходить. Ты знаешь, что я приглашу ее танцевать, и она пойдет, пойдет хотя бы потому, чтобы не показать, что между вами что-то есть”.

– Ладно, посмотрим, – сказал Василий, и, кажется, Митька понял, что это “посмотрим” относится не только к тому, что там, дома...

В сенцах было темно. Василий на миг остановился у двери в переднюю, прислушался, но те, что были в комнате, услышали стук сеничной двери и притихли.

Василий открыл дверь и при свете семилинейной лампы, висевшей под потолком, увидел мужчину и мгновенно вспомнил что-то далекое, забытое, но в то же время и памятное – и тут же понял, что это – отец.



И мужчина, его отец, ожидавший, что дверь откроется и войдет сын, вздрогнул и растерялся, когда сын вошел. Он встал из-за стола, на котором стояли стаканы с водкой и сковородка с яичницей, и стоял, держась рукой за угол стола, с неудачной какой-то улыбкой на губах. Он оказался ниже Василия ростом, с редкими седыми волосами. Щеки его ввалились, как у человека, потерявшего коренные зубы, — вообще в этот момент, может потому, что он выпил и пытался бодриться, — выглядел он особенно жалким.

Мать застыла посреди комнаты с полуопорожненной бутылкой в руке. Она тоже выпила и тоже пыталась бодриться, но по щекам ее текли слезы, уж она-то никак не умела притворяться, — вид ее просил у сына пощады....

В памяти Василия ярко вспыхнул день смерти Ванятки: мать, застывшая над снеговой могилой. Но до боли вдруг заслонил и ее, и все, что было в тот день, — огромный валенок дядьки Юхима...

Василию было не только тяжело, но еще и стыдно отчего-то, и он не знал, что делать.

Мать попыталась что-то сказать, но только пошевелила губами и поставила бутылку на стол. И сразу же Василий услышал забытый, но, как и облик, памятный, с потугой на властность, голос отца.

— Ну, сын...

Мать тоже пришла в себя. Она сделала шаг к сыну, а он попятился и оказался в сенцах. Там было темно. Василий не успел убежать, мать со всхлипом бросилась за ним — так, точно он навсегда уходил из дома. Наткнулась на него, прижалась к груди и, плача и толкая его на сундук, просила:

— Отец же, сынок... Оте-ец...

3

После девятого класса он опять работал на комбайне, теперь уже штурвальным. В то утро прошла гроза, приходилось ждать, пока пшеница просохнет. Катя, жена Сашки-тракториста, готовила завтрак. Мужики, сидя на соломе возле комбайна, подшучивали над молодой поварихой, одетой в белую кофточку.

— Ты бы, Сашка, поглядывал за Катькой-то, а? — гудел комбайнер, все тот же, знакомый с детства дядька Матвей, —



он мало менялся с годами, только в щетинистой бороде прибавлялось седины. — Я говорю, чево-то она у тебя чистится да прихорашивается, как та цесарочка... Може, ей Васька наш приглянулся, а?

Сашка не умел отшутиться, смутно улыбался, краснел худощавым скуластым лицом. Он недавно женился и рядом с пышненькой Катей выглядел подростком, да и по годам был молод — до седьмого класса учился вместе с Василием, потом бросил школу и поступил в МТС. Катя сидела на земле, возле котла, затылком к мужикам, чистила картошку в подол передника. Она будто не слышала разговора, но у нее розовели мочки ушей. По правде, всем было приятно на нее смотреть — такая чистюля, что и в поле очищает кожуру в подол. Василий и себе не признался бы, что он с каким-то личным интересом присматривался к молодой парочке: замечал их случайные перегляды, особый, раньше незнакомый Сашкин смех, внезапный Катин румянец.

Сегодня что-то долго не приезжал горячевоз, отец Лены. Обычно к этому времени он привозил горячее. Толстый, неповоротливый, с круглым лицом и веселыми глазками, он всегда вместо приветствия говорил Василию одно и то же:

— Ну, зятек, приданое готово! Можешь засылать сватов...

Но на этот раз горячевоза не было.

— Дядя Матвей, завтракать, — позвала Катя. В другое время он сказал бы что-нибудь вроде: “А своего-то не будешь кормить?” Но теперь он молча смотрел в сторону деревни — издалека, почти от горизонта приближался клуб пыли.

Потом уж они не могли вспомнить, кто первый заметил скачущего, только никому тогда не пришло в голову, что это может быть дядя Мирон — слишком уж он не был похож на наездника...

— Должно, парнишка, — сказал комбайнер, суживая светлые глаза. — Загонит лошадь сук-кин сын, ну, погоди мне!

— То-то, братцы, — сказал комбайнер как бы про себя, — пожар там, али еще чего?

Скачущий приближался, и всем уже было ясно, что пришла беда. Скакал дядя Мирон. Он размахивал руками, и кое-кому, Василию тоже, послышалось уже слово “война”, но поверить было невозможно.

Они стояли кучкой на дороге в эмтээсовских спецовках, все выгоревшие и светловолосые, с темными от загара лицами.



Горючевоз больше не кричал, и, едва он соскочил на землю, лошадь вырвалась и, заржав, понеслась к деревне. Дядя Мирон махнул ей вслед и почти шепотом сказал:

– Мужики, война... Немцы...

– Во-он чего, – сказал чуть погодя комбайнер и огляделся вокруг. За ним, как по команде, оглянулись и остальные. И они увидели: комбайн, трактор, поле пшеницы, миски с картошкой у котла – все это стало вдруг чужое и далекое...

– Пошли, – сказал, ни на кого не глядя, комбайнер.

– А как же картошка? – чуть не плача, спросила Катя, видно, не понимавшая, что произошло.

Все обернулись к дымящимся мискам, дядя Матвей махнул рукой, но на миг остановился на Катинем лице, которое было таким чистым и нежно округлым, с полураскрытыми детскими губами, что он вдруг подошел к ней, опустил свою ручищу ей на голову и сказал:

– Пойдем, дочка, пойдем...

Сашка обнял жену за плечи и повел ее, успокаивая. Впереди шагал дядя Матвей.

Василий не мог поверить, что кто-то мог напасть на страну. Он вспоминал кинофильмы, песни, то, что говорил в школе военрук... В Европе шла война, но там страны маленькие, слабые. Конечно, наши быстро их расколотят, но как же они решились?

Скидальщик соломы, Сенька Пастухов, бежал вприпрыжку за взрослыми, и ему ужасно хотелось услышать о войне, о том, как наши будут рубать шашками этих “беляков” – немцев. Он удивлялся, почему об этом не говорят. Никогда не поймешь этих взрослых!

Сашка все успокаивал свою молоденькую жену, он даже пробовал шутливо напевать ей “Катюшу”, но делал это неуверенно, и Катя только отмахивалась и плакала. И вдруг Василий подумал о Лене...

Как только он услышал от дяди Мирона слово “война”, кто-то внутри сказал ему: “Ты пойдешь...” И хотя больше эта мысль не возникала, теперь, думая о Лене, он пытался разобраться. Да, конечно, он уйдет добровольцем, – это решено.

Они шли уже мимо колхозного сада, отсюда видны были деревенские – под соломой и камыш – дома, колодезные журавли. На улице не было ни одного человека, все собрались на току. Туда и повел своих людей комбайнер.



На току шло собрание, Василий издали увидел Кочурина, лектора из района, приехавшего в колхоз и раньше. Сейчас он стоял в кузове единственной колхозной полуторки и кричал, размахивая руками. Колхозники сидели на ворохах пшеницы, и только мальчишка-погоныч взобрался верхом на лошадь, впряженную в привод молотилки. Было тихо, ветер издали доносил отдельные слова Кочурина. И слова эти “внезапно”, “предательски” должны были объяснить людям то, что произошло.

Дядя Матвей привел свою группу к току, на них не обратили внимания, лишь Кочурин жестом указал на бурты: мол, садитесь. Василий сел и тотчас же понял, что никогда прежде не видел он этих, знакомых с детства, людей в таком состоянии. Его поразило никогда не испытанное им чувство близости, родства этих людей, точно кто-то вдруг заставил их забыть свои отдельные дела и заботы. Прогорклый запах зерна и пыли, отрешенные от мелочей лица и почему-то особенно — раскрытый рот мальчишки, сидевшего ногу под себя — на лошади, и сама лошадь, понурившая голову с разумной, казалось, серьезностью, — все это было важнее, вещественнее слов Кочурина.

К горлу подкатил комок, Василий уткнулся в теплое зерно и как бы спрятался за спины людей.

Лектор охрип. Временами он оттягивал ворот рубашки — ему было душно. И хотя говорил он без запинки, с внешней уверенностью, Василию казалось, что Кочурин сам не все понимает и, убеждая других, старается убедить себя. Его седые мягкие волосы, умное, слегка морщинистое лицо, его белая рубашка и галстук никак не вязались со словами, которые он произносил... Мотоциклист — парень в кожаной куртке, который привез лектора, когда Кочурин смотрел в его сторону, поглядывал на часы, давая понять, что им пора ехать дальше.

— Нет никакого сомнения, — заканчивал Кочурин, — что враг будет разбит. Мы победим! — И, оглянувшись на мотоциклиста, хрипло запел: “Вставай, проклятьем заклеименный...” Василий поднял лицо от зерна и подхватил мелодию вместе с другими. Как всегда, когда пели гимн, внутри стало накапливать, руки сами сграбастали зерно и сжались. Посреди пения, еще не дошедшего до высшего накала, до припева “это есть наш последний...” — вдруг заголосила баба. Василий с ужасом узнал голос матери.



Этот плач тотчас подхватили другие бабы в разных концах тока, — и он поглотил гимн. Отец подошел к матери и грубовато, как бы извиняясь перед лектором, сказал: “Ну, завела!”.

Ток быстро опустел. Кочурин выглядел растерянным — он не ожидал такого конца митинга. Когда он садился на мотоцикл, к нему подошли парни, среди них и Митька с Василием.

— Ну что, хлопцы, повоюем? — спросил лектор наигранно молодецким тоном, оглядывая всех сразу.

— А чего же не повоювать, коли надо! — весело сказал Митька.

— Я так хоть сейчас! — сказал Андрей Жаворонков, сын дядьки Матвея, такой же рослый и крепкий, как отец. После семи классов он бросил школу и теперь работал трактористом. Сейчас он подмигнул Митьке, и тот, тряхнув золотым чубом, так заглянул в лицо Кочурину, что лектор поспешил отвернуться.

— Может, вы и запишете? — спросил Митька. Но лектор вяло ответил.

— Для этого есть военкомат...

Мотоцикл затарахтел, пробуксовал по соломе и умчался, оставив парням запах выхлопного газа.

— А что, хлопцы, в военкомат, а? — Митька не смотрел на Василия, но тот чувствовал, что слова эти относятся к нему: откажись Василий или покажи свою нерешительность — Митька мог бы считать себя победителем.

Обеденный перерыв еще не окончился, а люди уже сходились на ток, — им хотелось быть вместе. Здесь тарыхтела молотилка, отдувалась пылью веялка, здесь была работа, и люди чувствовали себя уверенней.

— Вот с машиной и поедем, а? — настаивал Митька, кивая на полуторку, которая грузилась зерном.

— Ну что ж, ехать так ехать, — сказал Андрей и хлопнул Василия по плечу ручищей. Когда машина съехала с весовой, Василий взобрался на мешки первым.

Вернулись домой перед вечером. Во дворе мать кормила утят. Она была беременна, двигалась тяжело и неуклюже. Василий вспомнил, что им сказали в военкомате, и у него защемило сердце...

— Может, что сделать, мам?

— Дак, че ж... Навоз из сарая...



Василий выносил из сарая навоз, смотрел на утят, жадно клевавших дерть, на своих голубей, которые то слетали к утятам, то поднимались на крышу. Работал, смотрел, а думал о Лене...

Она жила на той же улице, что и он, почти рядом, за четыре дома от него. Василий постоял, думая, что делать: танцев не было, но она могла гулять где-нибудь с подругами. К нему подбежала и сразу стала прыгать и ласкаться Милка, старая дворовая собака, которую он знал щенком. От старости Милка стала облазить, и в руках у Василия оставались клочки темной шерсти. Василий гладил собаку, думая о ее хозяйке. Потом он решил подойти к окну и заглянуть в него. Ничего, кроме занавесок, он не увидел, но если он вел себя тихо, то Милка всю визжала и бесновалась, и вот кто-то подошел к окну. По тому, как человек в комнате прислонился к окну, прижимая руки к груди, чтобы прикрыть вырез белой рубашки, Василий понял, что это Лена. Он различил ее кивок.

Когда она вышла, он стоял возле палисадника, и она тотчас взяла его за руку и потянула за собой, прогоняя Милку: “Пошла! Пошла!”

— Ты чего, Вася? — спросила она шепотом, все еще не выпуская его руки. Чувствуя рядом ее лицо и слыша ее дыхание, Василий вдруг обхватил ее голову и поцеловал куда-то в щеку. Она не отстранилась и даже прижалась к нему. И тогда он опять обнял ее и поцеловал в губы.

— Ой! Сумасшедший!.. — Она чуть отстранилась и поправила на груди платье. Он знал это домашнее платье, голубое, выгоревшее на солнце, с короткими рукавчиками, но только теперь понял, что давно уже любит это платье, и палисадник, и дом... Даже старая ободранная Милка была близка его сердцу. — Ах ты, вредная! Иди! Иди! — Лена все прогоняла собаку, но та никак не уходила, точно понимая, что сегодня ей можно все...

— Пойдем отсюда, — шепотом сказал Василий. Лена кивнула, и они пошли куда-то не глядя, — оказалось, в сторону тока.

Они шли, держась за руки, потом она впотьмах споткнулась о кочку, и Василий подхватил ее на руки.

— Отпусти, Вася, отпусти, — просила она, смеясь, но голос был таким, что он понял — ей хорошо, и шагал дальше.

От ее волос пахло детским мылом. Василий прикасался к волосам губами, ее горячие твердые груди жгли ему тело, у



него кружилась голова, и он пошатывался. Она почувствовала это и вырвалась...

А через две недели она его провожала. Непривычно было им стоять на лугу, еще покрытом туманом, среди травы и цветов. За рекой в саду веселились проснувшиеся птицы, из деревни доносилось мычание коров. Вставшие с зарей и успевшие опохмелиться призывники и провожающие тянули под гармошку “Последний нонешний денечек...”, иногда в мелодию врвался женский плач.

Лена перед этим отгоняла корову в стадо и так и пошла его провожать в стареньком синем выгоревшем платье, босиком и с хворостиной.

Они стояли посреди луга и не знали, как им прощаться и что говорить — высокий парень с простым мешком за спиной и девушка с хворостиной в руке, с припухшими, как бы закушенными в уголках губами. Скоро должны были появиться и другие призывники и провожающие, а пока они были вдвоем.

Василий видел, что она вот-вот может заплакать, но мешок с вещами своей тяжестью напоминал ему, что он мужчина и идет на войну, значит, должен держаться, и он, не умея успокаивать, пересиливал то, что делалось в горле, и говорил, хмурясь:

— Ничего... Ничего...

Толпа призывников и провожающих шла уже по лугу. Видны были красные опухшие лица баб, слышны их причитания. Голос дяди Матвея перекрывал все остальные звуки. Комбайнер был призван одновременно с Андреем.

“А завтра рано чуть свето-очек настанет очередь моя...” — басил комбайнер.

Они шли втроем, обнявшись за плечи, в середине — дядя Матвей, побрившийся и потому еще более краснолицый, справа — Андрей, слева — отец Василия. Эта троица, видно, распила не одну бутылку самогона.

— Эй, гармонист, будя панихидничать, давай веселую, — закричал комбайнер и, не дожидаясь музыки, заорал басом: “Три танкиста, три веселых друга...” Гармонист, парнишка лет четырнадцати, игравший прежде на танцах и на проводах в армию, но не игравший никогда на таких вот проводах и, видно, впервые выпивший взрослую норму самогона, рванул мехи и сам стал кричать тонким голосом. Песню подхватили парни, а тот,



кто ее заказал, дядя Матвей, уже забыл про нее. Он теперь успокаивал баб — свою жену и мать Василия. Потом нахлынула новая волна плачущих и поющих из соседней деревни, и все смешалось. Только разгоряченный гармонист рвал с остервенением свою гармошку, чтобы перекрыть бабий вой, от которого у него холодело сердце, кривилось лицо и спотыкались пальцы.

От толпы баб отделилась и сначала пошла, а потом тяжело побежала мать Василия. Она ходила на последнем месяце, но и в те времена, когда не была беременной, не умела бегать, шаг ее был тяжелым, обычный шаг деревенской бабы, с детства занятой мужским трудом. Белый платочек сбился с головы, лежал на шее, ветер трепал начинавшие сесть волосы. Нового платья, сколько Василий помнил, у матери никогда не было. Она и сейчас была в старой рабочей юбке, сбитых кирзовых сапогах. Запыхавшаяся, потная, с сильно выпирающим животом, она, подбежав, отстранила Лену, обхватила сына и уткнулась ему в грудь лицом:

— Сыночек мой, Вася...

Он вспомнил ее молодой, темноволосой, сидящей в лесу на траве среди таких же деревенских молодежи — тоже с детьми. Все они поют, смеются, собирают грибы и аукаются. Потом — пахнет дымом от костра, и он, Васька, трех- или четырехлетний, держит в руке скользкий белый гриб, пробует его на вкус, и мать — круглолицая и веселая — отбирает гриб и шутовски шлепает сына по руке. Ему не больно — жалко гриб, он хнычет, тогда она прижимает его к груди, мягкой и теплой, и он засыпает.

А вот мать только что вернулась с поля, где вязала снопы. Она, видно, устала, но отдыхать некогда. И она, еще вся в пыли и повязанная платком до самых глаз, доит корову, задает ей и поросенку на ночь корму, вычищает в сарае — все это ловко, быстро. Ваське кажется, что она всё может. Он только не понимает, отчего она так тихо держится в доме и позволяет дядьке Юхиму командовать собой. Сейчас на лугу он вспомнил все это разом и не мог сдержаться. У него по щекам текли слезы, он пытался легонько отстранить ее, потому что пора было идти, но она все всхлипывала: “Сыночек мой, сыночек мой”, — и напирала на него своим огромным твердым животом. Василий отыскал глазами отца, тот понял и подошел.

— Хватит, мать... Итить надо...



Отец морщился, от него разило самогоном, он и сам еще не попрощался с сыном и не знал, как это сделать.

— Слышь, Машка, итить надо... — он отрывал жену от сына, и когда это ему удалось, Василий полюбнял его за плечи, прощаясь с ним, и отец кивнул головой.

— Ну что, Вася, пора! — крепкий бас заставил его вздрогнуть, а на плечо опустилась тяжелая рука комбайнера. Василий повел плечом, не освобождаясь, а как бы отвечая этой руке, увидел широкое и красное лицо комбайнера, его светлые, твердые глаза, и ему показалось, что дядя Матвей почти спокоен. Таким Василий уже видел его в поле, когда лопалась звездочка или в барабан попадал камень. И Василий как мог спокойно ответил:

— Пора, дядя Матвей...

— Эге-ге-гей, пора-а! — разнесся бас комбайнера, и Василий охватил взглядом все пространство: кучки парней и баб, отдельные пары, как бы застывшие кто в обнимку, кто просто в разговоре, а кто еще глядя в небо, где и следа не осталось от голубей. Роса уже совсем высохла, ромашки и одуванчики покрылись множеством пчел, трава местами была помята, местами — полувыпрямилась, река точно замерла, — так казалось отсюда, с конца луга, — все это вместе с запахом болотца и нагретой травы так и осталось в памяти.

Когда раздался голос комбайнера, бабы, как по сигналу, заголосили.

Василий несколько раз чувствовал на затылке чей-то пристальный взгляд и, оборачиваясь, встречался глазами с Митькой. Что-то он был невесел, и даже его рыжий чуб не был взбит и просто нависал на правый висок. В сощуренных Митькиных глазах, да и во всем его гибком теле, было что-то непонятное Василию. Митька говорил: “Хорошо, твоя взяла... Но мы еще посмотрим!”

Призывники шли полев ржи, колос уже начал желтеть и осыпаться. И все думалось о том, кто будет косить рожь...

— Хлопцы, выпьем? — предложил Андрей, косясь на отца, шедшего впереди, но тот не слышал или не обратил внимания. Призывники переглянулись, и лица их повеселели. Оказалось, что не один Андрей догадался прихватить бутылку самогона. Василий тоже хлебнул разок-другой прямо из горлышка, и внутри загорелось, потом ударило в голову, и стали приходить мысли,



что все будет хорошо, они быстро управятся с фашистами и вернутся домой. В этом настроении он и пришел на станцию, где их уже ждал эшелон.

4

Подполковник перешел через мостик, спустился к самой воде, поставил на берег чемодан и сел на него. Так или иначе, ночь уже пропала, и теперь неважно, придет он часом позже или раньше. Он решил посидеть возле реки, покурить. Редкие уже звезды подрагивали в воде. Она легко текла куда-то в иные дни и времена.

...Спустя два года после окончания войны он приехал домой на побывку. И едва ступив на эту землю, уже не мог понять, как прожил шесть лет без этой тропинки, без этой ржи и почему остался в армии.

Когда он подъехал к лугу, там было много народу — ворошили сено. Он не стал подходить близко, пошел стороной, но издали различал некоторые лица и узнавал женщин: все они были худые и измученные. Ни одна не окликнула его, и он ничего не сказал, только кивал, проходя мимо.

Солнце жгло, и тучи скапливались на горизонте — чувствовалось, что будет гроза. Василий не мог продохнуть запах сена и еще иные крепкие запахи — цветов и сырой земли, и в нем нарастало то, что он боялся высказать, если бы стал здороваться и говорить с женщинами, — тоска по этой земле и по этой жизни, и это чувство вины перед ними.

Идя по деревне, Василий не встретил ни одного взрослого человека — все были на работе. Возле дома, наспех перекрытого соломой и недавно, должно быть, к маю побеленного, сидели на бревнах мальчишки лет восьми — десяти. Увидев военного, они повставали и смотрели, раскрыв рты. Все они были в старых латаных штанах, босиком, все одинаково грязные и светловолосые.

Один, ушастый, судя по росту, младший среди всех, держал в руке веточку сирени. И Василий сообразил, что это и есть Егорка, потому что в палисаднике под окнами доцветала сирень. И едва он так подумал, как нашел в ушастом сходство с давно умершим Ваняткой.



Егорка, знавший брата только по фотографиям, растерялся, но Василий подхватил его на руки и крикнул остальным:

— А ну, пошли за мной!

Мальчишки сразу осмелели. Василий открыл чемодан и стал угощать их орехами и конфетами. Они не отказывались, а Егорка блеснул серыми глазами, поглядывая то на своих дружков, то на брата... Вдруг один мальчишка тоненько сказал:

— Дядь, ты бы хлебца...

Василий тотчас заметил, как они все истощены, и ему стало стыдно за свои конфеты. У него в чемодане были две буханки: узнав, что здесь неурожай, он купил их на одной из украинских станций. Он вытащил из чемодана буханку, поделил между ребятами, и они сразу же разбежались. Братья сидели на каменных ступенях крыльца, и старший, полюбив Егорку, морщась, смотрел, как он давится хлебом. Не в первый раз вспомнился Ванятка.

— Картошка у вас есть?

— Ага... И молоко. Майка родила теленочка...

Да, и в то время была Майка, только чужая.

— Ну что ж, веди в дом...

В спальне было чисто прибрано. Желтые пятна на потолке и стенах говорили о том, что крыша протекала. “Надо будет им помочь”, — думал Василий.

— Я за мамкой побегу, — крикнул Егорка и умчался. Василий снял гимнастерку, сапоги и прилег на кровать.

Если переведут служить в Россию, можно будет забрать к себе Егорку. Что еще? И вдруг кольнула мысль: “Хочешь откупиться?” Получалось так, что он действительно хочет откупиться от семьи, от этой разоренной земли, на которой остались одни бабы.

Звякнула щеколда, и в комнату вошла мать — потная, запыхавшаяся, с прилипшими ко лбу седыми прядями. И Василий почему-то мгновенно представил свое молодое румяное лицо, каким он его видел ежедневно во время бритья, свои подбритые усики...

— Ах ты, Господи, сынок! — вскрикнула мать, бросаясь к нему. Она обнимала и целовала его, проводя по его лицу и плечам черными шершавыми руками. А он смотрел на ее истощенное, заплаканное счастливое лицо и сам целовал ее, чувствуя губами горечь и соль.



– Сынок, бежи в кузню, скажи отцу, – послала она Егорку, который сидел у порога и разбивал молотком орехи, как бы не замечая, что делается в комнате.

Обессилов, мать сидела на скамейке с закрытыми глазами, а Василий, тоже молча, смотрел на ее обветренное лицо, тяжелые руки в черных трещинах.

– Посиди, сынок, я тут кой-чего...

Василий остался в доме один. Ему было горько и стыдно, точно это он виноват во всех бедах матери. И он напрасно говорил себе, что должен же кто-то, несмотря на конец войны, служить в армии, что и у других есть матери. Ему вспомнились лица офицеров, такие же молодые и ухоженные, как и у него, их щеголеватая выправка... Думал он и о том, что все они воевали и могли погибнуть, как погибли многие и многие. Но легче ему не становилось.

Во двор входили мужики. Василий узнал по голосам своего отца, дядю Матвея. Пока сын обнимался с отцом, начавшим как бы ссыхаться в костях, пахнущим кузней, дядя Матвей стоял в стороне и гудел:

– С сыном тебя, Иван! И тебя, Машка!

Дождавшись своей очереди, он сгреб Василия в охапку и порядочно натер ему лицо своей седой щетиной. Лицо комбайнера было красным и веселым, – они с отцом где-то уже выпили, но Василий знал, что его сын, Андрей, погиб в самом начале войны, и видел теперь, чего стоит дяде Матвею эта веселость. Понимали это все четверо, но только мать, не умевшая скрывать своих чувств, съеживалась и замолкала, когда заговаривал комбайнер.

– Ну, гость, командовай! – говорил дядя Матвей, когда они сели за стол. – Мы с Иваном рядовые. Так, Иван? А ты, Вася, Митьку-то, председателя, переплюнул.

– Как?! Митька – председатель колхоза?!

– Ну да, – отвечал комбайнер, – да еще какой! Ну, не об этом.

Василий вытащил из чемодана бутылку с цветной этикеткой.

– Ага! “Бренди”! Это мы знаем, пили в Германии. Пробовал, Иван?

– Случалось.

– Ишь ты, случалось ему! Еще бы – генеральский истопник. Не то, что мы, пехота, – дави грязь!



Мать сидела на лавке рядом с Василием, пила понемногу с мужиками и неотступно смотрела счастливыми глазами на старшего сына. Егорка примостился тут же и, как мог, старался держаться по-взрослому: никого не перебивал, слушал и смеялся, когда смеялись старшие, или хмурился, когда хмурились они.

Мать все угощала и угощала их картошкой с редиской, а из глаз у нее текли и текли слезы.

— Ну, Машка, салат пересолишь, — говорил комбайнер.

— Дак че ж, дак че ж, — вздыхала она, — ждала-то, ждала...

Василий чувствовал, что пьянеет, ему было хорошо, но что-то внутри царапало и, как он ни пил, не мог отогнать боязнь разговора о том, почему он не вернулся после войны домой. Сказать им, что он остался в армии со зла, когда узнал, что Лена вышла замуж за Митьку? Да ведь их этим не убедишь: как, мол, ей было не выйти, когда от тебя ни весточки? (Он был в окружении, потом несколько месяцев провалялся в госпиталях)... Нет, этим их не проймешь... Что ни говори, чего ни думай о Митьке, а он не бросил своей деревни... Председатель (“Да еще какой!”) Уж дядя Матвей зря не скажет. И разговор, которого он так боялся, все же начался.

— Ты что же, Вася, на побывку али как? — спросил комбайнер. Василий увидел, как сжалась и подобралась мать. — Подчистую, говорю, али на время? — переспросил дядя Матвей.

— Ладно тебе, Матвей, — вмешалась мать, — дай отдохнуть человеку.

— Не-е, ты, Машка, молчи. Ты — мать... Скажи, брат? — комбайнер положил Василию на плечо тяжелую руку и приблизил к нему бурое щетинистое лицо. — Мужиков тут теперь, сам должен понимать... Мы вот с Иваном, Мирон на колотушке да еще пять-шесть калек. Отец-то твой, глянь, вроде устарел для кузни-то: ну-ка, помахай там на нынешних харчах...

То отец, то мать порывались помочь сыну, но комбайнер отстранял их рукой:

— Пусть знает... Вы того не скажете, что я скажу. Воевал, говоришь? (Василий молчал.) Все воевали, Вася... И тут теперь воюем. Нынче Митька обещает дать хлеба на трудодни. (“Дождички, слава тебе, Господи”, — вмешалась мать.) Да, дождички. Назавоз-то на саночках вывезли...



— Ну будя, Матвей, будя, — чуть не плача вскричала мать, чувствуя, что сын мучается, но комбайнер не унимался, и тогда она вдруг запела тонким голосом с надрывом:

*У меня-й под окно-ом
расцвела сире-ень,
расцвела сирень голуба-ая...*

За нею вступил отец, а чуть погода, шумно вздохнув и не глядя на Василия, дядя Матвей выпил полстакана самогона и густо повел:

*В моем сердце больно-гом
пробуждалась любо-говь,
пробуждалась любовь молода-гая...*

У Василия кружилась голова. Он прилег на кровать и уснул. Когда проснулся, за окном вечерело. Стол был прибран. Мать домывала полы.

— Проснулся, сынок? Может, повечеряешь?

— Что ты, мама, только ел. Пойду прогуляюсь.

— Ну ладно, — она помолчала. — Давеча встревала корову, попался Митрий. Заглянул бы, говорит, дескать.

— Видно будет, мама...

Свечерело. Ребятишки еще шумели и играли на бревнах. Был тут и Егорка — в новых штанишках, рубашке в клеточку и сандалиях — в том, что привез из Германии Василий.

— Пойдешь со мной, Егор? — спросил Василий, подходя к мальчишкам.

— Знамо, пойду...

Потому ли, что его никогда не водили за руку, или же оттого, что он, хоть и храбрился, но стеснялся старшего брата и даже не знал, как его называть, его корявая от царапин ладошка, потонувшая в ладони Василия, сразу взмокла. Надо бы выпростать эту взмокшую руку своей, но Василий чувствовал себя в деревне неуверенно и потому как бы сам держался за руку братишки.

Звезд было уже много, ветер утих. Пахло коровьими лепёшками, сиренью, белой акацией и отсыревшей травой, а там, куда они шли, играла гармошка и звучали припевки.

Вот они проходят мимо дома, где жил до войны Митька.

Насколько можно видеть в темноте, двор председателя ничем не отличается от других: тот же дом, крытый соломой, сарай, летняя кухня. За плетнем, в зарослях сирени, Василий услышал шорох.



Ему показалось, что кто-то шархнулся в кусты. Василий так сжал руку Егорки, что тот вскрикнул:

— Чо ты? Чо ты?!

— Ах, черт... Прости, братка!

Василий выпустил его руку, приблизился к плетню и увидел возле летней кухни белое ведро с молоком. Но того, кто его оставил, не было. Значит, за ним следили. Ему ли не знать, что женщины никогда не оставляют так ведро с молоком!

Отца у Митьки не было, сестра вышла замуж еще при Василии. Значит, это могла быть или его мать-старуха, или Лена. “Его жена...” Теперь она следит за ним. Ну что ж, пусть. Он даже пожалел, что в темноте она не может видеть ни его орденов, ни его лица. Он опять подумал о своем лице и усиках, но теперь с удовольствием, назло ей...

— Ты чо, а?! — опять спросил Егорка.

Василий заметил, что он тяжело дышит и чуть ли не бежит, таща за собой братишку.

— Отвести домой? — спросил он у Егорки.

— Не-е, я с тобой... — сказал мальчишка. Он и без того боялся, что этакое счастье — старший брат да еще военный — вдруг исчезнет.

— Добро! Со мной так со мной! — Василию стало легче оттого, что он так нужен этому ушастику.

Они подошли к тому месту возле сада, где пели и плясали. Кругленькая, в белой косынке, светлом сарафане, но в сапогах девчонка тараторила под гармошку:

*Не завидовай,
Маруся, што вернулся мой жених,
дай, подружка,
налюблюся — и поделим на двоих...*

Парней было трое или четверо, а девчат — десятка два. Василий слышал, как двое из них, шутя, торговались, собираясь танцевать:

— Лидка, ты пока будешь ухажер...

— Ну, давай! Держись, Настя!

— Что ж держись! В сад, небось, не поведешь?

— А как поведу?

Они хохотали, но, заметив Василия, замолкли и подобрались, как бы подтянулись под своими ситцевыми платьями.



Заметили его и другие девчата и тоже подобрались, а гармонист, должно быть, редкая теперь птица, паренек лет шестнадцати из соседней деревни, тряхнул чубом и подбавил жару, словно говоря девчатам: “Увидели военного и рассиропились. Небось, побудет неделку и уедет, а я — вот он, тута, и гармошка со мной”. Оттого ли, что у самого на душе было муторно, или еще почему, Василий понимал, что сейчас могут думать о нем девчата. Он надел на Егорку свою фуражку, оправил китель и пригласил девушку, стоявшую поблизости. Это оказалась та Настя, что предлагала своей подруге быть ухажером. Она сначала даже не поверила, помедлила, но вдруг поняла, что приглашают ее, испугалась, что ее задержка может быть не так понята, и поспешила к Василию.

Держалась она скованно, очень старалась двигаться в лад с партнером, но все время запаздывала или торопилась, и ее трудно было вести — чувствовалось, что она не привыкла танцевать с мужчинами. Василий вроде бы не замечал ее неловкости, улыбался ей, приглядываясь в темноте к ее круглому лицу с поджатыми сейчас от напряжения губами. Чтобы как-то помочь ей, он затеял разговор о житье-бытье в колхозе.

— Да что ж, работаем, — отвечала она, смотря на ноги, чтобы не сбиться. — Я-то? Доярка я...

У нее уже не было сил танцевать, но отвести ее на место посреди танца было невозможно — обидишь. Он стал рассказывать, как ему приходилось танцевать с венгерками, чешками, немками, и заметил, что другие пары прислушивались и прикасались к ним. Мало счастливцев возвратились живыми и здоровыми. Василий знал наверняка, что, стоит ему захотеть, с ним пойдет любая. И ему было жаль их, и он был рад хоть кому-то из них сделать приятное. Но вряд ли он помог своей партнерше, рассказывая ей о том, как легко и свободно держатся с незнакомыми мужчинами европейские девушки. Он говорил об этом как бы шутя, надеясь втянуть ее в разговор и ожидая, что она даст понять, что, мол, и мы не хуже тех. Потом он понял, что, не смотря на показную отчаянную веселость, все эти девчонки и молодницы думали о любви и вообще об отношениях с мужчинами с болью, с тоской, и уж, конечно, не от них было ждать той глупой игривости, о которой он ей говорил.



— Они вам нравятся? — только и спросила его невпопад Настя. Она тоже хотела сказать это весело, безразлично, в тон ему, но в ее голосе прозвучали досада и обида за себя и за других — за своих.

Наконец, этот мучительный танец закончился. Василий отвел Настю на место, напоследок тронул ее за локоть, и на мгновение она чуть привалилась к нему и вздохнула.

— Спасибо, — сказал он ей. Она в ответ только отрицательно покачала головой.

В это время вернулась на место ее подружка, Лидка. Василий отошел к Егорке, а Настю сразу же обступили девчата и зашептались.

— Пошли, Егорка.

Мать с отцом легли на полу, а ему оставили кровать. Но в доме было душно.

— Мам, я в сарай пойду, — сказал Василий.

— Возьми шубу, коли что...

Они пили молоко, потом пошли с Егоркой в сарай. Сено слегка намокло от дневного дождя — крыша кое-где прохудилась.

Василий потушил фонарик, и они легли. Егорка подкатился под бок и быстро засопел, а Василий ворочался, думал, потом понял, что не уснуть, и вышел на улицу.

Слышался лай собак. Мерцали звезды. Доносился запах сирени. Возле сада еще танцевали, и он подумал: не пойти ли туда? Опять вспомнилась Лена. Он попытался представить, какая она теперь и какой Митька, и как они живут вместе — муж и жена... Невольно стал перебирать в памяти события прошлого.

Уже рассветало, но возле сада еще играла гармошка. Мимо того места, где он сидел, прошли с танцев девчата. Они пели песню о партизане:

*В чистом по-оле, ой да под раки-и-итой,
где клубится по полю тума-а-ан, там лежит,
сырой землей зары-ы-ытый
комсомолец — красный партизан...*

Пели эту песню еще до войны. И Василий подумал, что пройдет несколько лет, может быть, полвека, и другие девчата будут так же петь песни и об этой войне. Постепенно все войны века



сольются как бы в одну. Что же будут думать о нашем времени люди следующего тысячелетия? Воевали, скажут... Первая мировая – империалистическая, гражданская, Великая Отечественная. “Проклятые войны не дают деревне встать на ноги”, – думал он, глядя на расплывчатые в сизоватом предутреннем свете домишки, колодезные журавли, сады, прихваченные ветерком и зашумевшие.

А вот и хозяйки начинают свой хлопотливый день: пора доить коров, готовить завтрак. Да мало ли забот в летнюю пору?.. Кричали петухи.

Мать стояла посреди двора с белым ведром, хотя доить корову было еще рано. Она как-то непрямо посмотрела ему в лицо и, отвернувшись, спросила:

– Может, поешь, сынок?

Он отрицательно покачал головой и пошел к сараю, а она, задумавшись, постояла.

Потом Василий, лежа на сене, слышал, как цвиркает молоко, как оно, сперва звонко, а потом глуше льется в ведро. Слышал он также, как топала ногами Майка и вздыхала мать.

Следующие два дня он никуда не выходил, мастерил Егорке змея. А вскоре, не пробыв дома и половины отпуска, уехал.

5

В последний раз он приезжал домой, когда умер отец. Егор служил в армии на Дальнем Востоке, ему написали письмо, а телеграммы не дали: приехать он все равно не успел бы.

Отец никогда ничем не болел. Он так прокоптился в кузне, привык к горячему и холодному, к сквознякам, что подобраться к нему могла только случайная смерть. И он умер скоропостижно – отравился самогоном.

Василий увидел отца в гробу и почему-то подумал, как он, Василий, похож на отца. Раньше это было не так заметно. А дело было в том, что отца отмыли как следует, черты его лица смягчились, появилось на этом лице выражение покоя и уверенности. Сложенные на груди руки, которые уже невозможно было отмыть, оказались неимоверно большими в сравнении со



впальными щеками и заострившимся носом. Они так и врезались в память, эти черные огромные руки.

Перед похоронами гроб стоял во дворе, его обступили бабы и детишки. Смерть в деревне была большим событием, а тут умер не кто-нибудь, а кузнец.

Здесь же стояли и выли бабы-плакальщицы — все в черных платочках. Мать причитала вместе с ними:

— На кого ж ты мне покинул, Иванка-свет?.. Да как же я таперича?

Все худшее было забыто. Не думалось, что отец ушел от них в тридцать третьем, что и потом, возвратившись в семью, он пил, а случалось, и гулял на стороне. Конечно, знала все это и мать, но сейчас, когда отец уже не мог сделать ни плохого, ни хорошего, когда все осталось в прошлом, он виделся ей таким, каким был в лучшие дни их жизни.

С утра было пасмурно, но потом разъяснилось, стало припекать. И когда замолкал духовой оркестр, слышны были жаворонки. Идти было недалеко, но у Василия, несшего гроб, на полпути заболела рука и зануло плечо. Со стороны было видно, как он то приподнимал, то опускал плечо. И тогда к нему подошел дядя Матвей и угрюмо сказал:

— Дай смену.

Василий видел, как запросто, переговариваясь и даже тайком пересмеиваясь, вразвалку шагают со своими трубами музыканты — ученики районной десятилетки. Для них его отец — просто очередной покойник, “жмурик”, как у них принято называть. Они привыкли. Им почти все равно, где играть — на школьных танцах или на похоронах. И Василию думалось, что нельзя допускать, чтобы на похоронах играли подростки, что человеческая жизнь для них обесценивается...

Еще неся гроб, Василий чувствовал спиной и затылком взгляд и, оглянувшись несколько раз, видел Лену, вернее, женщину, которая когда-то была Леной и провожала его на войну.

Стоя во дворе возле гроба, Василий был неприятно удивлен, что смерть отца не слишком его тронула. Он успокоил себя тем, что мало жил с отцом, но по дороге, чувствуя на плечах тяжесть гроба и запах теса, он все больше поддавался общему настроению,



и вдруг его поразила мысль, что отец — умер. Мысль эта росла в нем, когда он смотрел на седую шетину дяди Матвея, когда слышал жаворонка в перерывах между траурными маршами. И сейчас одновременно с воспоминаниями о том дне, в котором они стояли с Леной на лугу, явилось другое — о возвращении отца. И Василий увидел его, нарочито бодрого, жалкого и просящего прощения всем своим видом. И все это сошлось в одно на этой пыльной дороге к кладбищу. И Василию стало нечем дышать. Он машинально подносил руку к горлу, чтобы расстегнуть ворот рубашки, но тот давно был расстегнут. Он пытался прокашляться, но и это не удавалось. Спасение пришло оттуда, откуда оно приходит всегда: мало что видевшая от горя мать все-таки поняла состояние сына и подошла к нему. И он обнял ее за плечи и прошел так несколько метров рядом. И дышать стало легче.

Перед кладбищем он оглянулся и опять встретился взглядом с Еленой Мироновной. Она шла в толпе, среди женщин, немного пополневшая, с морщинками под глазами и на шее. И в глазах ее он увидел выражение настоящей скорби. И то, что не давало ему дышать, то, что нельзя было понять у себя самого, он понял у нее: это была скорбь не только по его отцу, но и по ним двоим, по их жизни, которая сложилась не так.

Теперь он уже не терял ее из виду. На ней хорошо сидел серый костюм. И тугой узел волос на затылке был ей к лицу. И если бы он не знал, что она учительница, мог бы легко об этом догадаться, потому что лицо ее не было обветренным и загорелым, как у окружающих женщин, и на лице этом было выражение строгости, порядка и особой наивной уверенности в своем поведении, как это бывает на лицах именно сельских учительниц.

Пришли на место и возле вырытой могилы гроб поставили на землю, и он почти утонул среди цветов и сухих прошлогодних былин. Василий стоял, обнимая за плечи мать, которая вздрагивала при чавкающих звуках лопат. Потом мать окружили плакальщицы... И он, отходя в сторону, встретился глазами с Леной, которую уже и мысленно называл Еленой Мироновной из-за строгости ее лица и фигуры.

На миг между ними возникла связь — такая дорогая для обоих, что исчезли похороны и все эти люди, сочувствующие и зеваки.



Но связь эта была слишком короткой, и они не успели увидеть себя вместе на лугу... К Елене Мироновне подошел Дмитрий Иванович, бывший рыжий Митька, а теперь солидный, лысоватый председатель колхоза. Василию стало ясно, что Митька наблюдал за ними. Он потому и подошел к своей жене, что не хотел, чтобы они встретились даже в воспоминаниях.

На этот раз ты опоздал, Митька. Но, странное дело: в Митькиных глазах он не увидел торжества. Только усталость. И Василий понял, что Митька давно смирился с тем, что если бы все сложилось иначе, Лена вышла бы за Василия. И что сколько бы лет она ни прожила с ним, Митькой, изменить свою душу она не может.

Пора кидать землю на могилу отца. Василий набрал в горсть влажной холодной земли и бросил ее на крышку гроба. За ним — другие. И Елена Мироновна — тоже. Отвернувшись, чтобы не видеть, как яма сравнивается с поверхностью, Василий увидел и узнал дядьку Мирона, отца Лены...

— Кури, дядя Мирон.

Тот взял из портсигара папиросу, искоса и как бы виновато поглядывая на Василия, повертел ее в пальцах, хотел что-то сказать, но не сказал, а только раскрошил папиросу короткими, в рыжих волосках, пальцами. Потом посмотрел в лицо Василию неуверенным кротким взглядом и пошел вслед за людьми, начавшими расходиться.

Василий остался с матерью, убиравшей могилу. Он сидел на траве и думал, что никакие монументы не трогают сердце так, как тревожат его эти деревенские холмики под серыми, источенными временем крестами.

Кладбище сплошь поросло ромашками, куриной слепотой и одуванчиками. Некоторые слишком уж осевшие крестики спрятались в траве и прошлогоднем бурьяне. И над всем этим, точно над лугом, гудели пчелы и звенели жаворонки.

Подполковник взял чемодан и пошел к деревне, откуда уже доносился утренний крик петухов. Почуввав чужого, забеспокоились и залаяли собаки. Шумели в посадке тополя, и, шурша по плащу, падали на землю последние листья. В том месте,



где молодежь прежде танцевала прямо на траве, сейчас была выложена цементом танцплощадка. Вокруг нее стояли скамейки, и на одной из них, несмотря на утренний час, еще сидела парочка. Василий хотел пройти сбоку от них, но все-таки оглянулся, и тотчас же парень закричал: — Вася! — и бросился к нему.

Егор был крепок и высок, и Василий удивился, что его “ушастик” так вымахал. Они тискали друг друга, потому что взрослыми не встречались. Егор, собираясь на свидание, должно быть, sprыснул себя одеколоном, но от него все же пахло кабинной кожей и бензином.

— Отслужил? — спросил Василий, хотя знал, что брат уже два года дома. Ничего другого не пришло на ум.

— Приехал? — тем же тоном спросил Егор, и они рассмеялись. Василий не сразу понял, на кого смахивает его выросший “ушастик”. Мимолетно прошли в памяти лица отца и матери, но дольше всего задержалось лицо дядьки Юхима — его густые, нависшие брови, прямой толстый нос.

— Ну, я пойду, — сказал Василий, кивая на стоявшую в стороне девушку, которая была в Егоровом пиджаке, накинутом поверх белого платья.

— А-а, — сказал Егор и позвал ее: — Нин...

Девушка подошла и подала Василию маленькую ладошку. Лицо ее показалось ему странно знакомым. Этот овал, эти закусенные в уголках губы, гладко причесанные светлые волосы. Василий не сразу выпустил ее руку.

— Ты... Вы... — сказал он, — наверно, дочка Елены Мионовны?

Она быстро кивнула и отвернулась, но как ни быстро она это сделала, глаза их на мгновение встретились. Василий понял, что эта девочка все знает.

Егор на миг отошел к ней, сказал что-то и вернулся к брату.

— Ты иди, Вася, я ее провожу и приду.

Василий зашагал по деревне. Ему было хорошо и грустно. “Вот и все”, — сказал он себе. Возле дома его догнал Егор. Спокойно-уверенный, с закатанными рукавами белой рубашки и пиджаком на плече.



— Ну и как? — спросил он веселым баском. И Василий понял, что брат тоже все знает. Когда они подошли к калитке, Василий вспомнил, как впервые увидел брата. Он засмеялся, приглядываясь к нему: сейчас уши как уши...

— Ты чего, а? — Егор толкнул брата крепким плечом.

Василий поставил на землю чемодан, ему вдруг стало весело, и он крикнул:

— Ах ты, сосунок ушастый!

Они схватились бороться. И Василий сразу почувствовал молодую жесткую хватку брата. Но он и сам был не слаб. И у него мелькнула мысль, что лучшего окончания его ночного пути не придумаешь. Тут хлопнула дверь, и голос с крыльца вскрикнул:

— Никак Вася?! Сынок!

Василий кинулся к матери, подхватил ее на руки и понес в дом, радуясь, что в ней нет еще старушечьей легкости и что она еще поживет.





СТОИТ ГОРА ВЫСОКАЯ

Шматок сала

Серёжку привезли после обеда. Сейчас время шло к вечеру, темнело, но председатель колхоза, толстый, бритый наголо человек, сидевший за столом в распахнутой шубе, разговаривал с мужиками и, кажется, не спешил определять судьбу новичка.

Серёжка пригрелся возле печки, от которой пахло угольной гарью, и подремывал, почти не вслушиваясь в разговор. Но когда кто-то входил в правление, хлопал дверью и, топоча о земляной пол валенками, сбивал снег, пацан поеживался от струи холодного воздуха, обводил взглядом мужиков, одетых в фуфайки и шубы, и поневоле пытался понять, о чем они спорят и что решают.

А они, как и час, и два назад, говорили о подписке на заем, о налоге за бездетность, о будущем урожае, который “должен быть”, а также о самогоне, — и все это на русском, на казахском, на украинском языках. То была хотя и странная, но приятная смесь, характерная для этой местности — между Джамбулом и Чимкентом. Разговор, без повышения тона и почти без оттенков, усыплял Серёжку.

Лампу почему-то не зажигали, и лица мужиков становились видны только при свете сигарок. Почти все курили самосад, заворачивая его в конторские бланки, запах горелой бумаги забивал даже угольный дух из поддувала. Только председатель колхоза, сидевший за столом возле окна и превращенный сумерками в силуэт, время от времени шелкал портсигаром и доставал из него папиросу “Беркут”. Это была дешевка, даже беспризорники называли их “гвоздиками”. Серёжке, невзлюбившему председателя с самого начала, казалось, что толстяк курит папиросы только для того, чтобы хоть чем-то отличаться от мужиков.

Пацану тоже хотелось курить, и не будь в правлении неприятного толстяка, он попросил бы у кого-нибудь табачку на заветку или хотя бы окурок.



Будущая его жизнь во многом зависела от председателя — это он знал по рассказам дружков-беспризорников, из тех, кому довелось уже побывать в “воспитанниках колхоза”. Может, поэтому сегодня утром, когда ребят вывели во двор роно, чтобы распределить по колхозам, многие старались попасться на глаза именно этому человеку: хотя на его румянном гладковыбритом лице застыло полупрезрительное выражение, пацаны понимали, что у такого толстомордого хозяина и кормить должны по-лучше, — а ведь шел сорок седьмой...

Стоял декабрь, было морозно. Беспризорники, одетые, как пришлось, мерзли, но председатели не спешили, приглядываясь и отбирая тех, кто им больше нравился. Неопытные подходили к ребятам постарше, надеясь сразу пристроить их к делу. Другие, с ними толстомордый, знали, что от старших-то и следует ожидать всяческих неприятностей: станут воровать, отлынивать от работы, а чуть пригреет солнышко — поминай как звали. Не брать же совсем было нельзя, это вроде налога. Хотя начальство больше упирало на совесть: “Бери, бери... Надо помогать, ставить на ноги... Глядишь, приживется, вот тебе и мужик в деревне!” Председатель в ответ только покачивал головой — что-то не очень они приживаются, эти пацаны, война разбаловала, приучила к базарам да вокзалам, заставь таких работать! Но, как на грех, в знаменитом колхозе “Путь к коммунизму”, где даже в нынешнем году дали по шестьсот граммов на трудодень, один парняга задержался, да и не только задержался, но и женился и теперь тракторист из лучших. Это был единственный случай, но — был... Да нет, как ни верти, а брать надо, уж если не получится, то другое дело.

И вот толстый председатель подошел к Серёжке, стучавшему от холода зубами, и сказал воспитателю детской колонии:

— А чи узять этого заморыша?..

Все та же смесь языков...

Серёжке нравилось только то, что председатель толстый и солидный, но не нравилось его лицо и повадка, а значит, можно было ломать комедию: пацан мгновенно “сделал исусика” — лицом и фигурой изобразил забитость и послушание, и все потому, что вид председателя напоминал “шматок сала”.



От райцентра до деревни ехали в санях. Скрипели полозья, лошади позвякивали сбруей. Вокруг расстились снежные холмистые поля, а на горизонте сияли отроги Тянь-Шаня. Серёжка щурился от яркого солнца, в сорок четвертом он переболел “куриной слепотой”.

Лошадьми управлял угрюмый мужик. У него не было левой руки по самое плечо, и рукав, заправленный в карман кобуха, отдувался так, точно был накачан воздухом. Председатель называл его Семёном, но держался с ним непросто. Новичок, очень чуткий, как все бездомные пацаны, к отношениям между начальниками и подчиненными, понял это сразу. Говоря с Семёном (пацан, конечно, называл его мысленно дядькой Семёном) и осторожно подшучивая над ним, председатель, казалось, ни на миг не забывает, что сам он в новой дубленой шубе и каракулевой шапке, что у него власть над людьми и над этим мужиком, а у того никакой власти, кроме как над лошадьми, нет, шуба его облысела, особенно на отворотах и рукавах, а такую кроличью шапку в пору носить вот этому бездомному пацану. Сознание всего этого позволяло председателю чувствовать себя хозяином и подшучивать над конюхом, но подшучивать осторожно, с поглядыванием на угрюмую Семёнову спину.

Серёжа замерз. Ботинки у него были старые, подошва на носках отклеилась, под нее набивался снег, приходилось вечерами ставить ботинки на печь, если таковая была... а к утру эти бедные чоботы так ссыхались, что в них было, как в деревянных колодках. На голове, почти на макушке, торчала серая женская беретка с шишечкой, а на теле, поверх сатиновой старой рубашки, больше размера на два, болтался пиджак, а точнее, китель без погон, Бог знает как оказавшийся на складе детской колонии.

Председатель, сидевший рядом с Серёжкой, будто и не замечал, что пацан полураздет и стучит от холода зубами; но толстяк и замечал, и слышал, и даже думал о новичке, но совсем в ином плане: он усмехался, представляя, что при случае можно будет вернуть в райкоме: “А тут еще этот пацан — лишняя морока...”

Семён же, казалось, порывался обернуться к новичку, это чувствовалось по той стороне лица и спины, где сидел Серёжка, но в ту же минуту председатель начинал говорить, сбивая конюха. Он и теперь сказал как бы дядьке Семёну, а на самом деле новичку, потому что конюх знал то, о чем говорилось:



— Я ему и одежду справил, и на курсы трактористов хотел послать... Так шо ж ты думаешь, чи не удрал? Удрал сук-кин сын!..

— Як бы хотел, то и послав бы! — буркнул дядька Семён. — А як бы послав, то вин, може, и не удрав бы...

Председатель не обратил внимания на слова Семёна и спросил Серёжку:

— Ну, а как тебя по фамилии?

— П-полозов! — еле слышно выговорил вконец замерзший пацан.

— Тэ-экс! Значит, Полозов Сергей... ладно, обойдемся пока без отчества. Ну... А долго ты собираешься у нас прожить? — с усмешкой добавил он, трогая Серёжку локтем, но глядя все на ту же угрюмую Семёнову спину.

— Н-не зн-наю, — ответил новичок, стараясь не стучать зубами.

— Та шо ты до его пристав! — сказал конюх тем голосом, каким говорят много курящие и кашляющие люди. При этом он, обернувшись, ожег председателя взглядом, и тот, мгновенно, ощутимо для Серёжки, подобрался. Пацан увидел небритое, с седой щетиной лицо конюха, нависшие седые брови, прокуренные зубы. И еще он заметил, что у этого человека огромная красная рука без варежки, и вдруг подумал, что председатель должен бояться этой единственной руки...

— Зарой ноги у сено, — не глядя на новичка, сказал конюх. Он чмокнул на лошадей, зажал вожжи между коленями и снял с себя шубу. Под нею оказалась старая шерстяная телогрейка. — Ну-ка, надинь...

Шуба была тяжелая и теплая, пацан закутался в нее с головой и быстро отогрелся. Председатель еще два раза попытался заговаривать с ним, но он делал вид, что не слышит.

— Что, Степан, опять беспризорника привез? Опять сбежит!..

— Як весна прийде, зараз сбежить!..

Так говорили мужики, когда сани остановились у правления колхоза. Минут десять парень был в центре внимания, но на вопросы он не отвечал, вернее, перестал отвечать, когда ушел дядька Семён. Мужики переглядывались и покачивали головами:

— Да, невеселый хлопец...

— Вовчентя...

От него отстали, а потом, в сумерках, и вовсе о нем забыли. Теперь ему хотелось есть, спать, он злился на председателя, но не решался о себе напомнить. Он наконец насмелился прошептать соседу:



— Дядь, дай докурить...

При свете сигарки увидел широкие скулы и узкие глаза казаха и тотчас хорошо о нем подумал, принимая в руки чинарик. Голодный и усталый, он накурился тремя затяжками.

Засыпая, он привык думать о чем-нибудь хорошем, что предстояло назавтра, и теперь ему пригрезилось, что с утра ему дежурить на кухне. Длинный и широкий барак, бывший когда-то складом для просушки табака, после эвакуации детдома в эти края приспособили под общежитие. В бараке размещалось больше шестидесяти кроватей, некоторые были двухэтажными, и сейчас, в самом начале Серёжкиного сна, ребята крепко спали, а он лежал с открытыми глазами и улыбался, ожидая, что вот станут видны очертания ветвей карагача за окном, его мелкие листочки, и тогда можно потихоньку собираться на дежурство.

— Эй, малый, как там тебя?! — услышал он голос председателя и открыл глаза. — Поди-ка сюда. Отправляйся вот с этим дедом, будешь жить на свинарнике, работать будешь... Думаю, Машка с Наташкой откормят... Да смотри у меня! — председатель помахал толстым коротким пальцем перед носом Серёжки, и тот еле сдержался, чтобы не отмахнуть этот жирный палец.

— Ага! Гляди не разворуй там навоз! — проворчал дядька Семён. Он, должно быть, только что вошел в правление — на лице у него была изморозь. Серёжка заметил, что от нервности у конюха подергивается обрубок руки и ему приходится заправлять в карман выдернутый оттуда рукав шубы. Наверно, это конюх и напомнил о нем председателю.

— Пишли, пишли, хлопче! — пробасил дед.

В правлении уже горела лампа, висевшая под потолком. Она коптила, отбрасывая ломаные тени, но никто не подправлял фитиль. Мужиков поубавилось, и Серёжка, уходя, так и не узнал, до чего они тут договорились за долгие часы сидения.

Дед запахнулся в длинный кожух, надвинул поглубже барашковую шапку, потопал тяжелыми пимами и подмигнул парню: “Пишли, пишли!” Дед был огромный, лицо его потонуло в бороде и усах, в воротнике шубы, по цвету близкому седине волос. Да пацан и не присматривался, хотелось поскорее добраться до жилья, а главное — до какой-нибудь шамовки. После разочарования в председателе свою надежду на “шматок сала” пацан теперь связывал с дедом,



вместе с которым они шли по темному селу. Дед шагал широко и, как многие грузные люди, оттирал своего попутчика на обочину, сталкивал его почти в сугроб. Если же Серёжка отставал, то и дед останавливался, поджидая его, а когда пацан прибавлял шаг, дед легко догонял его, так что новичку все время приходилось дышать запахом самосада и сырмятины от козуха.

— Мене зовуть дид Бованенко, а тебе, га?! — благодушно босил дед, надвигаясь и все тесня своего попутчика. — Мовчишь? Та чи ты змерз? Нычого, зараз прийдемо...

Мучаясь от холода и голода, Серёжка искоса поглядывал на деда: прямо-таки идут себе по улице козух да пимы, пыхтят самосадам, скрипят снежком! “Добро тебе, старый хрен, наелся сала и дымишь”, — думал пацан, стараясь натянуть на уши беретку да запрятать кисти рук в рукава кителя.

Село было завалено сугробами, снег плотно укрыл соломенные и камышовые крыши, а из труб струился дымок, пахнувший соломой и кизяком. В некоторых домах не было занавесок, Серёжка с завистью смотрел, как люди ужинали. Посреди села дед остановился, поглядел на своего молодого попутчика, усмехнулся и сказал:

— Пидожды трохи, я зараз, — и вошел в ближайший двор, не имевший ни ворот, ни калитки. Подпрыгивая, чтобы согреться, пацан мысленно обругал деда, который заставлял его мерзнуть, и подумал, что надо будет как-нибудь стянуть у него кисет с табаком.

— Ну, усе мовчишь?! — весело сказал возвратившийся дед и положил парню на плечо свою пудовую руку. — Вон, бачишь сараи, ото там.

За деревней, на пустыре, темнела длинная постройка, из-за нее был виден угол второй такой же, оттуда, несмотря на мороз, тянуло крутым запахом свинарника. Ближе к дороге примостилась хибарка, в окне горел свет. Из трубы вместе с дымом вырывались искры, чувствовался запах жженой соломы. Проходя мимо окна, Серёжка с радостью увидел ужинавших за столом женщин.

— Прийшли! — сказал дед, открывая дверь. В лицо новичку ударило запахом свекольного пара. Лампы в коридоре не было, окон тоже, но в широкой, точно паровозная топка, печи горела солома, и при свете был виден огромный котел — в нем бурлила свекла, присыпанная жмыхом.



Возле топки на земляном полу высилась горка соломы, а в угол были свалены вилы, грабарки, ведра. Здесь же стояли два маленьких стульчика, сидя на которых доят коров.

— Гей, дочки, прймайте гостя! — вскричал дед.

— Видкрыто, видкрыто! — ответил из-за дверей густой и сильный женский голос.

Дверь отворилась, и голодный пацан увидел прежде всего на столе возле семилинейной лампы чугунок с мелкой картошкой в мундире. У двери стояла с приоткрытым ртом широколицая, да и в остальном широкая, женщина лет двадцати пяти, а за столом сидела, перекатывая в руках горячую картофелину, очень похожая на нее девушка — тоже светловолосая и гладкопричесанная и в таком же сероватом и старом платье точно бы из мешковины. Серёжка понял, что старшая — Маша, а младшая — Наташа.

Комната была маленькая. Грубо сбитый стол да две скамейки по бокам, а на печи горкой лежали подушки и байковые одеяла. Возле двери были вбиты в побеленную, но отсыревшую стену несколько длинных гвоздей, на них висели фуфайки, платки и старый плащ с капюшоном. Вот и все богатство этой единственной комнаты, где обитали новые знакомые Серёжки и где предстояло жить и ему.

— Боже милостивец! Який лядащий! — вскричала, глядя на парня, старшая сестра. А он, костлявый, заросший, с давно не чесанной и не мытой головой (в колонии перед освобождением гоняли в баню, но из-за холода пацаны только делали вид, что мылись), отчего волосы были похожи на потеки... он, из-за просторного кителя да еще потому, что замерз и съежился, казавшийся совсем мальчишкой, хотя ему шел пятнадцатый год, застыл посреди комнаты, уткнувшись взглядом в чугунок с картошкой.

— А ну, Наташка, геть на хверму за молоком! — скомандовала Маша.

Младшая сестра, косясь на новичка с любопытством и жалостью, схватила фуфайку, бидончик и бросилась к двери.

— Ешь, ешь картохи, — говорила пацану Маша, — и вы, диду, ищите.

Она заметила, что пацан готов есть картошку нечищенной, и, торопясь, стала очищать картофелины своими толстыми пальцами, откатывать их новичку, и ему оставалось только макать их в соль и отправлять в рот. Дед, снова пыхтевший самосадам,



вдруг хмыкнул, глядя на Серёжку прищуренными и потонувшими в густых седых бровях глазами, и полез в карман своего огромного кожуха. Карман, казалось, был бездонным, и пока дед лез в него, не спуская хитрого взгляда с недавнего колониста, тот задержал дыхание и так сдавил в руке горячую картофелину, что чуть не прожег ладонь. Он уже догадался, что дед вытащит из кармана кожуха. Дед развернул бумагу и положил перед пацаном шматок сала! Кусок был небольшой, вмещавшийся на половине дедовой ладони, но и ладонь была широка, и в куске было не меньше двухсот граммов, да и проглядывавшая сквозь прорванную газетку чуть прижаренная шкурка, да и сама бумажка, отсыревшая и пропитанная жиром, да ко всему еще и солоновато-жирный особенный запах... Это было сало! Это был тот самый “шматок сала” — предел мечтаний каждого беспризорника! На долю секунды обладатель этого несметного богатства даже пожалел, что никто из его бездомных дружков не видит этот невероятный кусок. Мысль эта пронеслась стороной, и Серёжка почувствовал, что может заплакать, — и низко опустил над столом голову.

Сала он съел маленький кусочек, но и до прихода Наташи, когда он ел одну картошку, и после того, как запыхавшаяся девушка налила ему в большую алюминиевую кружку молока и он стал запивать им еду, — все это время он поглядывал на лежавший возле локтя невероятный подарок деда.

Сестры, сидя на лавке и сложив на груди руки, смотрели, как он ест, да и дед со своей бесконечной сигаркой, щуря глаза, глядел, как пацан захлебывается молоком, как ходят его скулы и натягивается желтая кожа лица.

Серёжка продолжал жадно есть, но уже наполнялся желудок, и появилась новая забота — покурить, накуриться досыта, иначе и еда не пойдет впрок... И он прикидывал, как ему поступить: попросить у деда на завертку или проследить, куда старик бросит чинарик.

— Мабудь, буряки зварылысь, — сказал сторож сестрам, и они все трое вышли в сенцы и завозились в котельной. Серёжка быстро оглядел пол и подобрал толстый недокурочек — схватил его большим и указательным пальцами, словно пинцетом, и спрятал в карман, потом быстро откусил кусочек сала и проглотил его не разжевывая.



Он услышал, как дед вполголоса назвал его имя, говоря что-то сестрам, на что Маша ответила: “Добре! Добре!” Прислушиваясь, Серёжка быстро распотрошил толстый недокурок и завернул табак в аккуратно свернутую газетку, после чего досыта и не спеша накурился. Правда, ему приходилось убеждать себя, что все в порядке: он, конечно, не боялся ни сестер, ни деда, но было почему-то неудобно вот так вот напоказ затягиваться сигаркой после того, как они его накормили и пригрели. Его стало клонить в сон, и, примостившись на лавке, он задремал. И тотчас приснилось, что кто-то хочет отнять у него сало, завернутое в дополнительную газетку и припрятанное в карман, где лежала самодельная финка. Сон сложился мгновенно: сначала Серёжка оказался в Джамбуле на “Мучном” базаре с Кривым Баюрой; но в тот момент, когда они поднимались на холм, где и размещался этот базар, Серёжка во сне подумал, что все это сон — ведь Кривого Баюру он узнал после Джамбула, а в этом городе он был с Карабалой. Точно: с Кривым они познакомились в Арыси-второй, потом вместе попали в Чимкент. Но теперь, во сне, этот противный урка, усмехаясь своим большим ртом и вообще вихляясь, как это он умел, стал поправлять грязную повязку, закрывавшую его левый глаз, выбитый во время драки с ташкентскими блатными. При этом он лез в карман, где, как знал Серёжка, всегда лежит настоящая финка, и тут Серёжка поверил, что нет, это не сон, это... Он застонал и проснулся. Над ним стояла Маша. Она прикасалась к нему как раз в том месте, куда он положил сверток с салом.

— Вставай, хлопчик, вставай, — говорила она, умеривая свой сильный голос, — полезай на пичь, там тепло.

И так ему было радостно и безопасно слышать эту смесь украинского с русским, так до слез приятно понимать, что он не “на воле”, а в жилище добрых людей, что он вдруг улыбнулся Маше, и улыбка эта, неожиданная на его хмуром желтом лице, получилась такой благодарной и обезоруживающей, что и Маша засмеялась, показывая крупные зубы, и тут же, шутя, но чувствительно, хлопнула его по спине, выпроваживая на печь.

За окном начинался буран, в трубе выл ветер. В комнате похолодало. Хибарка не предназначалась для жилья постоянного, это была подсобка, временка, что-то вроде кормокухни или сторожки. Оштукатурили ее кое-как, даже окна пригнаны на глазок, сестры затыкают щели тряпками.



Но на печи тепло! Серёжка с удовольствием полез туда, но, когда Маша с Наташей стали укладываться рядом с ним, точнее, по обе стороны от него, он удивился — ему никогда не приходилось спать с женщинами рядом, так близко, так запросто, но он был такой усталый и разморенный, что не успел как-то отозваться на это, подумал — и уснул.

Но и эта ночь не была для него спокойной. Сначала как бы из пустоты послышался голос, и было непонятно, кому он принадлежит — взрослому или ребенку, женщине или мужчине, потом к нему стали присоединяться другие странные голоса, распиравшие голову, и наконец из этого жуткого хора выделился тоненький детский голосок и чистейшим дискантом пропел: “Мо-ей причины плоскогубцы, тво-ей при-чины сор-ван-цы!” Серёжку охватил ужас, потому что невозможно было как-то объяснить, что все это значит, это было стихийное и запредельное... Он проснулся. Было страшно и обидно, — хотя боялся он не кого-то или чего-то конкретного, — именно эта размытость, невоплощенность ужасала его. И в какой связи вспомнились ему зимние вечера сорок третьего года? Зима была сырая, оттепельная, хотя само это слово “оттепель”, произносимое взрослыми детдомовцами, казалось Серёжке неточным и даже издевательским: какая может быть оттепель, когда вокруг так промозгло, когда холод страшней, чем в любую буранную стужу? Они, малыши, редко ходили в столовую по вечерам, потому что жили тогда в отдаленном бараке. Обычно туда отправлялся кто-то из старших с двумя дежурными — они приносили сухомятку... Чаще всего это был кусочек кукурузного хлеба и мерзлая луковица. Для экономии в бараке зажигали всего одну керосиновую лампу, да и то в том конце, где обосновались старшие. Никогда не было точно известно, сколько времени придется ждать посыльных со скудным вечерним пайком. И многие задремывали от слабости.

А когда пришедшие из столовой вручали им кусочек хлеба с луком, они, полуспящие, полусонные, съедали этот несчастный кусочек хлеба и потом окончательно просыпались от чувства невероятного голода. Казалось, кто-то специально придумал это издевательство...



...Дед, подтапливая котел, из которого пахло теперь распаренной картошкой, увидел, что парень держится за живот, накинул на него свой тяжелый кожух и усмехнулся, говоря:

— Це нычого, обвись молока с картохами. Бежи на двор...

Когда Серёжка вернулся, сторож усадил его на стульчик возле себя.

— Ось, я тобі бурячка испик!

Печеная свекла, с прижаренной корочкой, с выступившей местами патокой — это была вкуснятина! Новичок начал успокаиваться после своего ужасного сна. Тем более что дед, закуривая, протянул и ему кисет и газетку. Серёжка накурился и сидел рядом со сторожем, глядя, как в топке схватывается, сжимается в комок, изгибается солома, а внутри остаются негорелые ступки, и надо их ворошить кочергой. Ему было странно, что он может так спокойно думать о горящей соломе и слушать, как дед негромко напевает: “Стоить гора высокая-а, а пид горою гаюгай”. Почти неосознанно Серёжка держал руку в кармане, где у него был шматок сала, подаренный дедом. Сам же сторож, заметивший, куда парень спрятал свой сверток, улыбнулся в усы.

Как часто не хотелось просыпаться по утрам в прежней его жизни! Еще в полусне вспоминал, где он — в детдоме, колонии, ремесленном училище или “на воле”... и что, и кто вокруг... и что впереди... и что сейчас, когда встанешь? Иногда вовсе бы не просыпаться! Уснуть летаргическим сном, — об этом часто мечтали полуголодные и вовсе голодные пацаны, — и проснуться в иные времена, когда ни войны, ни голода, ты уже взрослый и живи, как хочешь, никто тебе не указ!

Но это мечты... А вставать все же нужно. Так нельзя ли хотя бы оттянуть подъем на полчаса, чтобы продумать и прикинуть, что и как. Если, например, сегодня суббота и нужно убирать территорию, — это одно, а если и суббота, и территория, но на завтрак тыквенная болтушка без хлеба, — то это другое, двойная неудача. А могло сойтись еще хуже: если ты, кроме всего прочего, еще и “дневальный” — так по-солдатски назывались обязанности тех же дежурных, но не по кухне, а по бараку, подметать и мыть полы в этом необъятном помещении! Просыпаться в такие утра было мукой... Еще не открывая глаз ты представлял все закоулки под кроватями и под тумбочками, все выемки и щели, в какие надо проникать, — от одной мысли болела сорванная спина.



Но страшнее всего было проснуться должником. Проигрался в “очко”, в “буру”, в “орлянку”... да мало ли во что! Или же просто занял у кого-то горбушку до завтра – одолжил на время, всего на сутки, но с тем, чтобы завтра отдать уже полторы или две нормы, – жить-то хочется сегодня! Но и “завтра” наступало!

Ростовщики – вот кого ненавидели все: и “воры в законе”, и простые “доходяги, суки и шестерки, щипачи и домушники”...

С ростовщицеством было связано самое жуткое воспоминание в его жизни.

Они с Карабалой лежали на втором этаже колонистских нар и не дыша слушали, как два блатяка Дрын и Пегий сговаривались утопить в уборной горбатого Виталика, ростовщика, которого кто-то из книжечеев, – а среди блатных попадаются заядливые книжники! – прозвал Цахесом, прочитав повесть Гофмана. Долгими вечерами, а то и до глубокой ночи один из колонистов рассказывал “рóман”, к примеру, “Белый ужас” – покоритель мужских сердец” или “Черный ужас” – покоритель дамских сердец”... Все эти душещипательные истории представляли из себя смесь придуманного и вычитанного из книг. Конец должен был быть всегда счастливым: воры побеждали “лежавых” – милиционеров, прокуроров. Причем “Белый ужас” побеждала своей красотой и находчивостью, а “Черный ужас” – своей смелостью и вероломством.

Но история с колонистом-ростовщиком не была похожа на сказку, нет, ничего сказочного – один ужас, настоящий, не белый и не черный, такой, какой он бывает только в жизни.

Длинный и хлесткий Дрын курил анашу, на воле у него были связи с дунганями и казахами, продавцами наркотиков. По слухам, за ним числилась и “мокруха”, то есть убийство. Крепыш Пегий ухитрился подхватить малярию, да такую, что в минуту приступа он был слабее мухи. Его и взяли в Манкенте, когда он, обшарив все углы и закоулки “хавиры” (дома), был застигнут приступом и залез в хозяйскую перину погреться.

Карабала первым услышал шепот блатных и одними губами передал начало их разговора Серёжке.

Цахес давал в рост деньги, сахарки, горбушки, “бациллу” (масло)...



Он “забугрил”, то есть поработил, всю колонию, но терпение блатных кончилось, когда он потребовал в уплату за долги живой товар — Пашеньку-сучонка; тот в свои четырнадцать лет был уже опытной и знающей себе цену “девочкой”.

Серёжка с Карабалой не знали, как им быть: “настучать” они, конечно, не могли, предупреждать Цахеса было небезопасно, а главное то, что им не было жалко горбуна. И все же уснуть в ту ночь они не смогли. Утром Цахесу предстояло выносить парашу. Он разбудил соседа и пообещал ему скостить долг, если тот поработает за него. Белоголовый мальчишка, дуриком, за компанию, попавший в колонию, сразу же согласился, но его оттеснил от параша Пегий.

Цахес попытался поднять шум, чтобы разбудить блатных, которых он подкармливал, но, весь желтый от лихорадки, крепьш приставил ему к горлу финский нож и заставил поднимать зловонное судно.

Так вдвоем они и проследовали в уборную, а оттуда вернулся один Пегий. Через неделю в колонии устроили капитальную проверку, “шмон”, но никого и ничего не нашли, и только спустя полгода тело обнаружили золотари...

...Зато как радостно было просыпаться в день дежурства по кухне. Зима на дворе и нужно рубить саксаул, носить из дальнего арыка воду, слякоть осенняя или весенняя, а в твоих ботинках хлюпает вода, и сырой курай никак не загорается, — все это не страшно, потому что ты — дежурный по кухне! Ты самый счастливый и уважаемый человек. Ты еще только проснулся, столовая закрыта, вставать рано, но уже с десяток пацанов ждут, когда ты откроешь глаза.

“Слышь, Серёга, бери мои ботинки, твои ведь текут... а-а, не налазят, жалко, может, возьмешь шапку!” — “Да ладно тебе, я и так принесу, что смогу!” — обещаешь ты. “Серёжка, вот тебе книга, ты ведь просил”, — и тебе в руку суют затрепанную, но такую вожеленную книжку Дюма “Двадцать лет спустя”...

Кто-то предлагает наносить воды или нарубить дров. Хотя ребята знают, что вечером ты поделишь с ними свою добычу: десятка полтора печеных картофелин, два-три початка кукурузы и лепешку-тапанчу...



Дежурство

Когда они с Гришкой Пантюхиным вышли из барака, в селе кричали петухи. Еще невидимое солнце озолотило дальние вершины Тянь-Шаня. Двери конюшни были открыты, оттуда тянуло запахом сена и навоза, доносилось позвякивание сбруи и отфыркивание лошадей. Егор Алексеевич готовился запрягать и ехать на подсобное.

— Вы что, ребятаки, дежурные? — спросил он, подводя лошадей к бестарке.

— Да, — отозвался толстогубый увалень Гришка, — а вы на подсобное или за хлебом?

— Нет, брат, — ответил Егор Алексеевич, глядя на ребят рассеянно и грустно. — Хлеба не будет. Я на подсобное.

Сторож оправил руками бороду и усы и уселся на бестарку.

— Так вот, ребятаки... так вот... Война... — Егор Алексеевич подернул вожжи.

Они шли в столовую, веря и не веря тому, что сказал сторож, он же и конюх детского дома. В последнее время нормы хлеба снизили до ста пятидесяти граммов. Правда, была осень, ребята подкармливались в садах и особенно огородах — кукурузой, соей, яблоками. Кое-кто позапасливей заготавливал впрок, на зиму все, что удавалось добыть. Для этого дружки изготавливали из простыней и наволочек тару для лущеной кукурузы, сои, бобов. Все это сушилось и пряталось в подвал единственного корпуса для малышей, где были настланы деревянные полы...

На кухне ребят встретила повариха тетя Нюра, полная, всегда как бы распаренная и сонная. Она сидела на маленьком стульчике и, позевывая, чистила картошку.

— Молодцы, робята, раненько устали! — повариха была из Белоруссии. Она высыпала из фартука в корзину картофельную кожуру, зевнула, и вдруг лицо ее стало хмурым.

— Хлеба-то ня будить, робята. Придется лепешки пекти, а мука, считай, вот она и уся. Ну, на один раз, може, и хватить, а тады чего, а?

Ребята молчали, а она, подойдя к ним, задрала Серёжкину рубашку и сыграла у него на ребрах костяшками пальцев.

— Боюсь я голода, ох, боюсь!.. Помню, як у тридцать третьему годи...



— Да ладно, тетя Нюр, чего вы так, — успокоил ее Гришка, и она тут же закивала, соглашаясь и вытирая слезы.

— Надо наносить воды два котла, принести соломы, будем печь лепешки да варить борщ. Чего же это моя помощница не идет?

— А кто сегодня дежурит из девчонок? — спросил Гришка.

— Да, кажись, Татьяны Петровны девочка.

Гришка покраснел и отвернулся. Серёжка знал, что его старшему другу нравится дочка воспитательницы, Женька. Она и ему, Серёжке, нравилась, но, наверно, как-то по-другому.

Они взяли чан и пошли по воду. Возле урючного сада, который пожелтел и наполовину осыпался, сходились два арыка, а чуть в сторону, пониже, был родник, и вот из-за этой-то смешанной родниково-арычной воды и шла война между детдомовцами и местными жителями — казахами, дунганями и киргизами. Детдомовцы делали запруду, чтобы вода настаивалась, была чище и чтобы не возиться с ковшиком, а набирать сразу ведром или даже чаном. Сейчас, осенью, когда всё было убрано, с водой было полегче. Двое дежурных зачерпнули почти полный чан воды и вынесли наверх. Дорога возле урючного сада была засыпана листвой, ноги скользили, да и чан был тяжел, дежурные часто оттаивались, менялись местами. Выходило солнце. Его первые лучи как бы приблизили вершины Тянь-Шаня, по дороге поползли длинные тени, всё вокруг окрасилось в желто-горячий цвет.

Метров за двести от столовой их встретили тетя Нюра и Женька, но ребята сделали вид, что не понимают, чего от них хотят: неудобно было уступить чан женщине и девчонке.

— Мальчишки, вы уже уморились, чего хвастаете?! — звенел Женькин голосок. Поверх цветастого выгоревшего платица на ней была коричневая вельветовая куртка.

— Нехай нясуть, крепча будуть!

Они еще раз сходили к роднику, потом наносили соломы и стали топить печь. Горящая охапка змеилась, пыхая наружу. Из котла шел дымок, пахло прижаренным тестом. Тетя Нюра ловко поддевала ножом лепешки, быстренько их переворачивала и кидала в тазик, стоявший на глиняном полу.

— Ну-ка, малыцы, испробуйте! — Она разломила лепешку на три части, смазала коровьим маслом и дала дежурным.



Женя по локоть вывозилась в тесте, на лоб ей падали волосы, она подошла к ребятам и попросила:

– Эй! Повяжите голову полотенцем.

Они переглянулись. Гришка покраснел и кивнул Серёжке, а сам отвернулся. Серёжка сделал ей тюрбан и подмигнул.

Во дворе уже слышались детские голоса. Ребят тянуло к столовой. Нет-нет да и просунется в дверь чья-то сонная мордашка, потянет носом, вздохнет и уставится жалобно на повариху и на дежурных. В первые дни своей работы в детдоме тетя Нюра не могла выносить такие взгляды, спешила что-нибудь дать пацану или девчонке, но потом поняла, что паек есть паек: дашь одному – обделишь другого.

Привела своих малышей и Татьяна Петровна.

Воспитательница была тоненькая, с узлом светлых волос и в ситцевом платье из той же материи, что и у ее дочери.

– Здравствуйте, ребята! Добрый день, Анна Федоровна! Это правда, что хлеба не будет?

Тетя Нюра смотрела на нее ласково. Кто еще, кроме Татьяны Петровны, называет ее по имени-отчеству? Да разве дело только в этом. Воспитательница, точно насадка, целыми днями возится со своей малышкой. Вот они шумно рассаживаются и набрасываются на лепешки, жадно прихлебывая молоко.

– Мама Таня, а я еще хочу пышки!

– Татьяна Петровна, а нам всегда будут давать лепешки?

Воспитательница ходит от стола к столу.

– Заставь ты ее поест, а то усе раздасть! – Тетя Нюра, почкаивая головой, подтолкнула Женю к окошечку.

– Мам, ты бы поела, а то остынет...

– Да, да, Женечка, я сейчас...

– Добрый день, Нюрочка, – послышался масляный голос, и на пороге вырос Игорь Иванович, длинный, кадыкастый воспитатель. Из-за плоскостопия или чего-то такого его не взяли на фронт, и ребята с детской жестокостью презирали и преследовали его. А у Жени были особые причины не любить этого человека – все знали, что он увивается за ее матерью. Во время громкого чтения или на собрании кто-нибудь из ребят вдруг кричит: “Пацаны, Танечка идет!” У Игоря Ивановича дергалась шея, он краснел как рак и кричал: “Вс-стать, бесс-стыдники! Выйти вон!”



– Садитесь, Игорь Иванович, садитесь, – приглашала повариха, делая радушный вид и усаживая его на табурет, но так как руки у нее были в муке, то на плечах полувоенной рубашки воспитателя отпечатались расплывчатые белые погоны.

Дежурные успели испечь картошки и уже раза два выходили из кухни проведать и подкормить своих дружков. Обеденный борщ доваривался, когда повариха послала ребят за конюхом:

– Картошка уся вышла, нехай опосля обеда едять на подсобное...

– Так он же сегодня уже ездил! – удивился Гришка.

– Ен... – тетя Нюра запнулась, – ен ня туды ездил...

– Я схожу, ладно, тетя Нюр, – вызвалась Женя.

– Ладно, коли...

Женька вышла, но через несколько минут вернулась взволнованная.

– Ты чего, Жень? – спросил Серёжка.

– Теть Нюр, он заболел...

– Заболе-ел? – протянула повариха. – Маме-то сказала? Горе тай годи!

Женька вызвала из столовой мать и зашептала с нею.

– Егор Алексеевич заболел, – только и услышал Серёжка. Но отчего у них у всех такой таинственный вид, точно они никогда не видели больных?

– Вот что, ребята, Егор Алексеевич приболел, а ехать надоть...

– Да мы и съездим, тетя Нюр, маленькие, что ли?! – убеждал повариху Гришка. Женька бросила на него благодарный взгляд.

– Лошадей-то запряжете? Ладно уж. Беритя мешки, а лопа-ты там есть.

Они втроем запрягли лошадей, настелили в бестарку соломы. На выезде из двора к ним снова подошла тетя Нюра.

– Гриша, ты старшой, ты это... на обратном пути, може, заглянули бы на кукурузное поле... Да только остороженько, как бы объездчик ня захватил...

– Ладно, ладно! – Гришкин басок дал петуха от такого важного поручения.

Выехали из села, и пошла выжженная степь. Было безветренно, в воздухе висела пыль. Ни единого деревца до самого Тянь-Шаня, только вдали на берегу Чу еле-еле зеленел кустарник. В степи пахло полынью.



– Ну чего ты молчишь, давай говори, что там с конюхом?! – спросил Серёжка.

– Ой, мальчишки, это тайна! Если бы я могла... Мама меня просила никому.

Видно было, что ей ужасно хочется поделиться своим секретом.

– Только вы никому, ладно, никомушеньки?! Понимаете, наш конюх – он вовсе и не конюх... ах, нет, сейчас-то он конюх... Понимаете, он больной, у него припадки, эпилепсия называется... Душевнобольной, а так здоровый...

– Больной, не больной, – пробормотал Гришка. – А почему он не конюх, кто же он? Да ты не бойся, Жень, мы никому не скажем, ей-богу, ну хочешь – слово всех вождей! Серёжка, клянись!

– Слово всех вождей!

– Да, вам хорошо! А его уволят... Если узнают – сразу уволят, потому что душевнобольным нельзя с детьми, а он тихий и добрый... Он, понимаете, он раньше был профессором в Ташкенте, в университете...

– Ух ты! – удивился Серёжка. – А что с ним случилось, отчего он заболел?

– Отчего, отчего... У него погибли сразу два сына, летчики, понимаете, он в один день получил две похоронки...

Они долго ехали молча. Каждый по-своему думал о том, что узнал.

Серёжке теперь казалось, что он и раньше замечал в конюхе что-то странное: этот его рассеянный взгляд, книги. Разве простой сторож и конюх будет читать такие книги, как “Всемирная история”, “Плутарх”, некоторые названия были такие, что Серёжка не мог их запомнить. Его самого интересовали совсем другие книги: “Спартак”, “Три мушкетера”, Аркадий Гайдар... И еще он подумал о корзинках и вазочках – их мастерски изготавливал из лозы Егор Алексеевич, чтобы продать или выменять на продукты, которые отдавал малышам.

Гришка был старше своего приятеля на целых три года, весной его приняли в комсомол, и он прямо на глазах сделался серьезным. Вот и теперь он не стал ни с кем делиться своими мыслями.

Рядом уже грохотала и пенилась Чу. До подсобного было еще километра три.

– Мальчишки, искупаемся.



Женя первая вошла в воду, не снимая платьица. Мальчишки стали нырять с трамплина, и никто не заметил, как быстрое течение унесло Женины розовые бантики. Теперь ехать стало прохладнее, да и пыли здесь было поменьше, все же рядом река. Мокрые Женины волосы свободно падали ей на плечи и колыхались от движения бестарки, платьице прилипло к телу, обозначив ключицы и комочки на груди.

Подсобное хозяйство детдома раскинулось прямо в степи, просто тут был не такой крутой берег Чу. Каждую весну ребята и взрослые проделывали кетменями арыки и канавы от реки к подсобному, но сейчас сушь была такая, словно эта земля вообще никогда не знала воды. На берегу стояла юрта, в ней жил старик Харитоныч, инвалид, потерявший на фронте левую ногу. Из юрты выскочила грязная, с отрубленным хвостом собачонка и кинулась на ребят.

— Пошел вон, Жучок, пошел вон! Это вы, ребята? А я немного соснул... Да и чего тут сторожевать, а? — он обвел рукой вокруг. Чахлые кустики картошки, наполовину уже выкопанной. Низкорослые стебли кукурузы без початков. Желтые помидорные кусты, также пустые.

— А Ягор-то чего не приехал, я его еще утречком ждал...

— Да он заболел, — негромко ответила Женя.

— А-а, — промычал Харитоныч, точно так же, как и тетя Нюра, и ребята поняли, что Женин секрет для взрослых давно не секрет.

Ребята подкапывали кусты, а Женя собирала картошку в ведро. Харитоныч разнуждал лошадей, положил им охапку подсохшего курая и стоял тут же, наблюдая за ребятами. Тяжело входили лопаты в закаменевшую землю.

— Это вить что за картошка, а? Ну чего есть детям, когда такая сушь? — говорил сам с собой Харитоныч.

Кое-как они набили верблюжий мешок картошкой, и, когда собрались уезжать, инвалид вынес из юрты две небольшие дыньки.

Людей в деревнях не хватало. Кукурузу расклевывали птицы, но указ о воровстве был строг. Получалось так, что лучше пусть все пропадет, но не достанется людям. Женщины и дети ближайших к Токмаку поселков и деревень разрывались между посевами риса и табака, ребят-детдомовцев гоняли на колоски, а кукуруза, прекрасная еда, пропадала. Конечно, если бы это поле лежало поближе к детдому, ребята по-своему справились бы с этой работой, а так им легче было промышлять в соседних хозяйских огородах.



Правда, к этому времени они были убраны. Иногда на это дальнее поле навевывались воришки из местных да детдомовцы, но воришек гонял Санжан, Мераб и объездчик. Камча дунганина с одинаковым удовольствием прогуливалась по спинам детдомовцев и пыльным рубахам его сородичей.

Поливные арыки, разбежавшиеся по полю, иссохли, земля пошла трещинами. Ребята знали местечко недалеко от въезда на это поле. Там – родник, вокруг него зелень, островок лета. Подогнали туда бестарку, распрягли лошадей, разнуздали их.

– Жень, ты у нас за часового. В случае чего кричи вроде как на лошадей: “Эй, куда вас понесло?!” – договорились? Да не бойся! – подбадривал девчонку Гришка.

С краю початков не было, торчали голые грубые стебли. Друзья, каждый с верблюжьим мешком в руке, продирались сквозь заросли. Дойдя до початков, принялись ломать и очищать их, чтобы больше влезло в мешок. Кукуруза так высохла, что малейшее прикосновение вызывало треск. Ребята увлеклись, разговорились, потом разошлись в разные стороны и, когда услышали треск, каждый подумал, что это другой пробирается к нему.

Серёжка оглянулся, услышав дыхание лошади и запах ее пота. Кинулся было бежать, но его остановил крик Жени:

– Мальчишки, объездчик!

Санжан чуть подал вперед своего серого, и камча опустилась на спину детдомовца. Он дернулся и закричал:

– Гришка, шухер! Гришка-а...

Санжан еще раз перетянул плеткой Серёжку и направил коня в сторону Гришки, бежавшего поперек поля к роднику. Сергей кинулся туда же, но проклятый мешок бил его по ногам, пришлось бросить его. Он слышал еканье селезенки Санжанова коня и видел, как старший товарищ бежал, не бросая мешка с початками и пригнув голову. Гришка добрался до каурого Матроса, который спокойно пощипывал травку, вскочил на него и закричал Жене:

– Веревку, веревку давай!

Сергей остановился, не понимая, что задумал его дружок, а тот, схватив с бестарки веревку, сложил ее вдвое и пришпорил коня в сторону Санжана. Сильно замахнувшись, этот увалень Гришка протянул объездчика по руке так, что его камча отлетела в сторону, а широкая соломенная шляпа повисла на ремешке, обнажив коротко остриженную черную голову.



— Хватай камчу! — закричал Гришка другу, и тот, подражая старшему, схватил плетку и перетянул ею коня объездчика, который отпрыгнул в сторону. Санжан не стал дожидаться следующего удара, он пришпорил коня и поскакал в сторону Карасая.

— Ой, мальчишки, это я виновата, задумалась, а он и подобрался... Ну-ка, покажи спину, Серёжка.

Он задрал рубашку, и они увидели на спине кровавый длинный рубец.

— Не больно, ей-богу, не больно!

— А что, мальчишки, не поедет он в детдом?

— Да ты что, Жень? Разве он дурак? Я думаю, что мы можем еще наломать кочанов. Теперь нас никто не тронет! — сказал Гришка.

Кое-как погрузили полнехонькие верблюжьи мешки на подводу.

— Аи да ребятки, аи да молодцы! — говорила тетя Нюра, смазывая Серёжке спину коровьим маслом. Они чувствовали себя героями. После обеда повариха пошла на часок вздремнуть. Когда за нею захлопнулась дверь, Женя прошептала:

— Мальчишки, сходим к нему, а?

Они сразу поняли, куда нужно идти. Стучать не пришлось: дверь в сторожку была приоткрыта. Здесь пахло стружками и столлярным клеем. Егор Алексеевич, сидя на топчане, плел корзинку. У его ног стояло корыто с водой, в котором отмачивались прутья. На столе лежал новенький перочинный ножик. Сторож обдирали им прутья и переплетали их с необходимыми или подкрашенными в разные цвета.

— Садитесь, ребятки, садитесь...

— Мы вам дыньку принесли, Харитоныч передал.

Егор Алексеевич быстро нарезал дыньку, стал угощать ребят. Воротник его серой сатиновой рубашки был расстегнут, и мягкие волосы на голове и такая же по тону борода отсвечивали голубизной, потому что и глаза у него были голубые.

— Так вы были на подсобном? — спросил сторож. — Картошки привезли?

— Ага! Мы и кукурузу привезли, — сдерживая смех, сообщила Женя.

Егор Алексеевич, улыбаясь, прощупал глазами лица ребят. На пороге показалась Татьяна Петровна. После яркого солнечного света она не сразу увидела ребят в полутемной комнате.



– Это мы, мам! – Женя вскочила и взяла ее за руку.

– А! Герои... Ну рассказывайте, что вы там натворили?! Это что же теперь будет, а?

– Не беспокойся, Танечка, – мягко сказал Егор Алексеевич, – садись.

Ребят поразило и то, что он назвал воспитательницу Танечкой, и то, что она приняла это как должное.

– А он не придет к нам жаловаться?! – все еще с тревогой спросила она.

– Жаловаться?! Да вы что, Татьяна Петровна, станет он позориться. Вот его камча!

– Прямо разбойники! Вы видите, кого мы растим, Егор Алексеевич?..

Конюх нагнулся и вытащил из-под столика фигурную корзиночку:

– Вот он, заказ вашего врага. Я думаю, все уладится.

Друзья

Но еще никогда Серёжка не просыпался в таком настроении, какое у него было сейчас.

Правда, он и в сторожке сперва огляделся, что бы отыскать да съесть. И уже хотел было встать, обшаривать углы, но вспомнил, где он и что, и как бы вновь пережил вчерашний вечер.

Комната выстыла, но печка хранила тепло. Окно разрисовал мороз. Ходики на стене показывали начало десятого. Вот это храпанул! И никакой тебе зарядки, уборки и чего там еще! Пусть себе трещит мороз – никто тебя на улицу не гонит!

На столе стояла алюминиевая миска, накрытая полотенцем, вчера в ней были остатки картошки в мундире. Да вот оно – сало! Он вытащил из кармана нагретый сверток, в это время под окном заскрипел снег, и вошла Наташа.

– Проснулся? Захочешь есть, в духовке затирка.

Она искала рукавицы, а Серёжка, сидя на печи, разглядывал ее. Хотелось заговорить с нею, но о чем? Она почувствовала его взгляд, и ее румяное лицо стало пунцовым, а движения скованными.

– Что вы ищете? – спросил он, хотя слышал, как она ругала “ции прокляти рукавыщи”.



— Подывись, хлопчик, чи там их немає? — спросила она, избегая глядеть ему в лицо. И когда он подал ей матерчатые, стертые на пальцах рукавицы, она угловато повернулась и поспешила уйти.

Сергей сидел, вспоминая ее лицо, румяное, полнокровное, доброе, казавшееся круглым оттого, что она была повязана платком до бровей. Вспоминал ее смущение, которое так не вязалось с ее плечами и грудью, распиравшими фуфайку. А потом представилась Маша, такая же простодушная и крепкая, даже еще крупнее, и вдруг ему стало неудобно: они там работают, а он валяется, как барчук или блатной...

Он вытащил из духовки миску, быстро похлебал затируху, сваренную на перегоне. Потом отрезал тоненький кусочек сала и положил за щеку — как кладут конфеты.

Ботинки его за ночь ссохлись, он сунул ноги в чьи-то черные, подшитые на пятках валенки, снял с гвоздя старую просторную фуфайку и вышел на улицу. Было солнечно и морозно. На юге слепили глаза снеговые отроги Тянь-Шаня, казавшиеся в солнечную погоду совсем близкими. На противоположной стороне дороги тянулись выбеленные деревенские хаты, на пирамидальных тополях, запушенных инеем, сидели галки. Видно было, что тут живут переселенцы с Украины. Возле домов малышата катались на санках, сюда доносились их звонкие голоса, лай собак. До сараев было метров пятьдесят. Сергей, поживаясь в широкой для него одежде, увидел, подходя, кочковатый пол и толкавшихся у корыт тощих и грязных свиноматок.

Маша с Наташей стояли у деревянной клетки, по которой ходила, повизгивая, большая, с отвисшим брюхом свиноматка. У нее уже налились соски.

— Ух, яка ж ты у нас госпожа! — смеясь, говорила ей старшая сестра. — Надо сказать диду, шоб поглядев за нею...

В загородке стояли сани. Сестры стали выносить навоз. Серёжка, глядя, как вроде бы легко они это делают, тоже принялся за работу. Но сначала он никак не мог набрать в грабарку навоза, потом, видя, что сестры берут его с краешка, как бы подскребывая при этом землю, сделал так же. Теперь нужно было вынести то, что он подцепил, но нести оказалось еще труднее, хотя, на взгляд со стороны, сестры просто шли вослед за своими полными грабарками.



– Вишь, работник! – сказала Маша сестре, потом крикнула ему: – Бежи у хату, ще наработаешься.

Он промолчал, набирая в грабарку навоз.

– Эй, ты! – услышал он тоненький голосок, возвращаясь после очередной удачной попытки. Голосок был срывающийся, девчоночий. Сергей оглянулся: посреди база стояли мальчишка и девчонка, очень похожие друг на друга. Мальчишка был лет четырнадцати, коренастый, в фуфайке и валенках, через правое плечо на шнурках висели коньки-снегурочки, из-под шапки выбивались рыжие волосы, да и лицо было в веснушках.

В Серёжиной голове сразу вспыхнули две мысли. Первая: домашняки, а с ними надо драться или выманить у них “мандру”, то есть хлеб. “Домашняя вошь, куда ползешь? В детдом под кровать – простыни воровать?!” Рыжий по виду сильнее его, но он зато старше и, конечно, ловчее.

Девчонка выглядела года на два моложе брата. Она была в коротком черном колушке и в мальчишеской шапке. Лицо, хотя и обветренное, нежно-розового цвета, как это бывает у рыжих.

Пока Сергей их рассматривал и соображал, как поступить, пока он неосознанно надвигался на них, они пятились к ограде. Упершись в хворостяной заборчик, рыжий так и застыл, а у девчонки было такое выражение, что она сейчас что-то выкрикнет, начнет смеяться и дразниться.

– Ну, вы чего? Вы кто? – спросил Серёжка, тоже останавливаясь и чувствуя, что без причины ему как-то неудобно лезть в драку, да и хлеба просить было неудобно, хотя прежде он проделал бы и то и другое не задумываясь. Не та обстановка.

Положение было глупое, и недавний колонист бессмысленно твердил:

– Ну, чего вы? Кто вы?

– Мы – ништо! А ты – хто?! Кто?! – выкрикнула девчонка тоненько и с такой интонацией, когда от человека можно ожидать и слез, и хохота. Что-то в ней задевало Серёжку. Этот ее колушок, отчаянное выражение лица и выбившиеся из-под ухарской шапки длинные волосы.

– Ну, раз вы ништо, то и я ништо, – сказал новичок и внезапно рассмеялся – неожиданно для себя.



— Ой, Лёнька, бачишь! Бачишь! Я ж казала, казала! — выкрикивала девчонка, дергая брата за рукав и указывая глазами на смешную Серёжину беретку. — А нам дид усе рассказав, ага! — отчаянно взвизгнула она и совсем отдалась веселью. Теперь разморозился и мальчишка: глядя не на Серёжку, а на сестру, у которой текли по щекам крупные прозрачные слезы, он схватился за живот, даже коньки съехали с плеча в снег.

— Ой, Галька, замовчи, не могу, не могу!

— Познакомылись?! Ну и гарно! Верить его, нехай гуляе, — говорила Маша, стоявшая посреди база с улыбкой.

— Пойдешь на коньках кататься? — спросила девчонка. Она дотронулась до его плеча рукой в белой варежке, и он увидел, что и глаза у нее какого-то рыжеватого оттенка, и кивнул, соглашаясь.

— Не-е, — помотал головой Лёнька, — айдате сперва до Васьки.

Они пошли в сарай и остановились у самой крайней, добротной клетки. В ней жил-поживал Васька, откормленный кабан. Сейчас он нехотя ковырялся своим пяточком в корыте, выплескивая хлебово из картошки, присыпанной отрубями и приправленной обратом. Пол вокруг этой клетки был подрыт, зацементирован и опять подрыт: всегда голодные Васькины сородичи всячески пытались пробраться в эту клетку.

— Васька, Васька! Видишь, якый вин важный! — Лёнька почесывал кабану бок, а тот в благодарность похрюкивал и прилегал на руку.

— А чего он такой? — спросил Серёжка, уж очень отличался кабан от других свиней в сарае.

— На посевную откармливают, весной будут резать, — отвечал Лёнька. Серёжка убедился, что он прекрасно может говорить по-русски.

— Что, одного зарежут? А хватит?

— Дак на всех-то не хватит, а что ж теперь, кормов-то мало... Вот когда наедемся мяса, правда, Галька?!

— Жа-алко Ваську, — протянула девчонка.

Кабан был такой округлый, чистый, розовый, что колонист невольно дотронулся до кармана, где у него было сало в газетке. Он подумал, что стоит поделиться с новыми знакомыми, но тут же отогнал эту мысль, найдя простое оправдание: сало принес ему дед, а они дедовы внуки, значит, у них всё есть. Но отчего же



они мечтают наесться досыта мяса? Да и по виду не скажешь, что они так уж раскормлены. Нет, их, конечно, не балуют.

От Васьки отходить не хотелось, так и тянуло почесать ему бока и почувствовать на руке тяжесть, а потом трудно было смотреть на тощих, точно гончих, свиней. Особенно жалко было свиноматок с отвисшими до полу пустыми сосками.

Маша и Наташа кончили убирать в сарае, но был еще один такой же, и Серёжка подумал, что будь у него побольше силёнок, он обязательно помог бы, а то он уже устал и замерз. Кроме того, ему было не по себе из-за проклятого сала. По неписаному закону полагалось беспризорнику никогда не жадничать. И тут выручил случай. Когда он с дедовыми внуками вышел из сарая, Галя сказала со вздохом:

— Ой, мальчишки, и есть же хочется!

— А у меня вот сало! — с облегчением сказал Серёжка. — Только хлеба нету...

— Хлеба я зараз принесу, — сказал Лёнька, — держи коньки.

Так у новичка появились новые друзья.

Кителя

Как-то утром Серёжку разбудил стук в окно. Дед ушел после дежурства домой, а сестры управлялись в сарае. Парень пошел открывать двери, увидел почтальона — и у него остановилось дыхание, но длилось это недолго; он прочел отпечатанный на машинке адрес и усмехнулся: “Ты-то чего, чудак?!” Письмо было адресовано Маше, а ему, Серёжке, давно уже никто не писал — некому было... Он смотрел на конверт, сидя на лавке, и вспоминал...

В детдоме приносили почту рано утром. У почтальона-дунганина были редкие волосы на бороде и как бы застывшее лицо. Впрочем, вблизи Серёжка так его ни разу и не увидел. Домик воспитателей находился метрах в пятидесяти от мужского общежития. Почтальон стучал в угловое стекло, и к нему тотчас выходил сторож, он же и конюх. Оба знали, что за ними наблюдают из барака, а сторож чаще всего знал даже, кто именно, потому что раньше всех вставляли дежурные по кухне. Он всегда становился спиной к бараку, но обмануть ребят ему не удавалось...



Если была похоронка, он резко выхватывал письмо из рук дунганина или же его собственная рука на мгновение повисала, и почтальону приходилось всовывать в нее письмо.

Серёжка получил свою последнюю похоронку в сорок четвертом, но каждый раз, когда он видел почтальона, ему становилось не по себе...

— Эге! Вот и оно! — с усмешкой сказала Маша, распечатывая конверт.

— Налог? — спросила Наташа.

— А то шо ж! — Она резко скомкала конверт и бросила его в топку. И внезапно с какой-то странной усмешкой быстро оглядела Сергея, его фигуру, но когда он поднял лицо, она отвернулась и хмыкнула. Ему стало не по себе, и он поспешил выйти на улицу.

— Я на коньках...

В те дни у него не было еще никаких обязанностей, он, правда, старался помогать сестрам, но был слаб и быстро уставал.

Обязанности появились сами собой.

Как-то после обеда сестры сидели на скамейке и чистили мелкую картошку, а он, примостившись на другой лавочке, читал принесенную Галей книжку “Макар-следопыт — соколиный глаз”.

— Чего ты там все усмехаешься? Хоть бы нам почитал, — сказала Маша, и он стал читать вслух. Сестры ойкали, удивляясь приключениям мальчишек, которые из-под носа у белогвардейцев уводили машину и даже самолет.

И вдруг в дверь постучали.

Маша вышла на улицу и тут же возвратилась с высоким парнем в полушубке, солдатской шапке и валенках. Через плечо у него висела сумка-планшет. Он напоминал Серёжке плакатного солдата времен войны. По выражению лица и жестам было видно, что парню хочется выглядеть постарше и посолиднее.

— Та-ак! — сказал он, оглядываясь и скидывая полушубок. По мере того как он убеждался в бедности окружающей его обстановки, взгляд его оттаивал, и наконец лицо стало растерянным.

У него оказался такой же, как у Серёжки, китель, но, конечно, поновее и по фигуре. И сестры, и сам Сергей сразу обратили на это внимание, и им стало смешно — очень уж разными были эти двое в кителях!



— Ага! — сказал пришедший. — Еще и смеемся?! — Он вытащил из планшета блокнот, ведомость и, строго сведя на переносице черные брови, сказал:

— Мария Ивановна Федосюк?

— Ага! Я... — ответила Маша, широко улыбаясь.

— Наталья Ивановна Федосюк?

Наташа кивнула и покраснела. Было видно, что ей очень нравится налоговый инспектор, молодой, чернобровый, ухоженный, от него даже пахло одеколоном. Наташа не могла смотреть прямо в глаза ему.

— Значит, веселимся? — сказал он с наигранной строгостью, чтобы подбодрить самого себя. — Эт-то хор-рошо! Но вот кто за нас будет платить бездетность, а? Пушкин?!

— Да чем же ее платить, денег-то нету, не дают? — отвечала Маша, все еще улыбаясь.

— Что значит нету денег, вы же работаете, живете...

— Ще и як работаемо! — вскричала Маша и вскочила на ноги, собираясь выйти из-за стола.

— Нет, вы сидите, гражданочка, вы сидите, — почти растерянно сказал пришедший. Серёжка видел, что он уже не знает, как выпутываться из этой истории. Он, кажется, сочувствовал сестрам.

— Да ты знаешь, сколько мы зарабатываем? Не знаешь, так я тебе скажу: по два трудовня на каждую у день, четыре штуки, понятно?! Мало тебе?! Ну и вычитай, что там положено... Та чи ты не русский?! Где же они, те мужики, чуешь? Дети-то звидкиля берутся, а? — захохотала Маша. — Я ж тоби не святая Мария?!

— Мое дело сказать... А так что ж, я понимаю... Да вот вроде обещают в этом году дать на трудовень...

— На то и надеемся, — сбавив тон, отвечала Маша. — А насчет налога будем что-нибудь думать. А то, может, и мужичишка где заваялся, а?! Ты не знаешь? — и оглядела инспектора с ног до головы.

Парень взял свою одежду и стал поспешно прощаться. Его ладонь утонула в Машинной, зато рука Наташи вдруг обмякла в его руке, и все на миг растерялись. Налоговый инспектор быстро выбежал на улицу, неся в руках полушубок и шапку.

— Ну и чоги ты тут рассилась, як мужика сроду не бачила?! — закричала Маша на сестру. Та всхлипнула и в одном платье, как была, выбежала на улицу. Но через минуту вернулась и, задыхаясь, закричала:



– Ой, опоросылась! Вже чи зыла одного...

Маша быстро накинута на плечи фуфайку и бросилась к дверям. Сестра за нею. Серёжка тоже потянулся к гвоздю, чтобы схватить какую-нибудь одежку. Внезапно Маша остановилась у порога, покрутила головой:

– А ты куды, китель?! Мужик тоже мне... Поняй за соломой...

Он знал, что ему надо пойти на МТФ, находившуюся почти напротив сторожки, по другую сторону улицы, запрячь в арбу волов, набрать из скирды соломы и привезти на свинарник. Все проще простого, но ничего этого он делать не умел.

Он вошел во двор МТФ, и, на счастье, там оказался казах-молоковоз, выгружавший из саней пустые бидоны. Это был тот самый человек, что дал ему докурить в день приезда.

– Дядь, надо привезти соломы, а я...

– Ха! Соломы... – молоковоз взял его за руку и повел к сараю. Здесь пахло навозом и жвачкой. Казах отвязал от яслей черно-рябого вола, у которого выпирали на боках ребра, и протянул веревку парню:

– Держи налыгач...

Сергей потянул за веревку, и вол, не упираясь, но и не спеша, обдав его теплым дыханием, пошел за ним. Молоковоз привел второго вола. Когда подъехали к скирде, оказалось, что Серёжка забыл взять вилы. Пришлось бежать на свинарник.

В котельной стоял визг. Сестры возились с поросятами. Наташа стелила в большую кошелку солому, брала в руки маленькое розовое тельце, говорила что-то ласковое, точно ребенку, и отправляла новорожденного в теплое гнездышко. Маша, держа в правой руке поросенка, а в левой бутылочку молока, запихивала ему в рот соску.

Серёжка схватил вилы и бросился к скирде. По неопытности он не мог делать это простое дело, вилы вертелись в его руках; молоковоз, покачав головой, сам принялся нагружать арбу.

– Учиться надо, – говорил он, тщательно подбирая русские слова, – запрягать, нагружать, – и похлопал парня по плечу, – понятно?

С волами новичок приспособился управляться через неделю: спокойно стоял в арбе на дышле и покрикивал: “Цоб-цобе!” А вот с вилами дело было туго. Не только Лёнька, но и Галя работали быстрее и ловчее его. Лёнька легко набирал и вскидывал полные навильники, а Серёжка то и дело натыкался на смерзшиеся куски половы.



— Да не так ты держишь, вот неумека! — кричала снизу Галя. Она вскарабкивалась на арбу, оттуда на скирду и спокойно, точно без усилий, набирала хоть и небольшие но хорошо очесанные навильники. Понемногу и Серёжка приспособился как бы подкручивать вилы и подавать их на себя, а уж потом отправлять в арбу.

Вечером того дня, когда приходил налоговый инспектор, сестры долго не ложились спать. Они возились с поросятами и рассказывали деду о дневных событиях. Решили выгнать самогону, продать его и заплатить за бездетность.

В эту ночь Серёжке начал сниться его кошмарный сон с глосами. Он так рванулся, что Маша проснулась и вскрикнула: “Ты чога?! Чога ты?! Спи, спи...” — и приобняла его своей мягкой рукой. Но от этого ему стало не легче, наоборот... Выравнивая дыхание, он слез с печи и подсел к деду.

На следующее дежурство сторож пришел позже обычного, когда совсем стемнело. За спиной он нес в рядке громоздкий предмет. Серёжка сообразил, что это и есть самогонный аппарат, — он видел, как сестры заквашивали брагу. Теперь они занялись бидоном и поросятами, а дед стал прилаживать аппарат к котлу.

Часа в два ночи всё было готово. Наташа вышла на улицу и, возвратясь в хибарку, сказала: “Метет, запаху немає, витер вид поселка...” На это сторож ответил: “Це гарно! Це то, що треба!”...

В бидончик сначала закапала, а потом полилась тоненькой струйкой остропахнувшая жидкость. Дед вытащил из кармана припасы: полбуханки черного хлеба, несколько моченых яблок и соленых огурцов.

— Сала бильше немає, — сказал он Серёжке и грустно улыбнулся. Перекрестившись, дед снял пробу.

— Ну и як вин? — спросила Маша.

— Дюже добрый! — отвечал сторож, вытирая усы. Маша также выпила спокойно, а Наташа задохнулась и закрыла лицо руками.

— Ну-ка, и ты спробуй, — дед протянул кружку Сергею. Тот отхлебнул глоток, и внутри у него загорелось. Дед сунул ему в руку кусок хлеба и моченое яблоко.

Маша приложила еще разок и, закусывая, засмеялась-закашлялась:



– Ой, диду, як бы вы бачили? Сыдять, голубчики, обы-два у кителях, ну той инспектор тай наш Сергей. – Она взъерошила парню волосы и на миг прижала его голову к груди...

– Эге ж! А чи гарный хлопец цей инспектор, га?

– Та, спросить у Наташки, вона аж рот раззявила!

– Да ну вас! – вспыхнула Наташа. – Пиду спать...

– Пиды, пиды, може, у во снi побачишь!..

Маша тоже ушла через полчаса. Серёжка остался со сторожем. Слышно было, как старшая сестра дразнит младшую: “Сюды б его зараз, а, Наташка?!”

Дед время от времени подставлял под струйку самогона кружку и помаленьку пьянел. Когда сестры затихли, Сергей спросил:

– А чего они сами живут? Ну, без мужиков...

– А де вони, тыи мужики? Яки на войни загнули, а ти, що прийшли до дому, не дже хочуть жениться. Вон, бачь, Машкин мужик, – есть тут такой тракторист-гармонист, бездельник, живет у соседнему сели... Вин, гад, пожив с Машкой мисяць, тут жив, у примах... а тоди каже: “Буду жить с Наташкой!” Га?! – Дед покрутил головой, отхлебнул самогона и закусил огурцом. – М-да! А Наташка, бачь, дивчина вже така, що и сама не против. Ха-ха-ха!.. Ну, тоди Машка як узьяла того Ивана за шкирку тай за порог!..

Деду стало жарко, он снял шубу, шапку, отодвинул стульчик и уселся прямо на пол – на солому.

– Стоить гора висо-окая-а, а пид горою гаю гай... –

начал сторож вполголоса, но не смог вытянуть верхние ноты, стал прибавлять – и закончил громко и хрипло.

– Може, глотнешь трохи, а? Зайшь яблоком, воно и иийде на пользу!

Серёжка так и сделал, но на пользу не пошло: он едва успел выбежать за порог, его вырвало.

– Э-э, – неодобрительно промычал дед, но ничего не сказал.

Подкладывая в топку солому, парень незаметно для себя стал подтягивать деду, и его звонкий голос пришелся впору, особенно в конце куплета.

Дед сидел на земле, весь седой, кудлатый, крупноголовый, и когда Сергей стал ему подпевать, улыбнулся и положил парню на плечо свою тяжкую руку.



— Я тебе, сынок-унучок, так скажу, — он погладил Серёжку по голове, отчего тому стало неудобно и он попытался отодвинуться, но дед крепко притянул его к себе. — Жизнь наша — вона и есть гора высокая... Вось ция проклята самогонка — это что такое, а? А это, я тебе скажу як, чи то, как на это дело посмотреть! Як его рассудить! Оно, конечно, дело запрещенное... Да налог-то платить надо? А чим его платить, як немає денег? Ты кажешь — мужики... Так вони и мужики придуть на самогонку! Вот тебе и гора высокая!..

Дед выпил еще разок, потом вдруг вскочил на ноги и затопал тяжелыми пимами, вскрикивая:

— Ух, ух, ух, ух! Як ходыв, ходыв козак!

Серёжка удивлялся, откуда столько силы у этого старого человека. Вот он попробовал пойти вприсядку, но высокие жесткие пимы не желали сгибаться, и сторож остановился, как бы раздумывая, не снять ли их, да махнул рукой, потом повалился на солому и тут же уснул.

Серёжка подкладывал в печь солому, пока не завизжали поросята. Он взял одного из кошелки и сунул ему в рот соску. Другие почуяли запах молока и тоже расходились, разбудили Машу.

— Готов старый, — она кивнула на деда, распластанного на полу, — напился...

Она укрыла сторожа его же шубой, надела на голову шапку, а Серёжку отослала спать. Он откатился подальше от пышущего тела Наташи и заставил себя уснуть... И пригрезилось ему перед сном...

Песочные часы

Серёжка, пошатываясь, вышел в коридор, и ему ударило в глаза горячее, яркое солнце. Он зажмурился и постоял так, держась за подоконник. Опять открыл глаза и увидел за окном внизу цветущий урючный сад, поросший травой больничный двор и пирамидальные тополя со взрослой уже, но нежной по тону и запаху листвой. Весна! Ой-ой-ой! Весна... Ура!

— Серёжка! — услышал он слабый, болезненный голосок. — Эй, Серёжка!

У соседнего окна стояла Женька — существо в коричневом балахоне, худющее, стриженное наголо, с огромными глазищами. Белая косынка подчеркивала худобу и бледность лица.



– Женька! Привет!.. – он слабо махнул рукой и вспомнил ее бывшие косички с розовыми бантами, скакалку, через которую она так ловко прыгает, скручивая и перекручивая веревку. А как она умела смеяться, та, прежняя Женька, дочка любимой воспитательницы Татьяны Петровны! Благодаря ей Серёжка узнал историю Егора Алексеевича.

У соседнего окна стояли остатки прежней Женьки. Ему стало жалко ее – хоть плачь!.. Но плакать как раз и нельзя, надо сказать что-нибудь небрежное, засмеяться, чтобы подбодрить ее, но его качнуло, и он едва удержался за подоконник.

– Встал?! Ну, молодцом, Полозов! Ну, молодцом! – рядом стояла нянечка, баба Катя, она улыбалась ему, поглаживая по плечу. У нее было широкоскулое серое лицо, белый халат висел на ней, как на вешалке, и видно было, что раньше она была широкая и полная.

– Пошли, дружок, уколемся, – нянечка потянула его за руку. На пороге небольшой комнатки, где кипела на примусе железная банка со шприцами и иглами, где стоял диванчик, она обернулась к Жене:

– А ты, доченька, приходи минут через пять.

Серёжку уложили на топчан, он зажмурил глаза, ожидая укола, но баба Катя завозилась со шприцем, и он схватил взглядом стоявшие на столе стекляшки, припаянные друг к другу. Из верхней в нижнюю сыпался песок. Поднявшись после укола, он протянул руку и дотронулся до этой странной штуки.

– Часы, – сказала баба Катя. – Песочные часы. Подержи, коли, да только гляди не разбей! Да покличь подружку-то.

– А, это песочные часы, я знаю, – сказала Женька.

– Ясно, что часы, по ним узнают время, иди лучше на укол, забоялась?

– Прямо тебе, забоялась, да меня уже колют, колют! Ты без сознания лежал...

Как цвел урючный сад! Как белели ромашки и желтели одуванчики!

Но хотя форточки и были открыты, а посреди коридора было даже распахнуто одно окно, больничный запах забивал все остальное. Как хотелось туда, на улицу! Сейчас бы повалиться на траву и валяться на ней, кататься по ней. Весной, когда зелень была в самом соку, он не раз мечтал быть коровой или другим жвачным животным,



чтобы наслаждаться сочной свежей растительностью! Серёжка почувствовал такой страшный голод, что перед глазами все поплыло. Сел прямо на пол и сидел, глотая вязкую слюну.

Наконец песок просыпался в нижнюю колбочку. Серёжка перевернул часы и стал наблюдать, сколько пройдет времени, пока явится Женя. Трудно было оторвать взгляд от темно-коричневой струйки, которая отсчитывала время. Это здесь, неподалеку, был карьер с таким необычной окраски песком. Время! Отчего они так притягивают взгляд, эти колбочки, и что в ней, в этой струйке? Сколько просыпалось бы песка, пока он болел? Он мало что помнил. Вот над ним склоняется врач в белом халате и прижимает к его груди холодную трубочку, она кажется холодной, потому что у Серёжки сыпной тиф и воспаление легких.

— В больницу! — было сказано тогда врачом, больше Серёжка ничего не помнил. Песок еще не просыпался в нижнюю колбочку, а Женя уже вот она.

— И ничуть не больно! А моя мама тоже болела, ну она уже выздоровела, позавчера ее выписали...

— А я и не знал... А Гришка?!

— Гришку с ребятами послали на рис. Они ничего, а вот твой Вовка...

— Да знаю я, ладно тебе! — он не хотел, чтобы ему напоминали о смерти друга, Вовки Малахова, он слишком много думал об этом сам, это не давало ему покоя.

— Ох и есть же хочется! — вздохнула Женя.

— А ты говори себе, что не хочется! Правда, Женя, вот увидишь, сразу не будет хотеться...

— Да ну тебя! Не будет хотеться, — на глазах у нее были слезы.

Серёжка подошел и легонько погладил ее по стриженной голове через белую косынку, но погладил как-то неловко — косынка съехала, и Женя стала похожа на мальчишку. Она слабо ударила его по руке и отошла к окну — застеснялась.

— По местам, ребятки, стриженных кормить будем! — закричала баба Катя.

— А бритым не положено? — пошутил заросший бородой и усами старик из Серёжиной палаты, стоявший на пороге.

— Ну, тебе, дед, сегодня обеда не будет, пока бороду не срежешь.



— Борода молода, да в котле лебеда, — ответил старик, запахивая халат по самую шею. Он все мерз, этот старый Серёжкин знакомый, сторож табачной плантации, правда, до больницы он выглядел солиднее, опаснее, тем более, что у него была винтовка. Пацаны еще спорили, есть ли у деда патроны, а если есть, имеет ли он право стрелять боевыми? Серёжка узнал, что дед неделю назад был без сознания, температура до сорока, и то, что он выжил, удивляло даже врачей. Едва поднявшись с постели, он стал курить — днем забираясь под лестничную площадку, а по ночам прямо в окно или в форточку. Серёжке запомнились его костлявые кривые коленки, похожие на сучок внутри деревяшки, его длинная кадыкастая шея и странная для старика стриженная голова. Это был сморщенный мальчишка.

— Ты, старый карагач, опять курил ночью в палате? Вот поймаю, я те пропишу махорочки-то, не надышался на своей плантации?

— Молчи, Катерина, не бери выше чина! — отсмеивался дед.

— А вот я половиком тебя, дрючок саксаульский!

— Огрей его, копшивого, огрей, Катерина! — подначивали бабы из Жениной палаты. Обеденные столы стояли прямо в коридоре, к больничному запаху здесь примешивался дух кислой капусты и мерзлого вареного лука, головки которого целиком попадались в шах.

На обед дали тыквенную затируху и граммов по пятьдесят кукурузного хлеба. Баба Катя принесла Серёжке кусочек масла граммов в десять, не больше:

— Это тебе за завтрак, ешь...

Надо бы поделиться с Женей, но она сидела через стол, и неудобно было при всех делиться, особенно он стеснялся Тамару — была там такая тетка или кто ее знает, как ее надо было называть... Всегда накрашенная, даже здесь, в больнице, она и без того поддразнивала Женю и Серёжку женихом и невестой. Серёжка все же отломил кусочек хлеба величиной с масло и оставил Жене. Когда всех разогнали по палатам, он постучал в женскую комнату, где лежала дочка Татьяна Петровны.

— Женька, там к тебе женишок пришел! — услышал он грубый и насмешливый голос Тамары. Вообще-то Серёжка мог признаться, что у него тоже эта женщина вызывает странный интерес: то ли бухгалтер с маслозавода, то ли еще что-то такое,



но — связанное с продуктами... О ней много говорили в детдоме старшие пацаны: “Вырядился, как будто с Тамарой на свидание идешь!” или: “Наелся, теперь тебе только Тамары и не хватает...” Но не так-то все просто было с этой женщиной: ее и ругали последними словами, но Серёжке даже в этих последних словах слышалось что-то такое, тайное, горячее, какой-то соблазн, зависть, желание... Старшие, не стесняясь, называли вещи своими именами, но и они скрывали свои истинные мысли... И вот судьба столкнула Серёжку с этой Тамарой в больнице. Она и здесь не стеснялась: чуть окрепла, тут же прикрыла остриженную голову цветастой косынкой и давай шнырять по больнице. Внизу было две палаты, в одной из них лежали инвалиды войны. Серёжка видел однажды ночью, когда встал на двор, как Тамара прошмыгнула вниз. Идя обратно, он услышал под лестничной клеткой шепот, узнал голос Тамары.

Когда Женя вышла, он сунул ей в руку кусочек хлеба с маслом, завернутый в газетку.

— Не-е, тоже выдумал, — на глазах у девочки были слезы.

— Бери, бери, ей-богу, я наелся. Ты же знаешь, что сразу после болезни нельзя много есть, — сочинял он, прекрасно зная, что именно после тифа страшно хочется есть — все время, без перерыва.

Лежа вечерами в постели, он вспоминал, как вкусно пахнет поджаренная на жестянке соя или испеченный в золе початок кукурузы. Ему снились пузатые лепешки-тапанчи, правда, с ними всегда были связаны картины табачной плантации или сбора клоп-черепашки, но это чепуха, можно вытерпеть зной и ужасный смрад, особенно в полдень, когда листья табака источают свой влажный яд, — все можно вытерпеть и сделать, зная, что за работу ты получишь лепешку или полмиски дунганской лапши... О, дунганская лапша! Жирная, наперченная, плотная, острая, — любые слова и восклицания были к месту, если речь заходила об этом кушанье, — о дунганская лапша! О, узбекский плов! О, казахские баурсаки!.. Он просыпался ночами и, раздражив себя, чуть не плакал от обиды...

Однажды он, крадучись, спустился во двор, зашел за угол и набросился на калачики. Рвал их обеими руками и запихивал в рот, глотал, почти не разжевывая... А потом стал набивать карманы халата — для Жени.



Через дорогу, чуть ниже больницы, начиналось кладбище, “гробки”, как говорила баба Катя. От больницы видны были покосившиеся кресты, поросшие травой, бурьяном и цветами. Здесь цвели плодовые деревья — яблони, груши. Серёжке хотелось туда. Там после похорон многие угощали тех, кто присутствовал на отпевании, — давали кусочек лепешки или даже мелкую денежку, правда, он так и не понял, чей же это обряд — мусульманский, корейский, немецкий, а может, греческий или еще чей-то... Ведь к тому времени в Казахстане были чуть ли не все нации и народности страны. В благодарность надо было бросить горсть земли в могилу. Но что интересно — вместо слез и плача пели и веселились!

Еще ниже была речка. Кусты лозняка по обеим ее сторонам издалека сливались в один зеленый лесок, что было такой редкостью для этих мест. Воды не видно, но Серёжа, наравне с другими детдомовцами да и местными пацанами, отлично знал каждый изгиб речки, каждый подмытый водой обрыв. Солдаты из госпиталя ловили там бреднем рыбу, иногда они взрывали бутылку с карболкой или взрывпакет, и вся рыба всплывала кверху брюхом, но это запрещалось. Местные мальчишки, да и детдомовцы, сидели с удочками или нашаривали “гнезда”, обкладывали их дерном, который вырезали тут же на берегу лопатами, и, подныривая, вытаскивали иногда до двух ведер рыбы.

Хорошо бы, конечно, удрать на кладбище или на речку, но все это мечты; кто тебя выпустит, разве что на пять — десять минут. А убежишь — в детдоме кормежка еще хуже... А тут скоро должен приехать с риса Гришка, а там, глядишь, придет и Татьяна Петровна. Нет, удирать нельзя.

А за речкой, по обе стороны от дороги — табачные плантации, те самые, которые сторожил дед-дрючок. Густой, дурманящий голову запах.

Жени в коридоре не оказалось, пришлось опять стукнуть пару раз по двери женской палаты. Женя тихонько вышла в коридор и приложила палец к губам:

- Тише, там Тамара заболела.
- Что с ней?
- Да ну ее, противная! Напилась одеколону и рвется...
- На вот тебе калачики.



— Ох, какие вкусные, нет, правда! Знаешь, она вся провонялась. И как это мужики с такими дружат, а?..

Они не заметили, как сзади подкралась баба Катя.

— А вот тебе, идол! И тебе! И еще тебе! — она ударила Серёжку по руке, потом Женю, потом опять Серёжку, на этот раз по затылку. Лицо у нее скривилось, голос сорвался до плача: — Что удумал-то аггел! А-ну, выворачивай карманы... На гробки захотел? Нешто не знаешь, что нельзя. Враз прикинется дизентерия — и прими, мать-сыра земля! Сам-то наглотался уж?! Гляди мне... Так веником и вымету на гробки... А ну, марш по палатам, сизы голуби!.. — и все вытирала слезы платком, снятым с головы.

Во время обеда сидевший рядом с пацаном солдат дядька Серёга, инвалид, — мужики грубо шутили “пропу-кал пятку-то”, хотя на самом деле он был полностью без ступни, — дохнул на Серёжку запахом одеколona и спросил:

— Чего там с Тамаркой-то, не слышал? Спроси у своей девчонки...

— Да ну ее, вашу Тамарку, противная она...

— Эх ты-и, а еще тетка! Противная... Разве баба может быть противной?! Ты вот поваляйся три года в окопах, покорми вшей, тогда узнаешь, противная или нет...

Вечером после ужина Серёжка стоял у подоконника с песочными часами. Вот издалека показался старик дунганин на ишаке. Серёжка следил за стружкой — сколько просыплется песку, пока старик доедет до угла больницы. А вот шмыгнули за угол двое — солдат дядька Серёга и Тамара. Серёжка два раза перевернул колбочки, а их все не видно.

Кастелянша, тетя Васена, была толстая и, Серёжке казалось, старая, но перед сном дед-дрючок стал рассказывать, как они рвали друг дружке волосы — Тамара и тетя Васена.

— Не поделили Серёгу! И то сказать, что там — без пятки, подумаешь! Боевой парень, как конь, застоянный. “Красное Знамя” у него! А он, кацапская рожа, стоит себе да сигарку потягивает, нет, чтобы разогнать, так еще и посмеивается, архангел култышный!.. “А-а, — говорит, — тыловые стервы! Чего им сделается?! Слаще будут!” А его, кажись, жинка загуляла, покуда он ее там оборонял на фронте...



– Да у него жинок, что у тебя вшей! Ну и загуляла, бывает... Дак не все ж такие, – говорил пожилой солдат, попавший в больницу прямо из госпиталя. При ранении в грудь он потерял много крови, а тут еще и тиф, крови не хватает, а у него редкая группа.

– Ну там все или не все, а есть и такие, что дальше некуда, взять хоть эту Тamarочку, не гляди, что красивая, а...

– Дурак он, Серёга этот! – негромко вскричал тоже тяжелый танкист Ваня. – Дай мне встать, я ему башню-то надраю! Ему абы больше перебраться, а баба тебе что, не человек?! Ей без мужика тоже не сладко, а тут эти угодники, глядишь, и сбилась с пути...

– Ты, дружок, сперва поглядишь на Тamarочку-то да сплюнешь разок, – заметил пожилой. – Я-то и сам понимаю, нельзя обижать, а иную и не обидеть грех...

– Эх, батя! – простонал Ваня-танкист. – Сестренку у меня немцы насильничали, а жена под бомбежкой погибла, как бежала из Курска. Сверни-ка, дед, сигарку, дай душу отвести... крути, крути, я разок...

Серёжка смотрел на танкиста такими глазами, что однажды тот усмехнулся и сказал:

– А ты, пацан, я смотрю, воевать хочешь, а?

– Кто ж не хочет!.. Я бы их, гадов!..

– Не-ет, браток, тяжело...

– Что тяжело, воевать?

– Воевать – само собой, ну, это приказано – значит, надо... Убивать, я говорю, тяжело... Человека убивать...

– Так немцы ж!

– А хоть и немцы...

– Фашисты, звери, жечь их гадов, зубами рвать! – горячо вмешался пожилой. Он приподнялся на постели и яростно глядел на танкиста. – Чего творят, не знаешь?! Сам говоришь, насильничали, а сам – тяжело... Нашел кого жалеть!

– Да знаю я все, – поморщился Ваня-танкист, – ты, батя, меня не учи...

– Ну, это ты чужим духом надышался! Они тебя пожалели, лежишь тут?!

– На то война... – тихо ответил танкист.

– Эх, слушаю я вас, солдатики, и в толк не возьму, – вмешался дед-дрючок, – один, как барыня, рассиропился, другой аж из



себя выходит, а чего? Я их в первую империалистическую колотил – гай шумел по всей Украине! Чего тут – жалко не жалко! Нету его, так он тебя – вот и вся недолга!

– Уж ты наколотился, – усмехнулся пожилой.

– Гля, не верит! А это видал? – дед задрал полосатые больничные штаны, и на худом его бедре Серёжка увидел длинный гладкий шрам.

– Штыковая! Как жиганет он меня, сволочь немецкая! Я сперва и не понял – вроде как толкнул, только горячо, ну, гляжу, кровь, и с того маху развернулся и в грудь его! Ну-у!

– Да-а! – с улыбкой согласился пожилой.

– Вот те и да! – подхватил дед. – Штыковая – это тебе не то, что в танке, залез в броню и сиди, пока не выкурят..

– Верно, дед, пока не выкурят, – добродушно согласился Ваня-танкист. Когда им разрешили гулять по двору, Серёжка все разведдал. В бывшей кладовке лежали больные, а продукты хранились в кастаньянной. Это помещение было перегороджено черной тяжелой шторой, и за нею хранились продукты. Серёжка полуосознанно отметил, что единственное окно кастаньянной забрано решеткой. И так же, почти не задумываясь, он проследил по песочным часам, сколько уходит времени на то, чтобы тетя Васена пронесла свое полное тело через три двери: своей комнаты, коридорной и той, что выходит на улицу. Получалось что-то около четверти всего запаса песка, примерно полминуты. И если затаиться под лестничной площадкой, то можно успеть прошмыгнуть в кастаньянную... Но надо еще и разобраться, осмотреться и потом уже выйти после того, как... Дальше его мысли не шли. Ясно было только одно: он схватит что-нибудь съедобное и – дёру!

И ему повезло. Однажды после обеда во двор въехала арба, до верха нагруженная бельем, которое отдавали в дезинфекцию – варили, прожаривали и проглаживали.

Кастаньянша, поругиваясь с казаком, привезшим на арбе белье, вносила тюки в больницу и возвращалась на улицу. Временами она задерживалась и вместе с хозяином волов перевязывала охапки белья и одежды.

Серёжка дождался, пока она вышла на улицу в очередной раз, быстро сбежал по ступеням на первый этаж и проскользнул в кастаньянную за черную штору. Здесь была тьма и пахло кукурузным



хлебом, а также прожаренным бельем. Он не успел и повернуться, когда послышалось шарканье тапочек кастелянши. Тяжело дыша, она швырнула в угол очередной тюк и забормотала: “Веревку не могут завязать, туда-перетуда!”. Серёжка затаился, пережидая и приглядываясь. Вот стол, а рядом шкаф. Сейчас, сейчас она зашаркает на улицу, и вот наконец она в сердцах стукнула коридорной дверью, споткнувшись о порог. Он быстренько протянул руку к дверце шкафа, полуувидел-полунашарил кукурузную буханку, схватил ее — и в коридор, а по пути сцапал белую тряпку из угла, чтобы прикрыть буханку. Тряпка оказалась наволочкой, и пацан, стоя под лестничной клеткой, снял с себя халат и завернул свою добычу еще и в него.

Он не решался бежать на свой этаж и заворуженно смотрел на дверь бывшей кладовки, где лежали тифозные. Дверь эта была приоткрыта на ширину ладони, большие спали или отдыхали, голосов не было слышно. “Да кто закрыл эту проклятую дверь?” — бормотала тетя Васена, как-то пытаясь сладить со своей ношей, чтобы не бросать ее на землю и в то же время открыть дверь. Потом кастелянша пошла на улицу, и он на цыпочках побежал вверх. Какая-то бабка, выбрасывающая в помойное ведро мусор, проводила пацана подозрительным взглядом. К счастью, дед-дрючок спал, а другие больные не страшны, им не до него. Правда, пожилой солдат слабо улыбнулся, и у Серёжки кольнуло в груди. Он спрятал буханку под подушку, потом переложил ее в тумбочку. Халат он надел и положил за пазуху кусок хлеба, от запаха кружилась голова.

— Жень, — прошептал он, чуть приоткрыв дверь ее спальни. Она вышла, и он поманил ее за собой вниз.

Арбовоз сидел в кастелянной и подписывал бумаги, а тетя Васена, уперев могучие руки в круглые бока, посмеивалась над стараниями неграмотного человека.

Серёжка потянул упирающуюся девчонку в бурьян и крапиво за углом больницы и, не обращая внимания на ее удивленные выкрики “Ты чего это?! Пусти, пусти”, вытащил из-за пазухи кусок хлеба и половину отломил ей:

— Во! Ешь... да ешь ты, лопай, это мне дяденька один дал. Привезли там внизу одного, лихорадочного, а может, тифозного, — сочинял Серёжка, — на, говорит, сынок, бери, у меня у самого такой-то мальчик...



— Да ешь же ты, ей-богу, а, Жень?! — у него дрогнул голос, потому что чувство вины, возникшее в палате, когда ему улыбнулся пожилой солдат, усилилось и стало нарастать, и, чтобы покончить с этим, он стал быстро хватать ртом хлеб с кукурузной шелухой и глотать, не жуя.

— А, вот ты где, уркаганская твоя душа! — закричала, но закричала шепотом, баба Катя, оглядываясь, нет ли кого постороннего. — Винись, срамник, винись, пугало огородное! — она схватила его за ухо и ткнула лицом в крапиву. — Кто это так делает, а?! Где твоя совесть человеческая?! О, горе мне!

— Да чего вы, баб Кать, а?! — заплакала Женя, и тогда нянечка отпустила Серёжкино ухо и тоже заплакала.

— Сраму-то, сраму, Господи прости! — запричитала она, и тут до него полностью дошло, что он наделал.

— А-а! — взывал он и стал кататься в крапиве, тычась в нее лицом. Он обворовал их всех — и пожилого солдата, и молодого, и Женю... всех, всех... И он катался в крапиве и кричал, но позор был так велик, что не только не уменьшался, но даже нарастал...

Ночной костёр

На следующий день с утра он отправился за соломой. Сделал две ездки, а к ночи залез на печь, но не лег рядом с Наташей, а забился в уголочек: что-то в нем изменилось после прихода налогового инспектора. Начал было засыпать и сквозь сон услышал какую-то возню и крики. Он полежал, думая, что это ему пригрезилось, тем более, что в голове стали возникать голоса из его страшного сна — наверно, так повлияли на него вчерашний самогон и дневная усталость. Но нет, что-то было не то! Он вскинулся, встряхнул головой и уже явственно услышал страшный захлебывающийся визг. Маши рядом не было, а Наташа спала так, что ее ничем невозможно было разбудить, пока не проснется сама...

В котельной было пусто, дверь наружу открыта. Серёжка схватил с гвоздя первую попавшуюся фуфайку, всунул ноги в Наташины валенки и выскочил на улицу.

На базу горел костер. Оттуда доносились резкие голоса. Он разобрал Машин и ветеринара, всегда подвыпившего мужика, зачастившего в последнее время на свинарник.



– Заткнись, самогонщица! Не то я сдам тебя куда надо! – кричал он на Машу.

– Ах ты, пьянь проклятая! Ах ты, ворюга! – отвечала Маша.

Серёжка только теперь сообразил, что зарезали кабана Ваську. Ему стало обидно и страшно: почему ночью и вообще – зачем? Ведь говорили – на посевную. Подходя к базу, он увидел, что Маша вцепилась в ветеринара, и как раз в то мгновение, когда парень остановился у ограды, неотрывно глядя на яркий и страшный в ночи костер, хозяйка свинарника с каким-то рычанием так толкнула тщедушного мужичонку, что тот стукнулся головой о стенку сарая и сполз на землю, в снег.

И тогда человек, оскребавший кабана, сделал шаг в сторону Маши (Серёжка увидел, что это кладовщик), но тут навстречу ему двинулся дед с поднятой кочергой:

– Ну-ну! Ты, Макар, не шуткуй! Брось нож, брось, кажу!..

Дед замахнулся кочергой, и кладовщик выронил нож на снег, бормоча:

– Да ты, дид, чи сдурел?! Я ж так...

В Серёжкину память врезалась картина: упавший у стены ветеринар; дед, застывший с кочергой, поднятой вверх; кладовщик, выронивший нож, и Маша со вскинутыми к голове руками.

Потрескивала, лопаясь, кожа, пахло горелой соломой и паленой шерстью. Серёжка очнулся, когда к нему подошел дед.

– Бежи до конюха, понял? До конюха, швыдче!

– До дядьки Семёна?

– До его... Да Расскажи, шо тут роблють...

Конюх жил недалеко от правления. Пацан, задыхаясь от морозного воздуха, подбежал к калитке и просунул руку, чтобы открыть ее с внутренней стороны, но щеколда не поддавалась, тогда он разулся и, держа валенки в руках, перелез и постучал в ближайшее окно. Звякнул крючок, и перед Серёжкой оказался дядька Семён в подштанниках, но с сигаркой, точно он и спал с нею.

– Ну кто там еще? – хрипло спросил он. Потом втащил парня в горницу: – Обуйся, обуйся, обуйся... Ну что там такое? Чего примчался?!

– Да Ваську зарезали... Кабана Ваську!

– Кто, мать его в душу? Постой, я зараз...



Он быстро собрался и вышел, но вдруг круто повернулся и возвратился в хату, а когда показался опять, в руке у него было ружье и сжимал он его так, словно это было не охотничье, а настоящее, боевое!

Костер, горевший посреди база, не был виден отсюда, но вдалеке светилось зарево, а по мере приближения становились видны искры. Дядька Семён шагал быстро, Серёжка еле успевал за ним. Ему вспоминалось всё, что было связано с кабаном Васькой. От жалости на глаза наворачивались слезы.

“Пошли до Васьки”, – говорили Галя или Лёнька, а то и он сам, Серёжка. Они почесывали кабану шею и бок, а он довольно похрюкивал, опускался на руку, пригибая ее к полу, – Васька был уже страшно тяжелый... “Вот зарежемо Ваську, тоди...” – иногда мечтала Маша. Они высчитывали дни до начала посевной. И тут же разговор сбивался на трудодни. Прикидывали, если на трудодень выдадут хотя бы по полкило зерна, то у них получится... было бы куда складывать! Серёжка тоже зарабатывал в день по семьдесят пять сотых трудодня...

Теперь он понимал, что произошло что-то ужасное – для Маши и Наташи, для деда Бованенко и его внуков и, конечно, для него, Серёжки... Им всем наплевали в душу. Бог бы с ним, с мясом или даже салом, обиднее всего было терять надежду, а также то, что сделано всё было по-разбойничьи, ночью. Едва поспевая за конюхом, парень надеялся, что этот суровый человек, фронтовик, разберется и зло будет наказано.

А дядька Семён, подходя к базу, ухитрился своей единственной рукой зарядить ружье и вскинуть его наперевес. Пахло горелой соломой и паленой шерстью, а также прижаренным салом.

Увидев конюха да еще и с ружьем наизготовку, все, кто был на базу, на миг застыли. Потом от догоравшего костра отделилась фигура кладовщика и попятилась к ветеринару, который как-то странно топтался на том месте, где его сбила Маша.

Конюх, мельком оглядев мужиков и узнав всех, опустил ружье дулом вниз и подошел к Маше:

– Ты, Мария, ступай в хату, бо простудишься, а я тут разберусь...

Маша, всхлипывая и пошатываясь, прошла мимо Серёжки, а он все стоял у изгороди и не мог наладить дыхание.



— Слухай, Семён, ты тут не дюже размахивайся, — забормотал ветеринар. — Нам приказали, так что...

Но конюх его не дослушал, он заглянул в лицо кладовщику и сказал:

— Добре! Це добре, Макар, шо ты тут! — и повернулся к деду: — Пидгоняй сани, отвезем на склад и оприходуемо, а там нехай банкують!..

Видя, что конюх оставил ружье у стены, к нему неуверенно стал приближаться ветеринар, а за ним, тоже как-то боком, но опять же, словно по забывчивости, с ножом в руке, кладовщик. И тут глупый пацан, не раздумывая, подбежал к костру, схватил тяжелую кочергу и размахнулся ею, чтобы ударить кладовщика по руке и выбить нож, но здоровый откормленный мужик дернул за другой конец кочерги, и пацан упал в снег.

— Ах, вам приказали?! Так я вам зараз покажу приказ! — Конюх отпрыгнул к стене, схватил ружье, но подоспевший дед успел так рвануть его к себе, что они оба опрокинулись, а из выпавшей двустволки в небо вырвалось пламя.

Подходя к дверям сторожки, Сергей увидел, что на отъезжающих санях сидят двое — дед и конюх. Кладовщик и ветеринар шли сзади, но не вместе, а на некотором расстоянии друг от друга.

Пока деда не было, Серёжка подтапливал котел, стараясь не оглядываться, потому что Маша плакала и ругалась так, как не всякий мужик сумеет. Она разбудила сестру, накричала на нее, и теперь Наташа сидела на соломе и плакала, обхватив руками колени, в одной холщовой рубашке.

Дед возвратился, когда начало рассветать.

— Кровь принесли? — спросил он почему-то у Серёжки, хотя сестры сидели тут же, обнявшись и плача.

— Какую кровь? Вы что?! — удивился пацан, не понимая, о чем речь.

Дед угрюмо усмехнулся и вышел из сторожки. Он возвратился с ведерком. Серёжка увидел в нем что-то черное и густое и догадался, что это Васькина кровь. У парня закружилась голова.

— Ну-ну, ничего, ничего, — хмуро пробормотал дед. — Мария, чуешь, треба жарить кровь...

Немного спустя сестры и дед пили самогон и закусывали поджаренной кровью. Серёжка не пил и не ел, его почему-то трясло.

— Ну и чога воны там? — спросила Маша.



— Да шо, оприходовали та и усе. — Дед вытер бороду и усы. — Горе тай годи! Тилько приихалы и началось! Чума, кажуть, у соседнему колгоспи... Ветеринар каже — чума... А Семён той каже, шо воны и есть чума, кладовщик, ветеринар да ще кто там...

— Бездельники проклятые! И закона на них немає! — хрипло вскричала Маша и тяжело задышала, сдерживая рыдания... — Ладно, Наташка, пишлы спать, бо скоро вставать... А як я его трягнула, а, диду?! — вдруг засмеялась она.

— И что же теперь будет? А говорили — на посевную? — спрашивал у деда Серёжка, когда сестры ушли.

— Да что, забьютъ две-три свиноматки... Хиба ж начальство не знае, як ции дела делаются?!

— Ну а вы? А дядька Семён?! — с обидой возразил парень.

— Э-э, глупый ты, хлопец! Я хто? Старик... Бывший кулак, чи там дурак. Семён — тот партийный, да вин неграмотный... Ще, скажи спасибо, шо оприходовали, а то бы в два счета списали на чуму чи на волка... А так може трахтористам выдать мяса. Ну ладно, треба до дому...

Побег

А потом умерла от возвратного тифа Женя, и Серёжка решил бежать из детдома.

Как ни старался он собираться тихонько, чтобы не разбудить соседей, Гришка проснулся и стал за ним наблюдать. Он видел, как Серёжка укладывает в наволочку два кочана кукурузы, старую книжку без начала и конца “Тайна профессора Бураго”, коробку спичек и тряпицу с солью. Это было немалое состояние, если даже учесть, что наволочка — казенная. В конце концов, надо же было хоть что-нибудь взять на память!..

— Уходишь? — спокойно спросил Гришка.

— Ага, — также спокойно ответил Серёжка и двинулся к выходу из барака. Но увалень Гришка мгновенно ухватил его за штанину и глазами приказал:

— Сядь!

Серёжка сел, а его старший друг снял наволочку со своей подушки и собрал в нее вещички: две книги Аркадия Гайдара, “поджиг” и несколько дробин к нему, а также небольшой пакет с неизвестными



Сергею бумагами. Много времени спустя он догадается, что Гришка сумел завладеть своими “ксивами” — документами: свидетельством о рождении и похвальной грамотой за отличное окончание седьмого класса.

— Пацаны, и я с вами, а? — Сосед слева тоже стал собираться. Это был крупноголовый крепыш, по прозвищу Карабала — черный мальчик, у него был очень темный цвет лица, широченный нос и широкие скулы.

— Подайте беспризорному калек! — заскулил он и закатил глаза, обнажив белымы.

— Пускай идет, а? — согласился и спросил Серёжка.

— Ладно, только быстренько, а то за нами все потащатся...

Солнце еще не взошло, когда они миновали детдомовскую территорию. За селом почувствовали себя свободными. Взбивая пыль, шли некоторое время за отарой овец. Карабала, проходя мимо пастуха и женщины в белом платочке, заковылял, подворачивая ступни, кривя туловище и подвывая. Женщина сочувственно покачала головой и положила ему на ладонь половину кукурузной лепешки.

Перейдя Чу, они развели костер и испекли в золе Серёжкины кукурузные початки.

— На станцию пробираемся по одному, — командовал Гришка, выпячивая свои толстые губы. Лицо у него было непривычно серьезное, отстраненное.

Они разошлись в разные стороны. Серёжка пошел по нижней дороге. Гришка, самый солидный на вид, — у него, в отличие от младших товарищей, которые шли босиком, были сандалии, — пошел кратчайшим путем. Карабала, прекрасно знавший город, — он не раз уже убежал из детдома, — шмыгнул в ближайший переулок. Серёжка забрел на базар, и там его отыскал темнолицый. За пазухой у него лежала лепешка — успел стянуть!

Они пробирались к станции между вагонами, стоявшими в тупике, здесь жили железнодорожные рабочие, в основном чеченцы и карачаевцы, которых год назад выслали сюда с Кавказа. По обеим сторонам колеи валялись старые разбитые ящики, доски, кучки мелкого угля. Пацаны укрылись за сломанным контейнером и просматривали перрон, уминая лепешку.



— Смотри, Гришка, Гришка! — вдруг закричал Карабала. Серёжка в последний раз увидел старшего друга в тот момент, когда тот вскочил на подножку “пятьсот-веселого” и тут же стал подниматься на крышу. Мальчишки на миг растерялись, а когда спохватились, было поздно: поезд набирал ход. Больше они никогда не видели Гришку Пантюхина.

В контейнере была солома, лежала чья-то промасленная фуфайка, но никто их не потревожил до темноты. Ночью они свободно залезли в один из вагонов товарняка и стали ждать. Здесь было полно железных ящиков — когда-то в таких возили оружие. Война кончилась, но грузы еще путешествовали. Ящики за день так раскалились, что и сейчас еще от них тянуло жаром. Пахло ржавчиной и смазочным маслом.

Они и позасыпали, не дождавшись, пока поезд тронется. Перед утром Серёжка захотел “на двор” и по привычке протянул руку, чтобы разбудить соседа.

— Едем, едем! — радостно закричал Карабала, чуть продрав глаза.

— А куда едем-то?

— Да не все равно, что ли?! На месте узнаем...

Поезд остановился в Джамбуле.

— Пошли в город, я тут все знаю! — уверенно говорил Карабала. — Я здесь сидел в детприемнике и был в детдоме.

— В детдоме?!

— Ну да, тут на Коммунистической, возле стадиона и Мучного базара. Боишься поймают? Сбежим!

Двое суток они провели “на воле”. Крутились на “Мучном” базаре, а ночевали в хибарке возле кладбища. Но на третью ночь их взяли во время облавы на “Черную кошку”. Документов у ребят не было. Добродушный курносый милиционер похлопал Карабалу по плечу:

— Я тебя помню, приятель!

— Я вас тоже... Вы мне давали двадцать четыре часа, я ж вас не обманул, отпустите! Ну, пожалуйста, отпустите...

Может, и отпустил бы их курносый, но тут вошел капитан-казах и строго сказал:

— Ну что, “котят” изловил, Максимов?

— Да нет, товарищ капитан, это просто беспризорники, черного я знаю, мы ему давали двадцать четыре часа...



— Значит, он уже попадался?! — совершенно серьезно спросил казах.

— Да не “котятя” мы, ей-богу! Серёжка, божись!

— Нет, не “котятя”, слово всех вождей! — истово поклялся Серёжка.

Но их не отпустили, отвели в детприемник, а через неделю отправили в спецремесленное училище.

Они и там пробыли недолго. Создавались такие спецремеслухи по приказу самого Сталина для беспризорников...

Пацаны весело примеряли бушлатики и ботиночки, форменные костюмы. А 450 граммов хлеба! А сахарок к чаю! Все это было неправдоподобно, да никто и не верил, что такая жизнь может продлиться долго.

Беда была в том, что кому-то пришлось в голову направлять в такие училища всех, кто так или иначе оказался “на воле”. Недавние “домушники”, карманники да и “стопари”, отсидевшие сроки в колонии, быстренько прибрали к рукам не только училище, но все Бурно-Октябрьское. Местный базар сам собой прекратил существование, потому что не было спасу от налетчиков. Директор и мастера-воспитатели были бессильны.

— Страна ничего для вас не жалеет, — говорил на собрании, которое состоялось в конце первого месяца директор, невысокий, шуплый казах. — Я понимаю, что вам пришлось нелегко — война, потеря родителей... — Он тщательно выговаривал русские слова, и на его широкоскулом лице было выражение готовности сделать для своих подопечных все.

— Пр-равильно! Вер-р-но!

— Да ты “по фене”, “по фене”, гражданин начальник...

— Га-га-га! — гремел зал.

Заводилами были Сашка Уркаган и Федька Жлоб. Карабала быстро к ним приспособился, а вот Серёжка никак не мог привыкнуть к тому, что все пацаны должны подчиняться этим двум уркам.

Как он тасовал колоду, как сдавал карты, черноглазый Сашка, носивший косую челку! Играли на деньги, на горбушки хлеба. Но у таких, как Серёжка, недавних детдомовцев, еще не научившихся воровать, денег не было, им приходилось превращать в монету простыни и одеяла, а то даже бушлаты и ботинки. Прогрывались также порции “бациллы” — масла, сахарки...



Крутолобый и безбровый Жлоб был похож на бычка, от него даже пахло животным.

– Ну что, побурим, шкет? – предложил он как-то Серёжке. – Давай, давай научу, спасибо скажешь...

– Да я не умею.... И денег нету...

– А это тебе не деньги! – куцая лапа Жлоба легла на Серёжкину гордость – кожаную кепку-шестиклинку, память о “Мучном” базаре.

– Отдай, отдай! – Серёжка протянул руку и получил по лбу. Он рванулся на Жлоба, но тот поддал ему в лицо своим круглым кумполом (головой) так, что пацан отлетел к стене. Из носа потекла кровь.

– Что, Жлоб, кепку торгуешь? – возле них оказался Сашка Уркаган. – Дай-ка примерю! Ну-ну, сволочь, тебе не личит! Эй, пацан, забирай свое богатство. – Он отдал кепку Серёжке, а Жлобу отвалили подзатыльник. Только потом пацаны поняли, что это игра: один обижает, а другой (благородный) защищает. Так они с Карабалой попались на удочку. Сашка сам взялся обучать их игре в “буру”.

– Будем считать, что играем по правде: на кону мандра с бациллой.

У Серёжки дело не клеилось, зато Карабала ухватил эту игру сразу. И тут на помощь Сашке пришел Жлоб. Он устроился за спиной Карабалы и стал “светить”: в зависимости от мастей и козырей он то почесывал нос, то притрагивался к уху или глазу. Кончилось тем, что Карабала проиграл месячную порцию хлеба с маслом.

Сашка, причесывая свою косую челочку, усмехался:

– Ништяк, ништяк, иначе не научишься... Ну, так и быть: половину скошаю, а остальное будешь отдавать Жлобу...

Их учили обращаться с инструментами – напильником, рашпилем, молотком, зажимать в тиски заготовку, а когда дошло до работы на станках, с легкой руки блатных почти все пацаны взялись выгачивать себе финки, делать из трубчатой стали “поджигала”.

Мастера менялись чуть ли не каждую неделю. Первый директор только и знал, что выступать на собраниях с душещепательными беседами.

В училище начался самый настоящий грабеж. Однажды ночью Серёжка с Карабалой ушли на станцию, там сели на товарняк и через несколько часов были в Джамбуле.



На коне верхом

Снег сошел, от земли тянуло испарениями, появилась ранняя травка. От ближайшей скирды к весне остался слой соломы метра в полтора толщиной, да остатки растолкли ребятишки. Сергей с завистью смотрел, как они кувыркаются, борются, но участвовать в их играх ему было несподручно — переросток. А вот со своими ровесниками, которые часто приходили на выгон играть в лапту, он еще толком не познакомился. Они так ловко били палкой по мячу, так метко попадали в полевого игрока, что он боялся осрамиться.

Особенно выделялся среди них здоровый парень с темнокудрявой головой и выпуклой грудью Митька Абыхвост. Когда начинали конаться, каждый старался попасть в одну партию с Митькой: это был верный выигрыш.

Солома пахла сыростью, гнилью, сидеть на ней было еще рановато, но поначалу Сергею приходилось играть самому с собой в ножички. Втайне он надеялся, что однажды Митька заметит его и не выдержит, подойдет и удивится, как здорово бывший колонист делает такие замысловатые коленца, как “пальчики”, “прическа”, “носик” и прочее. И все это за один раз — целая партия! На третий день, как только новичок начинал свою игру, его облепляли местные ребятишки, забывшие ради новой игры свои “альчики”, “лянки”, “пристенки”.

Сергей узнал от Лёньки, что Митька в прошлом году бросил школу, восьмой класс, и пошел работать в колхоз по наряду. Недавний беспризорник остро чувствовал отношение людей к себе и был уверен, что Митька заметил его, но притворяется. И он оказался прав.

Как-то Митька появился на выгоне, ведя в поводу коня обездчика, низкорослого горячего жеребчика по кличке Звонок. Возле скирды он легко вскочил на коня, промчался метров триста, круто повернул назад и, спрыгнув на землю, внезапно протянул повод Сергею.

— Ну-ка поддержи!

Парень не успел сообразить — в руке был повод, за который резко подергивал вороной жеребчик, а Митька спокойно шел к играющим в лапту. Звонок, грызя мундштук, ронял пену, прядал ушами и угрожающе пофыркивал, кося на неопытного парня дикими глазами и пытаясь вырваться из рук.



Сергей, еле удерживая коня, думал, что все это Митька подстроил нарочно, чтобы местные ребяташки и подростки не перекинулись на сторону новичка. Игроки в лапту, хотя и видели, что Митька приехал верхом без седла, а потом передал коня Серёжке, сперва не обратили на это особого внимания: лошади для них были не в новинку, но за те две-три минуты, пока новичок пытался справиться с конем, то один, то другой стали поглядывать в его сторону, и вдруг он услышал чей-то звонкий насмешливый голос.

— Да чего ты с ним возишься? Садись верхом!

И он легко, в каком-то мгновенном ослеплении, ухватился за холку Звонка и взлетел ему на спину. Вообще, он был ловок: легко делал сальто, ходил на руках, залезал в форточки. Но тут требовалось особое умение, навык, и теперь, ухватившись за холку, он выпустил из рук повод, попытался достать его, потянулся, лежа на жеребчике, но тот резко рванулся вперед — вбок, и Сергей почувствовал, что ему не удержаться. Конь летел через выгон, а неопытный наездник, сползая влево, изо всех сил пытался выровняться, упираясь в скользкое, лоснящееся тело коня всей правой частью своего тела. Удержаться он не смог, но, оказавшись на земле, боли не чувствовал. Услышал крики мальчишек и метрах в пяти от себя увидел Звонка, который спокойно покачивал головой и пофыркивал, кося в сторону упавшего.

— Ушибся? — добродушно спросил подошедший Митька.

— Ничего... — боль в боку была чувствительной, но не жаловаться же.

— Научишься... Поначалу все падают... — Митька мог себе позволить доброжелательность: он добился того, чего хотел, — доказал новичку и тем, кто готов был переметнуться на его сторону, что игра в ножички — это чепуха, а вот ты попробуй на коне верхом — настоящее мужское дело.

И теперь, когда уже Митька Абыхвост летел через выгон на вытянутом в струнку коне, Серёжке вспомнилось первое, давнишнее, как бы из другой жизни, падение с коня...

Если бы его попросили рассказать о родном селе, он мало что вспомнил бы предметно и точно. Всё смешалось во времени с запахами и снами... и еще с чем-то, чему на свете и названия не существует... Река Свапа и еще одна — Сейм... и всё вокруг словно бы жившее в нем еще до его рождения — ракиты, луг,



поросший ромашками и одуванчиками, осотом и гусятником, самодельные трамплины и лягушата, высоко подпрыгивающие, чтобы бултыхнуться в воду, стадо коров, пригоняемое в обед всегда в одно и то же место, называемое “тырлом”, деревенские мальчишки. На реке множество отмелей, песчаных и глиняных, а вода, по памяти, всегда теплая и ласковая... На нижней улице широко раскинулась старинная площадь, церковь двухвековой давности; в иную весну эту нижнюю улицу затопляло половодьем. А наверху, куда нужно было идти через сады, невдалеке от деревенского кладбища, посреди пустыря и находилось то, что называлось “детдом”.

Во дворе были различные постройки: двухэтажное здание из кирпича — общежитие девочек и воспитателей. Ребята жили тоже в кирпичном, но одноэтажном доме. Было две бани — мужская и женская, были деревья, которым он тогда не знал названия, кроме яблонь и груш, ну и, конечно, трава, лопухи, какой-то чертополох — там они прятались, играя в войну. Нет, если хорошо вспомнить, то были и еще здания: длинная столовая и в ней “красный уголок”, а также бревенчатый сарай. С этим-то сараем и двором, нет, со всем, что тут было, связано и его первое падение с коня. Во дворе жили большие и добрые собаки — Мурзик и Тапка. Мурзик — грязно-серый пес, добродушно помахивавший хвостом и заглядывающий мальчишкам в глаза. Серёжке тогда казалось, что в том и есть предназначение Мурзика, но Тапка! Возле сарая была конура, в ней жила эта желтая собака, и у нее всегда были щенята. Детдомовцы брали их в руки, а Тапка жалобно визжала и смотрела на всех скорбными просящими глазами. А по ночам скулила и рычала, охраняя своих малышей.

По двору гуляли гуси и утки. На чердаке жили голуби, которых каждый день вздымали в небо мальчишки-голубятники. А с противоположной стороны сарая, там, где начинались огороды, были клетки с кроликами. Собачий лай и визг, воркованье и свист голубиных крыльев, запах из кроличьих клеток...

За сараем росли лопухи, крапива, здесь были зеленые заросли картофельной ботвы, желтые подсолнухи. Здесь же размещалась большая латка конопли. Огороды тянулись до оврага, а за оврагом, на противоположном высоком его берегу, был орешник.



Сергей теперь не мог бы сказать, кто завел в детском доме тот странный обычай — пропускать через хомут мальчишку, который “наловил рыбы” — уписался... “Рыбака” отводили в сарай и, пока он пролезал через хомут, дежурные могли бить его полотенцами или снятыми с себя и скрученными рубашками. Наказывали для вида, но позор был страшный. Обычай этот прижился до того, как детдом стал интернациональным. Конечно, знали об этом и воспитатели, но делали вид, что не знают, чтобы не вмешиваться, а сами ребята — русские, немцы, австрийцы, испанцы, поляки — сразу же приняли эту, хотя и необычную, но справедливую игру. Никто и никогда не жаловался.

И на Серёжину долю выпало одно такое утро. После завтрака малышей должны были вести на речку, но разве он, “рыбак”, мог показаться на глаза своим друзьям?..

А как он был счастлив вчера! Проснулся перед побудкой и побежал за сарай. А когда, съезжившись от утренней прохлады, возвращался в общежитие, увидел возле столовой Марусю и Августо и прижался к стволу старой груши, чтобы хоть немного спрятаться и понаблюдать за ними. Они смеялись, запрокидывали головы, они объяснялись жестами и редкими словами, которых он не слышал, но как будто угадывал, потому что Маруся отмахивалась от Августо его же пилоткой-“испанкой”, но и отмахивалась как-то так, что Серёжка ревновал ее к Августо. Хотелось быть не собою, маленьким и ничего не значащим мальчиком, а героическим испанским парнем — он воевал и даже был ранен у себя на родине! И его недаром так любит Маруся. Но и самой Марусей тоже хотелось быть, потому что ее так любит Августо. Да и как не любить ее, парашютистку, пионервожатую, самую веселую и красивую девушку на свете?! У нее светлые, коротко подрезанные волосы, она смуглая, почти как сам Августо, потому что всегда на ветру, на свежем воздухе, на солнце. Серёжка ревновал их друг к другу и был счастлив за них. У него вертелось на языке длинное и мужественное слово “Осоавиахим”.

Он пошел в общежитие, разбудил Дарио, своего лучшего друга и младшего брата Августо. К ним привязался Яцек Гавроньский, и все они побежали в столовую.

Братья-испанцы говорили между собой только по-русски, а с Марусей — только по-испански, и это было так весело!



Звонче всех хохотала Маруся. А после завтрака старшие повели всех остальных на Свапу. Было солнце, запахи лягушачьей икры и мокрой травы. Был трамплин и разноцветные брызги.

Августо нырял, а Маруся и малыши прыгали “солдатыками”. И здесь, на реке, старшие как-то странно смотрели друг на друга... А потом все пошли в село и там, на базарной площади, ели мороженое и пили морс. Вот этот-то проклятый морс и сделал свое дело! Серёжа не смел даже подумать, что о его позоре могут узнать Маруся и Августо...

Он сидел после наказания один, забившись в угол сарая. Старый детдомовский коняга по имени Грицько временами переставал жевать сено и отфыркиваться и косил взглядом на непонятного плачущего человечка. А сам этот человечек, в белой майке и черных трусиках, размазывал слезы обиды и в который раз снова и снова мысленно прогонял себя через хомут... В сарае пахло сеном и мышами, а также навозом и жвачкой старого Грицька, но Серёжке казалось, что сильнее всего и противнее всего пахнет хомутом. Он в ярости вскочил и стал втапывать этот хомут в сено, потом навалил на него сена почти до потолка, и за этим занятием застал его конюх дядя Миша, который вдруг, не говоря ни слова, подхватил его на руки, понес к яслям, поставил, потом завел в сарай вороного Коршуна, в отличие от Грицька поджарого и вздергивающего головой, и... посадил на него Серёжку!

— Держись за гриву, да смотри не стукнись о притолоку, — дядя Миша отдавал ему в руки повод.

И вот он, Серёжка, верхом на коне, да не на дряхлом Грицьке, а на вороном, боевом Коршуне, которого дядя Миша никогда никому не доверяет, потому что обучает его для службы в армии... Он, Серёжка, верхом на коне, как Чапаев, как Буденный на картинках в “красном уголке”. Пригнувшись, он выехал из сарая, оглядел двор, чтобы убедиться, видят ли его триумф дружки-детдомовцы, в том числе и дежурные, свидетели его позора... Они, конечно, сейчас все ему завидуют! Он покопился на свое общежитие, на столовую, возле которой вчера стояли Маруся и Августо, и звонким срывающимся голосом крикнул: “Н-но, Коршун!” При этом он неумело поелозил пятками по лоснящимся бокам коня, и тот, умница, сделал вид, что готов пуститься вскачь, но потом... когда они отъедут от сарая.



Он едва-едва затрусил по двору, а Серёжка стал ударяться о его хребет и понял, что сползает... Он сообразил потянуть за повод и направить коня за сарай, чтобы не стать причиной еще одного позора. Коршун сразу повиновался маленькому наезднику, но не в его силах было предотвратить сползание Серёжки: конь сделал все, что мог, — освободился от седока за сараем и тут же встал перед ним, опустив голову. Серёжка взял за повод смирного коня и гордо повел его к сараю, даже не оглянувшись на примятые падением крапиву и лопухи!

— Накатался? — дядя Миша подмигнул и улыбнулся. — Ну и добре!

Все это вспомнилось, пока Митька летел на Звонке через выгон. Он научится ездить верхом, он докажет Митьке!

Никогда прежде он не замечал, что трава бывает такого нежно-зеленого цвета, а молодая зелень так хрупко пахнет. Копни землю носком ботинка — и в сыром слое откроется богатая и полная жизнь насекомых и растений, кореньев травы и цветков.

И с ранней весной у него тоже были связаны особые воспоминания. Он не мог бы сказать, сколько ему лет. Наверно, совсем мало, до войны еще далеко. Живет он неосознанно, ощущениями. И первое, что он помнит из этой, неизвестно какой по счету жизни, — он просыпается, вернее, он только начинает просыпаться и сквозь ресницы видит солнечный свет и чего-то ждет... Это “что-то” — самое теплое и приятное, самое-самое, то, чему еще нет названия и объяснения... Молодое и красивое женское лицо. Серые добрые глаза, короткие каштановые волосы, сползающие на правый бок. Женщина в белом халате, и потому еще мягче, светлее, теплее ее лицо. Он тянет к ней руки, но она шуточно грозит ему пальцем.

Он долго не мог понять, почему его не берут на руки, и однажды заплакал, и она взяла его, но тогда расплакались те, другие, и стали тянуть к ней ручонки из своих кроватей. У нее стало растерянное лицо, и он пожалел, что так провинился перед нею. Конечно, ничего такого он не мог бы оформить словами, но это было, было...

Должно быть, он считал ее своей мамой, но потом как-то узнал, что это детдомовская воспитательница. Как было обидно! Хотелось убежать неизвестно куда или даже перестать жить...



Нет, он не разлюбил ее – стал любить по-другому. Он подрастал и уже называл ее Татьяной Петровной, подружился с ее дочкой Женькой.

Но он ревновал ее к старшим ребятам, с которыми она была иногда близка в их занятиях парашютным спортом или игрой в волейбол... В сорок первом, когда их везли на подводах по курской степи, когда их разбомбили и расстреляли на бредущем полете немцы, в тот яркий и страшный полдень он как-то и не заметил начала бомбежки... Он прозевал самое страшное, потому что она прижимала его и еще двух воспитанников к себе, прикрывала их своим телом. Как он был глуп! Ему тогда хотелось, чтобы эти проклятые немцы нападали на них снова и снова: ему хотелось умереть в ее объятиях...

Но был и другой день в его жизни...

В сорок четвертом его наконец отыскала блуждавшая где-то с сорок первого похоронка на брата. Детский рассудок не проваривал: как это может быть, вот она свежая похоронка, а брата нет уже три года... И это изумление и неумение переварить, состыковать гибель брата и эту похоронку, пришедшую спустя три года, привели его в странное неестественное состояние: он почти не горевал, он даже по-своему радовался поводу... отправиться к ней... Дождавшись ночи, он смело шагал по страшным ночным улицам дунганского поселка почти на самый конец, где было женское общежитие. Было начало декабря, снег выпал и сошел, все вокруг стояло мертвенно-серое и унылое: урючные и яблоневые сады, богатые летом огороды, арыки, точно бы наполненные дегтем, беззвездное небо.

Он постучал, чтобы сразу все выяснить: дело в том, что она жила с дочкой, но у них же за перегородкой иногда ночевала еще одна воспитательница, постарше, построже, ее он стеснялся. Если она окажется у них в комнате, то все пропало. А вот если они будут одни, он покажет ей похоронку, и она его приласкает, напоит чаем и оставит ночевать. Женьку он не боялся и не ревновал, она была таким же мальчишкой, как и он сам, – странность, которую он долго не мог понять... И он застал Татьяну Петровну одну – Женька ушла в барак для младших. Она помогала матери.

Воспитательница накинула поверх рубашки халат, села на постель и усадила его рядом с собою. Она что-то шептала, прижимая его к своему теплему боку, и он уснул, пригревшись.



Правда, потом ему все же было стыдно за то, что он не переживал смерть брата, но — эта бумажка, блуждавшая где-то три года! Он все списал на нее... Да он и не знал брата, было что-то смутное, не оформленное ни в слова, ни в образы, жило как бы отдельно от понятия “брат”, но как будто и рядом с этим понятием...

...Как-то в апреле он проснулся оттого, что ему нечем стало дышать на печи: Маша крепко прижимала его к себе, и тяжело, прерывисто дышала. Он увидел ее широкое, как поле, тело, задранную рубашку... рванулся с печи и выскочил к деду в котельную, тяжело дыша.

— Ты чего?! Чи страшное приснилось?

— Ага...

Он ел печеную свеклу, не чувствуя вкуса и думая только об одном — спала ли Маша. Если нет, то как ему быть дальше? На печь он не полез, вздремнул, сидя возле деда на соломе.

Маша, как всегда, встала рано и держалась спокойно, ничем не показывая, что произошло что-то особенное. Но вечером, перед сном, когда он возвратился с поля, куда отвозил посевное зерно, он увидел в сторожке топчан.

— Вот... Будешь спать, — сказала Маша, — уже тепло, не замерзнешь.

По ее взгляду он все понял, ему было стыдно и горько... Он пожалел, что так себя вел, и вспомнил старших детдомовцев и колонистов... Да что! Тот же Митька Абыхвост посмеялся бы над ним...

Никишка

Сергей открыл воротца загона, и овцы стали выкатываться на волю. Впереди, высоко держа голову, поспешал белый козел с красивыми длинными рогами, один из которых, правый, был подпилен или подрезан, а бока и ноги животного сплошь в репях и колючках.

“Смотри, он бьется!” — предупреждал Серёжку Лёнька, но сейчас новичок забыл об этом, и старый козел ему напомнил: проходя мимо, так мотнул в его сторону головой, что он оказался на земле.

— Ах ты, чертяка! Ну погоди, я тебе покажу! — парень вскочил на ноги, но его обидчик, как ни в чем не бывало, уже шагал во главе отары, и овцы катились за ним.



Солнце поднялось над горизонтом. Сергей снял рубашку и шагал вслед за отарой по выгону, улыбаясь голубому небу, траве, цветам. Деревня скрылась из виду. Вершины пирамидальных тополей стали похожи на низкорослый кустарник. Вокруг, до самого Тянь-Шаня, лежала степь — свежая, пестрая, изредка пересекаемая оврагами и балками. Колокольчики, одуванчики, ядовито-желтая сурепка, радужно расцветшие колючки — все это цвело и пахло, и звенело насекомыми, и не верилось, что пройдет всего две-три недели, и вся молодая и цветущая жизнь превратится в курай да колючки, а вокруг будет гулять только запах степного полынка.

Сергей жевал травинки, бездумно срывал молодые, с нежными лепестками кашки и брел за отарой. Он еще не знал, что с овцами так нельзя, им только дай волю — и они пойдут и пойдут на ветер, и за день могут дойти до подножия гор. Но это хорошо знал старый вожак, Никишка. Может быть, он понял, что должен помочь неопытному чабану, — обогнал стадо, пытаясь его остановить, но овцы, вскрикивая “н-н-е”, постарались обойти, обтечь своего вожака. Сергей заметил его старания и простил ему давешнее нападение. А Никишка, видя, что стадо ему не подчиняется, боднул одну-другую овцу в их курчавые душные бока и, распалившись, стал всю орудовать рогами, пока наконец отара не остановилась.

Несмотря на восточный ветер, который все тянул и тянул на одной ноте, было жарко; и когда овцы остановились, чабан повесил на кустик рубашку, спрятал голову в образовавшуюся тень и скоро уснул.

Солнце дошло до того места в небе, когда пора было гнать отару на тырло, к реке. Так делали другие чабаны, а новичок спал. Зато старый вожак хорошо знал свое дело. Работая рогами, он принялся заворачивать и будоражить стадо, овцы заблеяли, и Серёжка проснулся.

Знойный воздух звенел, запахи усилились. Хитрый козел, видно, понял, что чабан — новичок, и повел отару своим путем — туда, где на краю деревни был колхозный сад, а за ним до самого луга тянулись огороды. Вот отара миновала дорогу, где надо было заворачивать к реке, перекатились через арык, и козел первым приступил к капустным грядкам.



— Эй, раззява! Куды глядишь-то, а? — услышал Серёжка и схватился за голову, а пожилая баба с подоткнутым подолом, проводившая арычки от большого арыка, подбежала к козлу и огрела его тяпкой. Отара двинулась дальше к реке. Воздух был полон криками и звуками шлепающихся в воду тел, здесь купались пастушата и подпаски, а также мальчишки из двух сел, лежавших по обе стороны реки. Трава на берегу была выбита — тут тырловались коровы и телята.

Пахло, как обычно на тырле, разогретыми коровьими лепешками, мокрой травой и еще чем-то необъяснимым, но приятным, — смесью запахов травы, мокрого песка, болотца.

Серёжка подогнал овец к лозняку и пошел купаться.

Недалеко от берега верхом на коне сидел Лёнька и чистил его скребницей. Мокрая гладкая спина лошади и ее круп блестели на солнце, а куривший на берегу старик-пастух, хозяин лошади, покрикивал на пастушат, которые норовили ухватиться за хвост коня.

— Серёжка, там возле лозы сумка с едой! — крикнул Лёнька. Он хотел было показать рукой, где именно лежит сумка, но вдруг залился смехом и выронил скребницу.

— Ой, не могу! Ой, не могу! — Он съехал с лошади в воду. Там, где должна была лежать сумка с едой, стоял козел Никишка: он мотал головой, пытаясь освободиться от надетой на рога сумки, которая закрывала ему обзор.

Мальчишки визжали от удовольствия.

— Вот чертова скотинья! — качал головой старик-пастух. — Беги к нему, чего сидишь, — крикнул он на Серёжку.

Но козел уже освободился от обузы и преспокойненько дотягивался своими подрагивающими губами до листочков лозы.

— Знаешь, он какой!

— Як мы его паслы...

— Та на ему аж по двое катались! — наперебой кричали пастушата. Сергею рассказали, что козла прозвали Никишкой потому, что характером он в точности дед Никита, сторож колхозного сада, главный враг ребятишек. В огромном саду росли яблони, груши, было даже десятка два урючных деревьев. Сторож, знавший тут каждый кустик от высадок, легко угадывал, когда и где ждать маленьких разбойников.



А козел славился тем, что мог отыскать сумку чабана, и стоило тому зазеваться, как эта сумка оказывалась на рогах у Нишки. За это ему и отпилили часть правого рога.

– Ну, будя, будя, – ворчал пастух на расшалившихся пацанят. – Эй, Лёнька, куда задевал гребенку?

Скребница была на дне. Серёжка нырял вместе с пастушатами и плавал в глубине с открытыми глазами. Пока скребницу отыскивали, у всех покраснели глаза и на коже выступили прыщи. Время было гнать стада на пастбища.

Козел опять занял место во главе отары, но теперь новый чабан не спускал с него глаз.

После обеда отару разыскала в степи Галя. Она принесла еду взамен испорченной козлом – хлеб, молоко, редиску. Сидела она по-казахски – ноги под себя, была в выгоревшем сарафанчике. Веснушки теперь остались только вокруг носа, но, сойдя с лица, они перебрались ей на плечи, как будто ее обсыпало цветочной пылью. Она болтала без умолку, и Серёжке весело было смотреть на ее рыженькие косички с голубыми бантами, начавший облазить вздернутый носик и вообще на все ее тело девочки-подростка: выпирающие ключицы, тонкие руки, острые коленки.

Она любила читать и теперь рассказывала ему содержание какой-то “страшнучей” книги, но он так и не понял, какой, потому что она сама себя перебивала, то забегая вперед, то заглядывая в конец. А он рассматривал ее и улыбался. Он спросил, отчего наедине с ним она говорит по-русски, а при людях стесняется.

– У-у! Что ты! Сразу назовут вообразулей и городской...

– А тебе не хотелось бы в город?

– Еще и как! В прошлом году дедушка брал меня в Чимкент. Знаешь, какие там дома! Улица вроде как стеклянная – такая ровная. А вот в Джамбуле я не была.

Сергей улыбался: он хорошо знал и эти города, и некоторые другие. Может быть, слово “хорошо” – не совсем то, но все же города он знал. Там у него была совсем иная жизнь, о которой ей лучше и не знать. Она вдруг заговорила о другом.

– А наш Лёнька едет на сенокос, а меня не берут, говорят, – маленькая. А мне уже тринадцать! Ну, ладно, я буду ходить к тебе, правда? – Рыжие косички болтались, глаза, также с рыжинкой, метались то по степи, то по лицу Серёжки, руки опускались,



срывали травинки и опять вздымались. Ее распирало многообразие мира — природы, людей, книг, снов и слов...

А он, продолжая улыбаться, сорвал несколько цветочков, сделал букетик и преподнес ей, шутя, но церемонно став по-рыцарски на колени. Она вскрикнула: “Якый ты чудный!” И припустилась бежать так, что из-под ее ног полетели комочки земли.

Дождей не было. Солнце прямо на глазах превращало степь в пустыню. Сергей возвращался на свинарник поздно, ужинал вместе с сестрами и, утомленный за день, валился на свой топчан. Он все еще переживал свое выселение с печи, но Маша, казалось, давно уже об этом забыла. Она-то, может, и забыла, но когда сестры, закрыв сарай и справившись с работой в котельной, уходили “на улицу”, он как-то странно ревновал их, и мысли появлялись такие, в которых стыдно было признаться себе самому.

Все труднее становилось находить свежие участки в степи, полянки или увлажненные родниками балки. Он привык к солончакам, загрубелым кустам колючек, к серым с потрескавшейся кожей ящерицам.

Однажды вечером Маша после ужина сказала, как бы шутя:

— И чего ты все дома тай дома? Хиба ж нельзя питы на вулицю?! — И повторила по-русски: — Разве ж нельзя пойти на улицу? — Он не сразу понял, но она кивнула в сторону села, откуда доносились звуки гармошки и голоса поющих девчат. Что он мог ей сказать? Он и сам не раз порывался туда, но... однажды даже постоял рядом с танцующими парнями и девушками, но быстро ушел — стыдился своей старой одежки и танцевать не умел. Летом ведь не натянешь этот проклятый китель, не говоря уж о ботинках. Он все думал пойти в правление — поговорить с председателем, да не решался.

В тот вечер, когда Маша намекнула, что не мешало бы ему оставить их одних, он особенно обиделся, потому что с той же необъяснимой ревностью заметил на сестрах новые ситцевые платья. Они ждали гостей. Вообще они очень переменялись после ночного костра на базу... Стали смело гнать самогон и продавать его, появились деньги, мужики стали в сторожке привычными гостями. И вот сегодня они, наверно, ждут очередных женихов.

Сергей спустился к речке: ему всегда помогала вода, ее течение... Ночь была лунная, тихая и теплая, в воде трепыхались звездочки,



порой выплескивалась рыба. Он сидел, обхватив руками колени, и думал о том, что делать дальше, как жить. Уйти опять бродяжить? Кричать в детской комнате милиции: “Дядь, отпусти, больше не буду?!” Противно... Да и кто с тобой станет возиться — скоро шестнадцать: усики вон объявились. Да и сможешь ли ты расстаться с Машей и Наташей, с Лёнькой и Галей, с дедом, даже с Митькой Абыхвостом, которому ты так и не доказал, что... Неважно, что ты должен ему доказать, но — должен! И научиться скакать верхом без седла, и косить, и нагружать арбы... И все-таки о чем бы он сейчас ни думал, слушая отдаленную гармошку и глядя на лунную дорогу вдоль реки, он никак не мог забыть о том, что сестры сидят теперь в сторожке с женихами. Ему казалось, что он не такой, как все его сверстники, он — хуже их всех, трусливее, и в то же время никто из них не может похвастаться мыслями, которые не дают ему покоя. Да был бы он старше — он бы просто женился на Наташе! А что?!

Он вздрогнул — чьи-то руки, обхватив ему голову с затылка, прикрыли глаза. Прикосновение было теплое, ласкающее, а ладошки шершавые и маленькие, дыхание человека учащенное, какое бывает у детей и подростков. Это могла быть только Галья!

— Ты чего тут сидишь один?

Он покачал головой и улыбнулся:

— Присоединяйся, будем вдвоем!

И она села рядом с ним. Так они промолчали несколько минут, прислонясь друг к дружке коленками. Ему и в голову не пришло спрашивать у девчонки, чего это она так поздно оказалась у реки. Он не мог подумать, что, придя к деду, вернее, будто бы к деду, а на самом деле к нему, она застала в хибарке веселую компанию и пошла его разыскивать. Среди поющих и танцующих не нашла...

— Замерзла? — спросил Серёжка, с улыбкой оглядывая ее фигурку. Поверх дневного платица она накинула шерстяную кофточку, как это делают девушки и молодые женщины, да и по тому, как она держалась, было видно, что ей хочется выглядеть постарше.

— Может, пойдем, а то холодает? — сказал Серёжка. Она вздохнула и встала. И тут он догадался спросить:

— Слушай, а как это ты меня тут нашла?

Он улыбнулся. Он всегда улыбался, глядя на нее. Но сейчас она по-своему истолковала его улыбку и звонко, с обидой выкрикнула:



— Никто тебя и не искал, и не задавайся, понятно? — И убежала. “Улица” разошлась, но с другого конца деревни доносился одинокий жидкий голосок гармониста, который поддерживал себя басами.

Как Сергей сейчас завидовал парням и девушкам, которым ехать на сенокос! Там живут табором, под открытым небом. Работают до упаду, но и веселятся до упаду! А он тут болтается, только мешает сестрам. Он так себя разжег, что, казалось, никогда и ни о чем он так не мечтал, как о поездке на сенокос. Он добьется этого, он поедет туда.

В хибарку заходить не стал, приютился на соломе возле сарая, где уже похрапывал дед. Это была первая ночь, проведенная Сергеем вне сторожки. Утром его разбудила Маша. На ее широком добром лице было выражение вины, но она тут же улыбнулась ему шутливо и насмешливо. Усаживая глупого парня на топчан завтракать, она легонько шлепнула его по губам, дескать, не дуйся... Наташа и вовсе не могла смотреть ему в лицо. В движениях и жестах сестер появилась плавность и вкрадчивость... А ему было стыдно и горько...

В тот же день он пошел к председателю.

— Ну, выкладывай, что там у тебя? — спросил тот, выходя из правления. Он по-прежнему был толстый и румяный, и, едва сел в дрожки, у него отвис живот. Несмотря на тридцатипятиградусную жару, он был одет в защитный френч, галифе и широченные хромовые сапоги. Со всем этим плохо вязалась штатская соломенная шляпа, но в фуражке он бы слишком потел.

Сергей сбивчиво говорил ему о сенокосе и об одежде...

— Ишь ты! — На лице председателя было нетерпеливое выражение. Он считает, что помочь парню надо, но — рановато, не разбаловать бы. Когда-нибудь в райкоме можно сказать к месту: “Что?! Ваши беспризорники разбежались?! А мой работает... Осенью собирается в школу!.. Мы ему и одежонку справили...” И председатель распорядился, чтобы парнем занялись в бухгалтерии. — А насчет сенокоса говори с ним...

— Ну что тут такое? — спросил дядька Семён.

Сергей поднял на него глаза. Теперь, когда на конюхе не было зимней одежды, он казался еще угрюмее и страшнее: заросшее щетиной лицо, торчащие из ушей и ноздрей волосы,



хмурый взгляд в переносицу собеседнику. Вдобавок ко всему, конюх то и дело пощелкивал камчой о голенище сапога.

— Да это я так, — струсил Серёжка.

— Ну-ну, чего ж так? — неожиданно мягко спросил конюх. — Лошадей запрягать научился? Ну и добре...

На складе нашлась выгоревшая спецовка, правда, не по росту, но ее и предложили Серёжке.

— Покуда купишь что-нибудь подходящее, — усмехнулся кладовщик, тот самый дядька Макар, который оскребал кабана Ваську и все носился с ножом. Он также отыскал справные, хотя тоже великоватые, ботинки.

Все складывалось отлично. Оставалось отработать последний день на пастбище. День этот прошел весело, с приключениями.

Никишка привык к новому чабану, они сработались, и, если бы козел умел говорить, он сказал бы примерно так: “Вот это чабан! И сам меня не обижает, и другим не дает в обиду. Не садится на меня верхом. Счищает с боков репяхи и колючки!”

День выдался особенно знойный, густо-синее, точно затвердевшее, небо не допускало и мысли о дожде и прохладе. Сергей нетерпеливо ждал того часа, когда можно будет отправиться с отарой к реке. Ему представлялось, как он ныряет с трамплина и плывет под водой.

Пастушата на тырле почти не вылезали из воды. А когда они напрыгались и наплавались до головокружения, из-за реки пришел Султан. Едва увидев его вдалеке, мальчишки, говорившие о завтрашней поездке на сенокос, мгновенно встрепенулись. У него было узконосое и в то же время горбоносое лицо, широкие плечи и кривоватые ноги. И хотя одет он был в обычную серую майку и пузырящиеся на коленях штаны, весь его вид говорил о том, что человек он необычный. Спокойная небрежная походка человека, который никого и ничего на свете не боится. Гордое выражение лица — Султан-чеченец!

Мальчишки уже не могли отвести от него взгляда.

— Знаешь, как он дерется?! Ногой до морды достает!

— Да вин усих мужиков побивай!

Все это говорилось шепотом, хотя Султан был еще далеко. На плече он нес “кошку” — длинную палку с крючьями на конце, ею вытаскивают из реки мордушки.



— Ой, чего-то живот схватило! — прошептал Лёнька, сморщился, и его веснушчатое лицо покрылось потом. Он то порывался встать, то ложился на живот, и все косил взглядом туда, где Султан шарил “кошкой” по дну затона. Мордушки на месте не было. Лицо чеченца хмурилось. Сергей, глядя на Лёньку, все понял, но понял он и то, что, если бы на мордушке было написано, чья она, то Султан мог быть уверен, что его-то корзина в безопасности, да ведь как узнаешь...

Сергей хотел крикнуть: “Удирай!” Но и он, и Лёнька заметили, что Султан смотрит в их сторону, и это их сковало на секунду. В следующее мгновение Лёнька спохватился, заметался и, вместо того чтобы бежать в деревню, бросился в воду.

Султан разулся, подкатал брюки до колена и вошел в речку. Он нашарил-таки свою мордушку, но в стороне от того места, куда ставил.

Мальчишки, сидя на песке, притихли. Они мечтали о том, чтобы хоть одна шальная маринка оказалась в корзине. Всем было ясно, что мордушку кто-то вытрусил, и все знали, что сделал это Лёнька. Но вообще-то бывают случаи, когда рыба суется в пустую тару, а назад выйти не может. Но это был не тот случай...

Султан вытряс из корзины лягушат, положил в нее кусок черного засохшего хлеба и, раскачав, бросил на прежнее место.

Лёнька плавал посередине реки, не решаясь даже выйти на противоположный берег и дать стрекача. Он, словно примагниченный, не мог оторвать глаз от чеченца. А тот приближался к пастушатам. Вот он кинул на песок “кошку” и спросил:

— Ну! Кто таскал рыба?..

Мальчишки вскочили на ноги и стали божиться:

— Я не бачив, шоб мени...

— Я только пришел, дядя Султан...

— Э-э, — чеченец презрительно махнул рукой и точно бы скосил их.

— А ты?! — закричал он на Серёжку, спокойно сидевшего на песке. Тот ничего не ответил, только сжал губы.

Султан еще раз обвел мальчишек черными зрачками и точно обнюхал их вздрагивающими ноздрями. Он понял, кто тут виноват, и вскользь измерил взглядом расстояние между собой и плавающим Лёнькой. Он быстро снял майку и брюки, —



у него оказалось белое мускулистое тело, — и пошел к воде. “Еще утопит сторяча”, — подумал Сергей. Он плохо соображал, что нужно делать, чтобы остановить Султана, а тот уже подходил к воде.

— Эй ты! — вскричал недавний колонист, подбегая к чеченцу. Султан от неожиданности опешил, потом улыбнулся:

— Каво “ты”?! Чиво ты?!.. — С этими словами он как-то весело размахнулся, чтобы, походя, смести глупого пацана с дороги, но тот поднырнул ему под руку и “взял на кумпол”, то есть двинул ему головой в лицо.

Султан расширил глаза и бросил свои ручищи к горлу Сергея. Оба закачались, и, когда стали падать, на спину Султана обрушился страшный удар. Чеченец выпустил своего противника, и тот припустился вслед за пастушатами по направлению к деревне. Убегая, он успел увидеть, как Султан схватил Никишку за рога.

Они добежали до огородов и оттуда, еще задыхаясь, судорожно хохоча, смотрели, как Султан крутил рога козлу, потом вдруг отпустил его и, ударив себя по бокам, принялся хохотать, издавая при этом странные птичьи звуки.

Тимоша

“Мучной” базар раскинулся посреди Джамбула на высоком холме. Он только назывался “Мучным”, а торговали здесь всем, что только можно придумать. Дымящийся плов и дунганская лапша, арбузы, дыни, вареная кукуруза. Старик-дунганин, сидя прямо на земле, ноги под себя, продавал саксаул. Серёжка долго приглядывался к нему: может, и этот не старик, а переодетый вор?! Но однажды, во время облавы, пацаны видели, как милиция обыскивала старика и ничего не нашла... Здесь можно было купить фуфайку и кальсоны с солдатской меткой, трофейный аккордеон и отрез на костюм, а также самую настоящую боевую винтовку или даже наган с патронами, но уж это надо было уметь. В загоне для скота визжали поросята, блеяли овцы, мычали бычки и телочки, кричали петухи. Торгуясь и зазывая, орали на разных языках казахи, киргизы, дунгане, русские, корейцы, немцы, греки, чеченцы... Легче сказать, кого здесь не было! По-настоящему здесь хозяйничали бабы-перекупщицы. Солдаты из госпиталей, беспризорники, инвалиды, люди всех и всяческих



профессий и бездельники, воры всех мастей, а также колхозники и кочевые казахи — всё это шумело, пестрело, суетилось. Пилотки, тубетейки, тюрбаны, платочки, чубы и бритые головы... Знойное небо, пыль, жажда, рёв ишаков... Казалось, что полдень длится вечно...

Пели под гармошку и выплясывали в пыли солдаты-инвалиды, подвыпившие, на костылях и в колясочках. Пели что-нибудь жалостливое, вроде: “Как во городе, во Саратове отец дочку резал свою” — на мотив “Кирпичиков”, или “Скорый поезд к перрону подходит, пассажиры спешат на перрон, а за ними бежал беспризорник, его гнала охрана кругом”. И, конечно, фронтовые, но на манер блатных, для “жалости”...

Серёжка с Карабалой сразу оказались на подхвате у базарных торговков. Необытная баба Маня сидела на двух стульях, а худющая баба Шура вообще не присаживалась, но пацаны знали, что они обе только для вида предлагают покупателям пудру и духи... У них были отрезки крепдешина, золото, колечки, лакированные “лодочки” — все это воровское, чаще всего переправленное из других казахских или среднеазиатских городов. Время от времени ребята оповещали торговков, что на горизонте “легаши” и какие — многие были “своими”... За все это пацанам перепадала мелочь и кое-какая жратва. Они, конечно, догадывались, что работают на “Черную кошку”. Эта банда орудовала почти в каждом городе еще с конца войны, а может, и раньше: Серёжка впервые услышал о ней в Токмаке в сорок четвертом. А так, на первый взгляд, это были бабы как бабы. Любили пустить слезу, могли подкормить инвалида. Жильем для ребят служила прежняя старая мазанка возле кладбища. Одна стена этой хибарки обрушилась, и на ее месте вырос кривой тополек. Рядом протекал арык, а вокруг росли лопухи да бурьян. Пацаны натаскали с базара тряпья. Карабала даже примус где-то стянул, но керосина не было да и не хотелось летом коптить белый свет, обходились костром, благо курая хватало. За кладбищем начинались огорды, там добывали картошку, кукурузу, сою.

А потом они встретили Тимошу.

Город был как бы разделен между инвалидами: одни промышляли на базаре, другие — возле кинотеатра, третьи хозяйничали на вокзале, но иногда эти неписанные правила нарушались



неопытными новичками. На “Мучном” верховодили Сашка-культяпый и Петька-безногий. “Я родился на Волге в семье рыбака...” — надрывно заводил светловолосый и всегда во хмелю Сашка, который потерял все пальцы правой руки, что не мешало ему выделять всяческие коленца на гармошке. Петька-безногий, хмурый и злой, сидя в своей коляске, прошивал окружающих черными цыганскими глазами так, что те сразу отворачивались или спешили опустить мелочь в его засаленную кепку. Петька потряхивал немытыми смоляными кудрями и отрывисто выдувал на немецкой губной гармошке “Розамунду”. Колясочка подергивалась взад-вперед, а по лицу инвалида текли грязные слезы. Иногда он забывал на земле свою кепку, но ее никто не трогал.

И вдруг на “Мучном” появился Тимоша! Высокий, хлесткий и веселый, с выгоревшими изжелта-серыми волосами. И руки и ноги у него были в порядке, да и какие это были руки и ноги! Тимоша подходил к балаганчику с силомером и, пока не надоест, вскидывал над головой двухпудовую гирию. А однажды он на спор разбил один силомер, и балаганщики перестали его подпускать к себе. Было ему лет тридцать, он потерял правый глаз и правое ухо. “Слизало при взрыве гранаты!” — говорил он сам. Он носил широкую марлевую повязку. Появившись на базаре, он растянул свой баян и заиграл “Три танкиста”, потом “Катюшу”. Это было так необычно, что вокруг солдата собралась густая толпа. Пыль, толсто устлавшая базарную площадь и повисшая в воздухе, хрустела на зубах. Зной, запахи пота, навоза. И когда толпа зашумела и стала подпевать, Тимоша вдруг сбросил двумя пинками кирзовые старые сапоги и, наяривая “страдания”, пошел вприсядку, вздымая тучи пыли. Некоторые пустились в пляс, а другие стали прихлопывать и подсвистывать.

— Во дает, а! — Карабала тащил Серёжку в круг, чтобы рассмотреть все как следует, но едва они приблизились к Тимоше, как началась драка: Сашка-культяпый, подойдя сзади, ударил баяниста по затылку, когда тот танцевал вприсядку. Тимоша не удержался и вместе с баяном уткнулся в пыль. И тут ему в волосы вцепился Петька-безногий. Страшно матерясь, он ткнул солдата лицом в пыль, но Тимоша выпрямился и как-то нехотя оттолкнул Петькину колясочку... Потом он сунул баян в руки Карабале, стоявшему рядом, и схватил за шиворот Сашку-культяпого.



Тот втянул голову в плечи, а Тимоша, усмехаясь, несильно размахнулся и отвалил ему подзатыльник.

— Вояки сраные! — сказал он, оправляя одежду.

— Я т-тебе, падло, я т-тебе, с-сука! — орал Петька, размазывая слезы и раскачиваясь на своей коляске. — Что, мало места в городе?! Я т-тебе...

И тут появился молоденький милиционер, весь в поту, нос картошкой и на лице выражение мальчишеской задиристости.

— Чего ты тут развоевался? — прокричал он Тимоше срывающимся голосом. — А ну покажь документы!

— На меня напали, я же и виноватый? — беззлобно ответил солдат, снимая с плеча руку милиционера.

— Ты, Санечка, не трожь его, — добродушно посоветовала баба Маня и заворочалась на двух стульях. — Иди себе, Санечка, иди...

Санечка покраснел и пошел прочь.

— Пошли, солдатик, покормлю, проголодался, небось? — возле Тимоши увивалась рыжая Валентина. В цветастом платье, с густо накрашенными губами, она усадила солдата на табурет и пододвинула к нему три вареных кочана кукурузы.

Соседние торговки зашептались:

— Успела, стерва!

— А хорош солдатик!

— Ну что, огольцы, кишки марш играют? — Тимоша обернулся к ребятам, которые так и ходили за ним следом. — Ну-ка подзаправьтесь. — И протянул им два початка.

— Да я сама, сама подкормлю ребятешек! — сладко улыбнулась Валентина.

— Гля, гля, добрая гадюка! — зашептала баба Шура.

— Нашла чем угощать! — презрительно сказала Зинка-повариха, грудастая баба в платье из тонкой просвечивающейся материи. Лицо у нее так и лоснилось, а на голове торчала соломенная шляпка, делавшая это лицо еще круглей и огромней. — Иди-ка, служивый, похлебай лапшицы. — И пока Тимоша наворачивал деревянной ложкой лапшу, Зинка умиленно разглядывала его широкие плечи и мокрую от пота гимнастерку.

— Повязку бы заменить, а то, вишь, запачкалась, — негромко сказала повариха и притронулась пухлой рукой к мокрой и грязной марле.



– Лапш-щицы! – шипела рыжая Валентина. – Поработала бы, как я! А то, гляди, обворовывает бедных солдатиков... Лапш-щицы!

– Чего, чего? – Тимоша, нахмурившись, обернулся к Валентине.

– Да болты болтает! – отмахнулась Зинка. – Слушай их больше! И чего это люди таки завидуши?! – И, наклонившись к солдату, прошептала:

– Вот распродамся, пойдем, баньку истоплю...

– Во! Точно гадюка! – прошептал Карабала, догрызая початок.

– Дядь, не ходи до нее, она плохая, – быстро сказал он Тимоше, стараясь не глядеть на Зинку, – она, она...

– Ну-ну, говори, чего она? – Тимоша перестал жевать.

– Она кухарка в госпитале, вот и ворует! – отчаянно выкрикнул Серёжка.

Тимоша ничего не спросил у Зинки, но вдруг сощурил свой единственный глаз и, как бы смущаясь, прошептал, но вполне слышно:

– Спасибо тебе, молодичка, за лапшу... только я это... ранетый... Негожий я, ей-богу...

– Вот те и лапш-шичка! – залилась рыжая Валентина.

– Ну! Отмочил солдатик! – заворочалась на своих стульях баба Маня.

Вздыхая, она хлопала себя по необъятным бокам. И тут к Тимоше подошли два милиционера – давешний Саня и пожилой казах.

– Предъяви документы! – строго сказал пожилой.

– Испугал! – спокойно ответил Тимоша и подал ему какую-то бумажку, которую достал из кармана гимнастерки.

– Та-ак! – милиционер вытер потный лоб и поправил фуражку: – Направление в артель инвалидов. Вот и ступай по назначению...

– Артель-фортель! – усмехнулся Тимоша и нахмурился, видя, что оба милиционера стоят по бокам, точно собираются взять его под руки.

– А иди-ка ты своей дорогой, вошь тыловая! – негромко сказал он пожилому и чуть подался к нему: – Иди, говорю, не то...

Пожилой смутился, глядя на Тимошину повязку, но, отойдя на шаг в сторону, пригрозил:

– Будешь оскорблять – заберем! Герой тоже мне...



— Так! — сказал Тимоша, когда милиционеры ушли. — Брюхо набил, теперь бы вздремнуть минут шестьсот...

Он развернул баян и заиграл “На сопках Маньчжурии”. “Плачет, плачет мать-старушка, плачет молодая жена... Плачет вся Русь, как один человек, свой рок и судьбу кляня...” — пел солдат, прислонившись спиной к столбу.

— Дядь, пошли до нас, а? — попросил Карабала, заглядывая ему в лицо.

— Это куда — до вас? — солдат поставил баян на прилавок и добродушно подмигнул Зинке. Она сердито отвернулась. Тимоша оглядел лица пацанов, их драную одежку:

— Беспризорники?

— Ага! У нас тут местечко есть, целая хата. Там хорошо — арык, травка! — соблазнял Карабала.

— Ну если травка, то пошли. Хотя, постой-ка... — Тимоша вытащил из кармана галифе смятые трешки и рублевки и, обращаясь к торговкам, но ни к одной в отдельности, тихо спросил:

— А что, бабоньки, самогончику не найдется?

Зинка фыркнула, а Валентина поманила солдата к себе. Она быстро сунула ему в карман галифе поллитровку с мутной жидкостью, но от денег отказалась. На миг привалившись к нему, она прошептала: — Потом, потом...

— Ну, огольцы, ведите в свою берлогу!

Когда пришли на место, Тимоша, оглядев глиняную мазанку и тряпье на полу, покачал головой:

— Ну и хата...

— Щас разведем огонек, картошечки напечем! — суетился Карабала.

Они отправились с Серёжкой собирать курай, а солдат, опустив босые ноги в арык, прихлебывал из бутылки самогон. Когда ребята возвратились, он спал прямо на голом полу.

Ребята поели печеной картошки и стали собираться в кино. Рядом с “Мучным” был парк, по вечерам там крутили под открытым небом фильмы. Пацаны, взобравшись на карагач, все прекрасно видели. Правда, иногда их гоняли милиционеры: они направляли тебе в лицо луч фонарика и ослепляли на миг, заставляя слезить на землю, но это было редко, да и не все слушались. Что они, будут торчать тут до утра?!



Сегодня показывали “Дубровского”. Машу играла артистка, очень похожая на Марусю-парашютистку.

Серёжка ужасно переживал за нее. Он сразу сообразил, что француз никакой не француз, а Дубровский. И до слез было обидно, когда она ему отказала из-за какого-то там...

– Дура она все-таки! – высказался он, когда они слезли на землю.

– В натуре! – согласился Карабала.

Ребята доели остатки печеной картошки и легли спать рядом с Тимошей. Серёжка вспоминал сегодняшний день – как появился солдат с баяном, как его обступили, а Сашка с Петькой... постой! А ведь в спецремеслухе были тоже Сашка и... нет, там был Федька...

В голове всё стало мешаться, и колония, и кино про Дубровского, и Тимоша, – и все происходило на “Мучном”.

Он уже почти спал, когда в хибарку вошла рыжая Валентина. Серёжка сквозь ресницы увидел белую кофточку и услышал, как женщина прыснула:

– Ну и семейка!

– Потом она пошла на цыпочках в уголок, где спал Тимоша. Серёжкин сон пропал. Он понимал, что надо прогнать рыжую, но стеснялся, а Карабала дрыхнул хоть бы ему хны!

– Нет, нет, тут не надо! – отбивалась Валентина от солдата. – Пошли на улицу, а то ребятки проснутся.

“Вот зараза, все-таки увела!” – думал Серёжка и стал будить Карабалу.

– Эх ты-и! – упрекнул его дружок. – Отпустил, мог бы меня разбудить.

На следующий день на “Мучном” не было ни Тимоши, ни Валентины. Говорили, что они “крутят жгучую любовь!”.

Он пришел к ребятам через двое суток. Лицо желтое, под глазами синие круги. Он пил из арыка воду, потом стал рваться...

– И чего это ты так нахлебался?! – стал его ругать Карабала. – Просто сил нету глядеть на тебя... А еще солдат!

– Что-о?! – Тимоша от удивления раскрыл рот. Ему, наверно, стало как-то жалко пацана, а может, стыдно, он поморщился и пообещал: – Ладно... не буду...

– Покалечило, так уж сразу и пить?! – ворчал Карабала.

– Говоришь, покалечило? – Тимоша провел рукой по свежей марлевой повязке...



А наутро он опять пропал. И тогда ребята вспомнили, что ведь он уходил к Валентине с баяном, а вернулся пустой.

— Может, продал? — предположил Карабала.

— Ну да! Станет он тебе продавать баян! Его и так любая накормит! И тут же, как из-под земли, появился солдат, да не один.

Рядом с ним стояла молодая светловолосая женщина в длинном старом платье. Она держала за руку девочку лет пяти-шести, на вид чистую казашку. В руках у девочки был ободранный плюшевый медвежонок.

— Вот! Теперь у нас тут целый цыганский табор! — весело сказал Тимоша. — Знакомьтесь, огольцы, это Анна... ну, для вас, тетя Аня...

— А я Таня-Татьяна, — смешно выговорила девочка и протянула ребятам темную ладошку. Женщина, краснея через загар, также протянула руку каждому из них.

— А вы тут живете? А почему у вас нету стенки? А вы кто такие — дяди или мальчишки? — тараторила девочка.

Картошка испеклась, все сели в кружок и стали есть. Женщина вдруг замигала-заморгала и стала объяснять сквозь слезы:

— Вы, ребятки, не очень ругайте нас с Танечкой... Мы ехали, ехали аж из Мерке... нам надо в Курск, а у нас кто-то украл карточки...

— В Курск, — прошептал Серёжка, — в Курск! — И не удержался: — Так ведь я тоже оттуда! Ну не из самого Курска, а там недалеко.

— Правда?! — женщина улыбалась, а слезы текли и текли по ее загорелым щекам: — Так и я не из самого, я из Льгова...

— Ну! А я из Михайловки!

— Это слобода-то? Знаю, как же!

— А папашу вы где потеряли? — брякнул Карабала, кивая на девочку.

— А-а! Вот они все, голубчики! Ну и семейка! — перед ними стояла рыжая Валентина. В цветастом платье, с распущенными медными волосами, руки уперлись в бока. Она обвела взглядом всю компанию, как бы споткнулась об Анну, невольно прислонившуюся к Тимоше.

— Что, женку себе подыскал, старый козел?!

— Иди давай отсюда, чего ты тут командуешь?! — Карабала вскочил и изо всех сил оттолкнул Валентину.



Она не удержалась и упала в арык. Сразу с нее сошел весь форс: платье облепило фигуру, волосы повисли потеками. Грянул хохот, а Валентина в мокром платье и с “лодочками” в руках, завизжала и закричала:

— Ладно, ладно! Я вам еще покажу! Я разгоню вашу банду... Ты у меня попляшешь вместе со своей сучкой! Ты получишь баян... — и загнула такое, что ребятам стало стыдно перед Анной и девочкой.

— Иди, иди, а то еще искупаю! — пообещал Карабала. Валентина, подхватив сухую глудку с земли, швырнула ее, не глядя, в сторону костра.

— Надо расходиться, — хмуро сказал Тимоша. — Собирайся, Анна, пошли.

— Пойдем, доченька, пойдем...

— А как же ты без баяна? Эх! И понесло тебя к этой рыжей! — упрекнул солдата Карабала. Тимоша вздохнул, поправляя повязку, и взял девочку за руку.

— Прощайте, ребятки, не поминайте лихом!

— Вы, это... Вы не сердитесь на нас, — снова заплакала женщина, — мы ехали, ехали...

— От самого Мерке! — усмехнулся Карабала. — Ладно уж, идите, только скорей, а то она приведет сейчас “легашей”, тогда...

— Слушай, надо украсть у нее баян и отдать ему! — загорелся Карабала, как только они остались одни.

— Да он и уедет, куда мы...

— Ну да, так сразу и уедет! Пошли...

Они знали, где живет рыжая Валентина, — в районе вокзала, недалеко от стадиона “Локомотив”. Там было две-три грязные улочки с покосившимися глинобитными хибарами, убогими садиками. Там жили в большинстве торговцы, спекулянты, промышленявшие на складах и вокруг них, — вокзал с его транзитным духом, с загнанными в тупик вагонами. А уж чего только не было в этих вагонах, которые очень умело загонялись в тупики! У рыжей, как и многих других, был еще один дом, в центре; там она жила с матерью и дочкой-второклассницей, нагулянной, по словам Карабалы, от местного знаменитого вратаря... Но летом Валентина почти все время жила здесь: проще упрятать краденое, откупить, спрятаться самой или спрятать до поры тех, кто поставяет товар.



Пацаны до этого несколько раз помогали рыжей доставлять на перрон или даже на базар судки с борщом, дунганской лапшой, поэтому и двор, и расположение комнат были им знакомы.

Серёжа подставил спину, и Карабала перемахнул через дувал во двор... Вся кривая пыльная улочка была на виду. Серые от пыли шелковицы и топольки, ни асфальта, ни булыжника. В соседних двориках квохтали куры, кричал петух, но ни одного человека не было видно. За дувалом, во дворе, тоже стояла полная тишина. Казалось, прошел уже целый час, а Карабала не подает о себе вести. Может, что-то случилось? Сергей напряженно вслушивался в каждый звук. Но кроме квохтанья кур да гудков маневровых “кукушек”, ничего не было слышно.

— Эй, держи! — раздался наконец шепот Карабалы. Серёжка поднялся на цыпочки, чтобы взять баян, и увидел, что правая рука друга в крови.

— Что это у тебя?! — Он не боялся крови, но сейчас отчего-то испугался и растерялся: баян обрушился ему на грудь и свалил его на землю.

— Да порезал, подумаешь, — отвечал Карабала, — там форточки закрыты, пришлось выдавливать кулаком...

И только тут Серёжка оглянулся и не услышал, а увидел, как из ближайшего дворика вышли два милиционера.

— Легаши! — закричал он, не двигаясь с места. Карабала не растерялся, он нагнулся, чтобы как-то подхватить баян, но инструмент был тяжелый и широкий, невозможно было его взять поудобнее и побыстрее — он опрокинул пацана...

— Держи этого, черного! — высокий милиционер, делая громадные шажищи, догнал вскочившего и набравшего ход Карабалу. Серёжка и не пытался бежать, он не мог бросить друга.

— Дядь, это ж Тимошин баян, — пытался что-то объяснить Карабала.

— А продуктовые карточки тоже Тимошины?! — сказал, усмехаясь, маленький усатый милиционер. Оба были “чужие”, вокзальные, с ними не стоворишься.

— Да ты пойми, если ты человек! — брал на глотку Карабала. — Тимоша — инвалид, не то что вы, тыловые вши!..

— Дак мы еще и тыловые вши?! — высокий завернул руки пацана так, что тот покрылся пóтом.



— Отпусти ему руки, отпусти ему руки! — Серёжка рванулся на высокого, чтобы “взять на кумпол”, но усатый схватил его за руку. ... Так они оказались в детской колонии.

Жеребёнок

Сергей запрягал впервые в жизни. И хотя он много раз приглядывался, как это делают другие, сейчас всё перезабылось. Руки у него дрожали, он больше всего боялся, что вот-вот подойдет дядька Семён и увидит, что запрягать парень не умеет. Надевая на Лыску уздечку, он представлял, как конюх ощеривается, показывая прокуренные зубы, как бьет себя камчой по голенищу сапога и смотрит на него с презрительной жалостью.

Солнце еще не взошло, было прохладно и сыровато. За спиной, на берегу горной речушки Карасу расположился табор косарей. В переводе Карасу — черная вода, Бог знает, почему так называют эти прозрачные речушки, русские зовут их ласково Карасками...

Телеги, травянки, кухня с ямой для котла, горы матрацев и одеял. Оттуда доносились голоса девчат, убиравших постели. Слов не разобрать, но голоса спокойные, девчатам торопиться некуда: пока сойдет роса, косари смажут травянки да пройдут круг-другой.

Конечно же, по закону всемирной подлости, соседом Сергея оказался Митька Абыхвост!

Он потягивался, переговаривался с ребятами и смеялся, но его толстые, небрежные руки делали сами всё, что положено, и Сергей, завидуя ему и приглядываясь к его рукам, тоже затягивал супонь и уверенно, как ему казалось, кричал: “Машка, ногу!” Гнедая смиренная кобыла заступила как раз с той стороны, где к ней присосался жеребенок, она не обращала внимания на Серёжкин окрик. Надо бы огреть жеребенка кнутом, да у него была такая пушистая мордашка, да и весь он такой ладный да складный, что рука не поднимется отпугнуть.

У Лыски был свой жеребенок, но постарше, он остался в табуне, и Лыска, тоже гнедая, но с отметиной на лбу, перетаптывалась, тянулась к чужому малышу, а он, не оглядываясь, раза два отпрыкнулся своей тонкой ножкой. Сергей в душе раскаивался,



что соврал дядьке Семёну, будто умеет обращаться с лошадьми, но ему так хотелось на сенокос! Да и уезжать отсюда в деревню после того, что было вчера вечером... Нет! Он должен справиться, должен!

— Ну, Серёга, готов? Поехали! — сказал Митька Абыхвост. Он уселся на сиденье, подернул вожжи, и лошади тронулись.

Сергей, запрягший наконец, сделал то же самое, но его лошади стояли на месте, и он заметил, что не зануздал их. Пришлось задержаться еще, а в это время кончил запрягать и поехал к загону последний косарь — тоже новичок, пацанишка лет четырнадцати.

Колея шла вдоль реки, освободившейся от тумана. Сергей покачивался на сиденье, и думал о том, что он все-таки сам, без посторонней помощи запряг лошадей, но радоваться боялся — главное было впереди. Караска была всего-то метров десять — пятнадцать в ширину, но уж очень как-то к месту: без нее тут просто были бы обугленные горы, и уж, конечно, никакого луга...

Трава в этом году была хорошая, копешки стояли часто, некоторые были примяты, а иные и вовсе разворочены — здесь проводили вечера косари с доярками и приезжавшие сюда “на улицу” парни из далеких деревень. Сергей им завидовал, особенно Митьке! Ну что в самом деле этот Митька? Рожа красная, шея, как у быка, но девчонки, даже те, что постарше, так и липнут к нему, значит, им этого и надо?! Вчера он пристал к Серёжке — пошли да пошли пить молоко на МТФ. Это так говорилось “пить молоко”, а на самом деле — гулять с доярками кто как может. Митьке доставляло удовольствие смотреть, как недавний колонист смущается, когда старшие ребята говорят о своих похождениях.

И вдруг, назло Митьке, как бы срываясь в яму, Сергей сказал:

— А что ж ты думал, не пойдешь?!

Молочная ферма, та самая, напротив которой жил и работал Сергей, по весне перекочевывала в предгорье, а то и в горы. Сейчас она находилась за рекой, в полутора километрах от табора косарей. Саманные домики да юрты. Дувалы, ишаки и низкорослые азиатские лошадки. Камни, кустарник. И, как в каждом ауле, множество полуодичавших грязных собак.

Доярки, справившись с работой, сидели на лавочке возле сепараторной. К некоторым уже пришли ухажеры, и перед тем, как разойтись, разбиться на парочки, они вместе лузгали семечки и смеялись,



когда чубатый парень, игравший на балалайке, начинал спокойно и размеренно очередной нецензурный куплет частушки. Пахло здесь кизяками, сложенными для просушки в пирамиды. Пахло парным молоком, пылью, бараньим пометом и тем, чем всегда пахнет в ауле, — кошмой и кислым сыром, который называли “курт”. Временами от реки налетал ветер, и тогда и вихре кружились клочки шерсти, обрывки бумаги, курай, солома, пыль.

— Кого это ты привел, а, Митька? — спросила девушка, показывая Серёжке ненамного старше его. Она сидела с краю, одна, без ухажера, была гладко причесана и круглолица.

— Кого бы ни привел, тебе дела нету! — весело отвечал Митька, вскидывая большую темнокудрявую голову.

— Тоже свекр выискался! — Девушка засмеялась, оттопыривая полные губы, и спокойно взяла Сергея за руку: — Пишлы, молочка налью...

Рука у нее была шершавая и теплая. Он смущенно упирался, но, еще не зная почему, ее он стеснялся меньше, чем других сидевших здесь же девушек. А чубатый парень с балалайкой, не обращая ни на кого внимания, продолжал спокойно и мелодично матерщинить.

— Гляди, Любка, Володьке напишу! А то он там служит, а ты тут с мальчиками развлекаешься! — крикнул Митька.

— Да нехай, нехай, молоденький хлопчик не в счет! — сказала Митькина ухажерка.

Сергей вошел вслед за Любой в сенцы. Здесь было сумеречно, а из угла послышался приглушенный смех — там уже обосновалась парочка. Комната была тесная, сплошь заставленная узкими кроватями. Посредине, впритык к подоконнику, примостился маленький столик. На нем горела семилинейная лампа. Земляной пол днем смазывали, он отдавал желтизной, и к запаху пудры и дешевого одеколona, к запаху молока и человеческого жилья примешивался слегка приторный кизячий дух. За столом сидел в войлочной шляпе и ужинал молоковоз, знакомый Сергея.

— Э-э, Любочка, мой будет ревновать! — сказал он, улыбаясь и протягивая парню черную руку.

— Ладно, ладно, дядько Кадыр, вы ревнуйте, а мы зараз напьемся молочка тай добре! Так, хлопчик? А як тебе зовуть, а? Как тебя зовут?



— Да ну, не хочу я молока! — не зная, как высвободить свою руку из ее размягчающей теплой ладошки, чтобы ее не обидеть, сдавленно отвечал бедный парень, но Люба и не обратила внимания на его слова. Она усадила его на кровать и заглянула в лицо:

— Та, чи ты мене боишься? Посиди, я сейчас... Она ушла, а он не знал, что делать.

— Люба очень хорошая девочка, — тщательно выговаривая слова, произнес Кадыр, — ее не надо бояться.

Она вернулась с большой кружкой молока и двумя кусками домашнего хлеба,

— Вот, будем есть.

Отпив глоток, она передала кружку ему, и так они и пили по очереди из этой литровой алюминиевой кружки.

На столе стояло небольшое, полустертое на обороте зеркало, и Люба, должно быть, неосознанно, по привычке, временами поглядывала в него. Сергей мельком увидел в нем и себя: неестественное, вытянутое лицо, распавшиеся по сторонам длинные выгоревшие волосы — и то, что он увидел, сковало его еще больше. Люба прикасалась к нему теплым плечом, ему было так хорошо, что он боялся потерять сознание, и сидел очень беспокойно. Казалось, что она может внезапно вскочить, усмехнуться ему в лицо и крикнуть:

— Гляньте-ка на него! Сидит тут, прижался... А ну, геть!

Он даже отодвинулся, но Люба тотчас же опять прижалась к нему плечом. Она была в белом халате. Должно быть, его приход помешал ей переодеться. Ее молодое загорелое лицо то надвигалось на него, то, когда она, отхлебнув молока, вскидывала голову, отодвигалось. Оно притягивало Сергея, это молодое загорелое лицо с полными губами, прибеленными молоком, и, даже отворачиваясь, чтобы сделать глотательное движение, он не переставал видеть ее лицо и чувствовать запах мыла и солнца от ее волос. Она что-то говорила и смеялась, прикасаясь к нему руками и оттопыривая отертые от молока, полные, обветренные и чем-то смазанные губы; она смотрела на него и молоковоза, причем, говоря с Кадыром, примешивала к русским и украинским еще и казахские слова, но Серёжка не мог сосредоточиться: он боялся и ждал, что вот сейчас молоковоз кончит ужинать и выйдет на улицу, а он останется наедине с Любой.



— Эй, Сергей! Заснул, что ли?.. — донесся до него голос Митьки Абыхвоста. От неожиданности он соскочил с сиденья травянки. Лошади стояли в загоне. Косари заливали масло в колесные муфты. Новичок делал то же самое. Он спешил, чтобы присмотреться, как они будут заезжать в загон. Трава была выше колена, от нее шел сильный и ровный запах. Сергей вспомнил и повторил про себя слова конюха: “Смотри, не напорись на мелкокороткий кустарник, сломаешь косу. А главное — следи за жеребенком, отгоняй его кнутом...”

Косари включили травянки — и пошло! Сергей ехал вслед за Митькой. Поначалу он старался повторять все движения Абыхвоста, но травянка работала нормально, за нею оставался такой же ровный валок травы, как и за другими, и новичок стал успокаиваться. А когда пошли на третий круг, он почувствовал, что у него все получается, и в груди потеплело. Он представил, как дядька Семён смотрит на него со стороны и говорит: “А что?! Молодец, сук-кин сын!”

Жужжали пчелы, стрекотали кузнечики — это было слышно в перерыве между треском травянок. Звуки эти вместе с отфыркиванием лошадей (косари поопытней вовсе не стали их занудывать, а другие разнуздали теперь), с едва доносившимися сюда голосами девчат, ворошивших сено, с запахами вянущей травы и, как почти всегда здесь, безоблачное небо — это был сенокос, настоящее дело, и он выполнял эту работу вместе со всеми и наравне с самим Митькой Абыхвостом!

Солнце стало припекать, косари поснимали рубашки. Сергей тоже. Загорел он ничуть не хуже других, когда пас в степи овец. И ему опять подумалось, что со стороны трудно отличить опытных косарей от него, новичка. Он затаенно обрадовался, когда один из ребят, правда, тоже из новеньких, сломал косу. Он смеялся, этот белобрысый пацанишка, держа в руке обломок новенькой, блестящей на солнце сегментами косы.

— Обрадовался, дурачина! — закричал на него Митька. — Выезжай из загона!

Пацан весело съехал на обочину, выпряг лошадей, вскочил на одну, держа другую в поводу, гикнул и помчался к табору. На остановке, когда заливали в муфты масло и курили, Митька, покачивая крупной головой, смеялся:



— Вот зараза! Это он нарочно...

— Как это нарочно?! — удивился Серёжка. Другие ребята дружно расхохотались.

— Да так, — отвечал Митька, — очень просто: видно, ему надо домой, а поди, скажи конюху, черта с два он отпустит! Ну а теперь отвезет косу в кузню и гуляй до утра...

— Помнишь, Мить, как мы в прошлом году, когда привезли “Тарзана”?! — сказал Лёнька.

— Э-э, сказал тоже — “Тарзана”! То совсем другое!

— А что же вы тогда? — спрашивал Сергей, единственный неопытный среди косарей.

— Да штука простая, — смеясь, отвечал Митька. — Ты вот заливаешь в муфту масло, а ты... попробуй напудёрить в нее!..

Время шло к обеду. Теперь надо было отгонять оводов. В голове стоял сплошной гул, хотелось пить.

На речке, недалеко от табора, купались ребяташки из аула, косарям слышны были их голоса, видны радужные брызги, поднимавшиеся за каждым ныряльщиком...

Жеребенок уморился или его донимали мухи: он тащился далеко позади и только на остановках подходил к травянке.

— На табор! Обедать! — скомандовал Митька после очередного круга.

Недавно скошенная, чуть привядшая трава пахла одуряюще. Распрягая Машку и Лыску, Сергей потрепал их по холкам и подумал, что вечером, когда к чаю выдадут по кусочку сахару (здесь почему-то давали огромные куски), надо будет расколоть пополам и угостить их. Лошадей отпустили на волю, они сразу взбодрились и веселым табунком побежали к реке.

— Эй, косари! Бешбармак остывает! — кричала с табора кухарка, но косари мчались наперегонки к реке.

На противоположном берегу был трамплин, там всё ещё купались ребята из аула, и когда перебрались через мелководье, Лёнька, первым скинув на ходу одежду, взмыл вверх и колом вошел в воду. Сергей тоже высоко подпрыгнул и нырнул удачно. Под водой он задержал дыхание и так проплыл до другого берега. Тело сразу стало легче, голова свежей. Не хотелось даже высовываться из воды!

Чуть повыше, на перекате, стояли в воде по пояс кони. Сергей с благодарностью отыскал среди них своих и чуть заметного



издалека вороненка. Накупавшись, пошли к табору. Бешбармак был крутой и жирный. Косари быстро опустошили алюминиевые миски, запили компотом из сухофруктов и стали искать пристанища. Под арбами на сене отдыхали бабы и девки. Косари посмелее, конечно, среди них и Митька Абыхвост, устраивались рядом с ними.

Сергей улегся под телегу фуражира, еще раз подумал, как хорошо все сошло до обеда, и заснул.

Пробудился он, услышав хриплый голос конюха, — “Подъем!” и постукивание камчи о голенище сапога.

“Погоди, не спеши, — говорил себе новичок, — дай встать ребятам, а то конюх вдруг станет расспрашивать, что да как, а день-то еще не кончился...”

Было жарко, перед работой не мешало бы искупаться, но при конюхе сделать это было невозможно.

— Черти его принесли! — бурчал Митька.

И снова был загон и треск травянок. Сергей машинально помахивал кнутом, отгоняя жеребенка, нажимал на рычаг, когда нужно было поднять косогон. И всё удивлялся, глядя на себя со стороны. В то же время он не мог отделаться от предчувствия, что что-то должно произойти... Чтобы избавиться от этого навязания, он стал думать: идти или не идти сегодня на МТФ. Очень даже хотелось пойти, но... он стеснялся. А вчерашний вечер закончился так. Молоковоз кончил ужинать, взял свою промасленную фуфайку и собрался уходить. Сергей тоже торопливо встал, но Люба, улыбаясь, легонько, но твердо положила ему на плечи свои руки и снова усадила на кровать:

— Та гостюй ще трохи...

— Нет, я пойду! — В горле запершило. Он пытался не смотреть на нее, но все смотрел и смотрел в ее открытое, улыбающееся, доброе лицо.

— Ну так шо ж, иди...

Она осталась сидеть на кровати, но он, идя к двери и чувствуя затылком ее взгляд, думал, что она только сейчас занята им, пока он рядом, а может, она просто забавляется его смущением и как только он выйдет, она сразу же забудет о нем и обо всем, что было этим вечером. Ему казалось, что было очень многое и такое, о чем должен помнить не только он, но и она.



Ощущение ее теплоты, мягкого, ласкового говора, ее круглое загорелое лицо, ложбинка на груди, повыше — загорелая, а глубже к выемке халата — не тронутая загаром... То, как она, почти не делая различия, смотрела то на него, то на молоковоза и что-то говорила и поминутно заглядывала в зеркало, вытирая после этого губы или скользяще прикасаясь к светлым своим волосам, — всё, что относилось к ней и окружало ее, было так хорошо, что Сергей неожиданно для себя да и чужим каким-то голосом сказал:

— А можно мне завтра прийти?!..

— Так шо ж, — не удивившись и так же ровно улыбаясь, ответила Люба. — Приходи, Серёжа.

Она принялась расстелать постель, и когда он, проходя мимо окна, увидел взметнувшееся платье, почувствовал радость: значит, она ни с кем не встречается?! Постой, а какого это Володьку поминал Митька Абыхвост? Ну да, солдат, служит...

На дворе была ночь. В ауле лаяли собаки, блеяли в загородке овцы, а с той стороны, с табора, доносились звуки гармошки и девичьи голоса. Не успел Сергей сделать и десяти шагов, как из темноты вынырнул Митька Абыхвост. Он хлопнул парня по плечу и сытым, с ленцой голосом спросил:

— Ну и как?

— Что?! Да никак...

— Эх ты-и! А чего ж тогда до них ходить-то?! — сказал Митька и пропал во тьме.

На таборе были разостланы постели, прямо на сене, под открытым небом. Судя по звукам гармошки, “улица” ушла в глубину луга. Возле кухонного котла сидели мальчишки, собиравшиеся в ночное, что-то доедали и смеялись.

Сергей залез под одеяло и, лежа на спине, смотрел на звезды и старался не думать о словах Митьки. Но как было об этом не думать, если это думалось само! Если это не давало покоя и будоражило до слез...

...Косилка остановилась так внезапно и резко, что Сергей едва не вылетел из сиденья. В следующее мгновение он увидел и услышал одновременно, как жеребенок горячо и неверно отпрыгнул в сторону и заржал, точно заплакал.

Его мать, Машка, рванулась было за ним, но травянка была тяжелой, рывок беспорядочен, косилка уперлась косоногом в кустарник,



и лошади остановились. Сергей подбежал к жеребенку, и его шибануло запахом пены и пота. Сердце приостановилось, потом забухало где-то в ушах, когда он увидел, что чуть выше левого заднего копытца хлещет черная, как ему показалось, кровь.

— А-а-а! — закричал он и сам упал в траву рядом с жеребенком. В растерянности он пытался зажать рукой кровоточащее место. Жеребенок рванулся, чтобы встать на ноги, ударил Сергея по подбородку, но боли он не почувствовал, бросился было за вороненком, но сообразил, что нужно чем-то перевязать рану, и побежал к травянке. Схватил рубашку, оторвал от нее рукав, но теперь не удавалось поймать жеребенка.

— А ну! — Митька оттолкнул его в сторону и ловко схватил вороненка за ногу, тот сразу упал. А Сергей тотчас же заплакал от жалости к бедному жеребенку и к себе и от злости на себя. Он вскочил и бросился бежать куда попало, но споткнулся и плашмя упал на землю. Не соображая, что он не упал, а его сбили, опять кинулся к реке, но его снова сбили.

— Ну! Вытри сопли, колонист! — Над ним стоял Митька Абыхвост.

— А-а! Ты так?! — безумный пацан бросился на Абыхвоста, чтобы “взять на кумпол”. За все свои беды и обиды он ненавидел сейчас именно его, этого небрежного деревенского парня, которому все давалось так легко... за его силу, за его небрежность, за все... Теперь казалось, что этого Митьку в разных обликах он знал давно, с самого рождения; и во всем виноват он, с его толстой шеей, бугристой грудью, с его огромной, как котел, темно-кудрявой головой, с его наглыми, как бы поверхностными, но все видящими глазами... С его небрежной усмешкой, которая так неотвратимо действует и на мужчин и на женщин...

— Да ты чи сдурел?! — Митька легко смахнул его железным локтем, выставив его как-то мгновенно и остро, так что Сергей отлетел в сторону. — Охолонь! Ей-богу... Поди лучше вымой морду, вся в крови...

Потом они сидели на берегу и Митька говорил:

— Чудило ты! Ей-бо, чудило!.. Ты что же думал, что сразу все и пойдет по маслу?! Да я вон с мальства на конях, и то не раз подрезал...



– Врешь?! А дядька Семён?!..

– Чего он тебе дался, дядька Семён?! Человек как человек, получше кого другого... Врешь?! А зачем врать-то?! Говорю – два раза подрезал жеребят... Не вошел в работу и подрезал... И ты войдешь... Вот увидишь, войдешь... А пока дуй в деревню, я сам побалакаю с конюхом, дуй давай.

Митька хлопнул его по спине, и он пошел через луг, стараясь не смотреть на то место, где стояла в упряжке его травянка.

До деревни было километров восемь. Сергей шагал по дороге, напрямик, по степи. На брюки нацеплялось репьев, колючки хлестали по ногам, потому что ботинки были зашнурованы только до половины, но он шел, ничего не поправляя. Смотрел себе под ноги, но когда единственный раз поднял голову, то увидел чуть в стороне человека, который ехал верхом по дороге и как бы приглядывался к нему... Как бы раздумывал: подъехать или не надо, и не стал подъезжать...

Митькины слова мало успокоили Сергея. Он думал и думал о жеребенке, о том, что вечером будут говорить о нем на таборе. Дядька Семён выругается и скажет: “А чего еще от него было ожидать?!” И сплюнет, и щелкнет камчой по голенищу. Узнает и Люба и тоже подумает, что он вообще не такой, как надо.

– Ну и пускай, пускай! – твердил он вслух, чтобы наказать себя самого. Ком в горле застрял и никак не проглатывался. Выход был только один – уходить из колхоза. Он представил, как подходит к станции, садится тайком на товарняк и... дело привычное. Чимкент, Джамбул или Самарканд... Да мало ли куда он мог уехать! Везде могут найтись знакомые “по воле” пацаны, хотя многих, конечно, пересажали... Вот именно – пересажали...

Стало темнеть. Попрохладнело. И только теперь он заметил, что идет без рубашки: забыл на лугу, да и куда она без рубашка. А в таком виде далеко не уйдешь. Схватят там же, на станции. Надо что-то придумать. Может, пойти в правление и попросить расчет... И что же? Глупо! Село было рядом, пахло кизячным дымом от топившихся летних кухонь. По дороге только что прогнали стадо коров – еще не улеглась пыль. Мычали во дворах коровы, блеяли овцы. Сергей грустно смотрел на чисто



выбеленные дворовые постройки, окруженные хворостяными частоколами, скамеечки в палисадниках — их через часок заполнят старики, а молодые соберутся “на улицу”. И что же, расставаться со всем этим? Дед сидел на приступке сарая, от него пахло самогончиком. Он сразу же заговорил, чисто по-русски:

— Ага! Вот и ты! Только что уехал Семён...

— Дядька Семён?! Он же не знает, что я...

— Знает, знает! Ты, говорит, дед, успокой его, они там каждый год подрезают... Пстой, а чего це ты без рубашки? Забыл? Пойди до нас, нехай старуха дасть якусь Лёнькину.

— А вы чего здесь сидите? — спросил Серёжка.

— Та у нас там гости, — подмигивая, отвечал сторож. Возле дедова двора Сергею долго стоять не пришлось: открылась дверца сарая и оттуда вышла старуха, Галина и Лёнькина бабушка. Она несла ведро, накрытое марлей.

— Чого тоби, хлопчик?

Он не раз уже удивлялся, какая она маленькая в сравнении с могучим дедом. Не решившись попросить рубашку у нее, он попросил позвать Гаю.

— Зараз покличу...

— Ой, Серёжка! А я думаю, кто это там с нашей бабушкой. — Галя подбежала к нему, секунду помедлила и повисла на шее. Ему в грудь уперлись твердые маленькие комочки. Он чуть отстранился, она догадалась и покраснела.

— А я к тебе по делу...

Галя нахмурилась, потом кивнула и пошла за рубашкой. Принесла сверток в газете, отдала и стояла, ожидая, что он скажет. А он тоже молчал.

— Всё? — спросила она.

“Вот беда, — подумал Серёжка, — наверно, она к нему относится, как он сам к Любе...” Но что он может ей сказать. Сейчас он мог бы вспомнить всё, что между ними было, ничего серьезного, но так кажется ему, а ей? Ему стало грустно и жалко ее, он не знал, что нужно делать, но уйти просто так было невозможно. Он вдруг обхватил ее голову, притянул к себе и поцеловал где-то рядом с губами. Она вскрикнула “ой!” и убежала в хату.



Люба

Степь была рыжая, выгоревшая, на горизонте вѣе те же снежные отроги Тянь-Шаня. И всюду и везде знойное, без единого облачка небо. На дороге лежит толстый слой пыли. Когда налетает смерч, он слизывает пыль с участка дороги, но постоянный сухой ветер тут же заравнивает ее. Бричка молоковоза плотно уставлена бидонами, они качаются, звякают. Сергей никак не может устроиться: на бидонах не усидишь, твердо и шатко, между ними тоже неудобно. Парень ерзает, а молоковоз Кадыр посмеивается. Сейчас, в полдень, он кажется еще чернее, чем обычно, скулы шире, черты лица резче, и он тянет свою бесконечную и рыжую, как сама степь, песню без слов: “О-о-о... А-а-а...” Глаза его закрыты, он похож на спящего, но он не спит – подергивает вожжи, причмокивает губами, он экономит силы, ему лень говорить и смотреть...

Сергей видит его широкую спину, стянутую грязно-серой фуфайкой, высокую войлочную шляпу.

Жарко. Степь однообразна: склоненный под ветром, словно текущий, ковыль, лысины солончаков, сусличьи норы.

Когда они выехали из деревни, горы казались километрах в пяти, но вот они уже едут второй час, а горы всё там же.

Глядя на Кадыра, Сергей вспоминает, как пил тогда с Любой молоко, и ему радостно, что он едет туда, где будет и она; но кто-то внутри него смеется над ним, говоря, что всё было случайно, что Люба и думать о нем забыла. И тогда он запрещает себе вспоминать ее, но снова и снова вспоминает тот единственный вечер. Люба, Люба!

Жарко. Под мышками у молоковоза черно от пота, но фуфайку он не снимает, хотя у него под нею рубашка. Сам же Сергей то скидает, то надевает свою, вернее Лёнькину, темную рубашку – тело загорелое, притягивает солнечные лучи, но и под материей не спрячешься...

– Твой совсем пропал, – усмехается Кадыр, показывая желтые от постоянного курения и зеленого чая зубы. Вместо усов и бороды на его лице растут редкие кустики волос, настолько отдельные, точно их выращивали специально.

– Ну тебе тоже не сладко! – отвечает Серёжка. – Хоть бы маляхай снял.



— Зачем малахай?! — Кадыр кладет свою черную в трещинах руку на голову Сергея, трогает его длинные беспорядочные волосы, дескать, вот этот малахай снять бы не мешало. Потом он освобождается от своей шляпы и показывает своему напарнику круглую бритую голову.

Они надолго замолкают. Солнце печет. Бричка тарахтит. За спинами у них остается пыль, взбитая лошадьми и бричкой. А впереди — теперь уже заметно, что они приближаются, — горы. Сначала холмы, похожие на курганы. Вершины их так выгорели, что кажутся обугленными. Но чем дальше, выше, тем каменнее, а где-то ущелье, там, конечно, еще и травка зеленеет, и кустарник цветет. И совсем уж на краю неба снеговые вершины. Сергей представляет, как бы он сейчас бегал по снегу босиком, валялся на нем и хватал его ртом! Но до снега далеко...

И вот уже дорога поднимается в гору. Бидоны отклоняются назад, принимают устойчивое положение, Сергей почти засыпает.

На перевале Кадыр зануздывает лошадей, чтобы не понесли на спуске в ущелье. Внизу вьется речка, похожая сверху на ручеек. Но вот они спускаются к ней, и она оказывается не такой уж узенькой, метров до восьми — десяти в ширину. Ревет, перекачивает камни, пенится. А в ущелье — трава! После выжженной степи здесь точно бы островок лета, даже весна. А вода такая, что больше минуты в ней не устоишь. Серёжка окунается с головой и выскакивает из воды. Кадыр только мочит губы, даже не пьет.

— Чай надо пить, кумыс, — говорит он. — А если пить вода — много надо вода...

И он разнуздывает и поит лошадей и дает им полчаса, чтобы пощипали травки. А потом они отправляются в путь, дорога всё время идет в гору. Сергей опять дремлет...

— Э-эй, бала, вставай давай, приехали! — молоковоз толкает его в бок.

Сергей открыл глаза и увидел большую, сравнительно ровную площадку, две большие юрты и загородку для скота. Но людей вокруг не видно.

— Рано мы приехали, — говорит молоковоз.

Он распрягает лошадей и ведет Сергея в юрту. Там прохладно, полы застланы кошмой, посередине стоит маленький столик,



а в углу куча матрацев и одеял. Хотя людей в этом году здесь еще и не было, запахи обжитые: юрта не первый год служит людям. Пахнет сбитым войлоком и “куртом”.

— Ну я пошел в другую юрту, а ты оставайся здесь. Там семья... А тут... Люба приедет!

И Сергей тотчас представил загорелое, свежее, круглое лицо Любы, запах мыла и солнца от ее волос, оттопыренные полные губы, и до замирания сердца его захватило духом свежести, доброты и простоты. Он еще подумал, что такие же губы были у его детдомовского друга Гришки Пантюхина.

Как-то всё у него тут сложится?

Он вышел на свежий воздух, оставив полог открытым, чтобы проветрить юрту на ночь. Решил пройтись, осмотреться, сократить время до приезда доярок. Здесь ему пасти телят, здесь... Как-то всё будет?! На западе, за двумя отчетливо видимыми хребтами, солнце клонилось к закату, отчего вершины первого, поросшего кустарником, перевала сделались уже сумрачными, а вершины второго, покрытого снегом, особенно облака над ним, еще удерживали лучи заходящего солнца. Вокруг было зелено, пахло травой и цветами, но не так, как ими пахнет на лугу, — воздух в горах более разреженный, у непривычного человека могла бы закружиться голова, но Сергей привык к горной местности, он жил в Азии с начала войны.

Солнце еще не зашло, а уже чувствовался холод снеговых вершин и ледяных рек. Еще час-два и станет по-настоящему холодно. Так уж всегда в горах: днем — лето, ночью — зима.

Сергей шел по ровному месту, ему казалось, что он может дойти до перевала, поросшего кустарником, но вот он взошел на очередное возвышение — и перед ним открылось ущелье. Внизу был водопад, он ревел так, что сразу закладывало уши. Сверху видна была сплошная молочная струя. Брызги и пена сливались в одно. В сгустившейся тьме ущелье казалось бездонным.

Сергей сидел на камне и смотрел вниз. Свод неба, ограниченный горами, был уже усеян звездами, они мигали и казались живыми существами среди полного безлюдья.

Он вернулся в юрту, там было темно. Он зажег спичку, постелил себе посередине, отодвинув столик в угол. Полог оставил открытым и, лежа, смотрел сквозь квадрат на мигающие звезды и слушал приглушенный расстоянием шум водопада.



Так он и уснул в надежде, что теперь-то и начнется новая, настоящая жизнь.

Он не слышал, как приехали доярки. Но когда они вошли в юрту и стали устраиваться, смеясь и ойкая, и продолжая какой-то откровенный разговор о своих ухажерах, и не замечая при свете коптилки, что посреди юрты на постели спит человек, укрывшийся с головой, он проснулся. Он слышал уже кое-что в их разговоре, что не позволяло ему встать и дать им понять, что он это слышал. И он притворился спящим. Вот они стали укладываться, и одна из них села на него. Он поневоле зашевелился, и она испуганно вскочила:

— Ой, девки! Тут кто-то есть...

— Аи! И правда! — Они хлынули было из юрты, но тут Надя, ухажерка Митьки Абыхвоста, которую Сергей узнал по голосу, вскрикнула:

— Девки! Да кому тут буты? Мабуть, Кадыр, чи шо?! — Она поднесла коптилку к лицу спящего и засмеялась:

— Любка, це твий ухажер, як его?..

— Он, он! — согласилась Люба. — Это Серёжа...

Лампу поставили на стол, и Сергей сквозь ресницы увидел Любу такой, какой и ожидал, только вместо белого халата на ней было платье в горошек.

— Ну что ж, Любка, ты и ложись рядышком, — сказала, смеясь, Надя.

— А чога?! Хлопчик молоденький тай чернобровый! — отвечала Люба.

— Може, ты его поцелуешь? — засмеялась одна из доярок.

— Верно, Любка, это тебе готовый женишок! Чего ждать Володьку, может, он там давно уже женился...

Сергей затаил дыхание. И вдруг одна из девушек приблизилась к нему, — он не увидел, а услышал, — нагнулась, обдала его своим теплым дыханием, и тотчас же теплые губы прикоснулись к его губам, чуть сбоку. Он с трудом удержался, чтобы не вскопчить. Сердце билось с остановками. Дышать было трудно, и он молил Бога, чтобы поскорее погасили свет.

Наконец они успокоились и легли спать, а он пробудился окончательно. В нем теперь было как бы два человека: один, которого все знали и которого угнетало, что его не принимают всерьез,



шутят над ним, — этот был в отчаянии, а второй сбивчиво и смутно думал о том, что Люба его поцеловала, хотя и шутя, но поцеловала... и стоит ему сейчас протянуть руку — и он дотронется до нее. Можно под видом сонного придвинуться к ней, и он так и сделал, но положить на нее руку не осмелился. Измученный всем этим, он задремал.

Проснувшись среди ночи, он сразу понял, что, кроме сперттого воздуха, кроме запахов кошмы и кислого сыра, мешает ему еще что-то... и не просто мешает, а не дает покоя... В юрте рядом с ним спали молодые девушки и женщины... А он?... А он?! Что же это такое?! Откуда эта мука?! И самое ужасное то, что Люба вплотную придвинулась к нему и дышит на него, и ее рука лежит у него на груди... Он задыхался, боясь пошевелиться, он чуть не плакал оттого, что ему до смерти хотелось прикоснуться к ней, обнять ее, но он боялся, он трусил. И вдруг, как это бывает с человеком, который долго сдерживался, он сделал произвольное движение — как бы отстранил ее руку в надежде, что она не отстранится, но как только он это сделал, Люба тотчас же отвернулась на другой бок. Он выскочил из юрты, и его охватили горы и звезды. Он стоял, вытирая испарину, и ноги его дрожали. Было холодно, пахло сырой травой, из ущелья доносился гул водопада. Босые ноги замерзли. Но видеть и чувствовать был способен только вчерашний, бывший Сергей, но не тот, кого поцеловала Люба, и теперь почти в бреду он подумал: а что, если она не спала, когда ее рука лежала у него на груди? Как тогда Маша! А отвернулась она только из-за презрения к его трусости. Да! Конечно, это не рука ее лежала на его груди, это Люба обнимала его.

— Эгей, бала! Бергель... (Мальчик, иди сюда!) — услышал он старческий голос и пошел к соседней белой юрте.

На противоположной входу стороне дымил костер. В нос ударило острым запахом кизячного дыма, глаза заслезились, и старик показался обломком скалы...

— Карашо! — сказал чабан-старик. — Ты что тут приехал, а?

Но тот, к кому он обращался, был весь во власти своих мыслей о том, что же было в юрте... Старик был похож на Кадыра, но, кажется, светлее лицом и с настоящей бородой аксакала. Он по-своему понял состояние парня и поспешил успокоить:

— Его не надо боись! Он не кусаит...



Только теперь Сергей заметил сидящего чуть в стороне от костра громадного волкодава. Он смотрел в огонь, и его тяжелая седая голова была спокойна. Но с тем обостренным чутьем, какое у него сейчас было, Сергей представил, как этот зверь может рвануться во тьму.

Он не заметил, как рассвело, как ушел старик и погас костер. Он сидел один, и ветер раздувал остатки пепла.

На взгорке возле юрт стояло стадо коров. В загородке блеяли овцы. Старая казашка доила кобылу. Горы очищались от тумана. Вокруг было много цветов: васильки, колокольчики, какой-то поздно цветущий кустарник. Всё, всё было свежо и красиво... Только зачем это всё, зачем это ему, если его будут презирать, если он сам будет себя презирать за трусость... Как он станет смотреть в глаза другим людям? Как он станет говорить с доярками, с Любой, когда он, как больной, ни на миг не мог забыть, что они — женщины... А спать в юрте рядом с ними?! Видеть и чувствовать каждую секунду, что они — женщины... Знать, что у них есть мужья и ухажеры, которым все можно, и только ему ничего нельзя, потому что он слюнтяй и трус! От всего этого можно было сойти с ума!

Из юрты, где он спал, стали выходить доярки. Он жадно смотрел, как они потягивались, высоко подымая грудь, как умывались, вздымая теплые мягкие руки, а когда надевали белые халаты, становились строже, но стоило кому-то из них потянуться за подойником, и ему в голову бросалась кровь...

Вот сейчас, наверно, выйдет и Люба...

Он не успел еще и додумать, как всё в нем оборвалось и возликовало одновременно: ей, телятнице, незачем вставать вместе с доярками, она сейчас в юрте, одна... одна!

Это было наваждение, это было сильнее его, сильнее всего, что он когда-нибудь в жизни испытывал. Как только он решил пойти к ней, ему стало легче, но возле юрты решимость его стала пропадать. Он затылком почувствовал восходящее солнце. Надо спешить, скоро вернутся доярки. Он не смог одним движением откинуть полог, замешкался. При свете, хлынувшим внутрь, увидел, что Люба приподняла светлую голову, и застыл. Она потянулась, улыбнулась, и это придало ему сил. Надо будет спросить у нее... но что спросить?! Он двигался, как во сне...



Ее круглое, чуть припухшее от сна лицо, теплые оттопыренные губы. Пронеслась мысль, что, конечно, она спала ночью, он все себе навоображал, ее рука легла случайно ему на грудь. Но отступить было поздно.

Она увидела выражение его лица, странную походку, перестала улыбаться и вдруг охрипшим голосом спросила:

– Ты чего, Серёжа? Чого ты?! – повторила по-украински. Ее руки шарили вокруг в поисках платья.

– Люба, Люба...

Он трусил пуще прежнего, презирая себя за эту трусость и пытался победить ее. Он не мог ничего с собой поделать: то, что притягивало его к Любе, было так сильно, в этом так много сошлось, что он был похож на лунатика. Ткнулся ей в подбородок, она оттолкнула его, хотела векочить, но он повис у неё на шее и отыскал её припухшие и мгновенно пересохшие губы.

– Ну, боже ж ты мий! – глухо вскрикнула Люба, и Сергей, боясь что она вырвется и не чувствуя больше сил, заплакал... Она странно судорожно вздохнула, точно хлебнула воздуха, мельком увидела выражение его глаз и обняла его...

Потом он лежал счастливый и глупый оттого, что нашелся человек, который доверился ему, и это была женщина. Она поняла и приняла его, и, значит, он настроящий... и он смотрел на Любу с такой благодарностью и вдруг подумал: “Ну и дурак же ты, Митька Абыхвост!!!..”

А Люба одевалась и со смутной, почти без стеснения, материнской улыбкой косилась на него и повторяла:

– От дурне, от дурне...





ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ, ИЛИ “ЧТО ЗРЯ”

“Дорогой и любимый Иосиф Виссарионович!” — мысленно писал я, но дальше дело не двигалось. Наплывали воспоминания, мешали посторонние мысли. Лучше бы сидеть за столом с ручкой и чернильницей. Не такой уж я грамотный, чтобы сочинять письма без бумаги, да еще кому?! Сталину... Днем, когда мы надумали писать вождю, дома была тетя Маруся, Шуркина и Колькина мать. Как она отнесется к нашей затее? Скорее всего — запретит. Раза два она уходила к соседям, но под ногами вертелся вредный и болтливый Колька. Головастик, как мы его называли, сразу донесет матери.

Мне бы спокойно дождаться утра, когда хозяйка уйдет на наряд, а Колька в школу, — он учится во втором классе, — но я боюсь передумать, да и все равно теперь не уснуть. Дело в том, что я уже несколько дней сиднем сижу дома, в школу ходить не в чем — ни ботинок, ни фуфайки. По совету Шурки я обратился к председателю колхоза, но тот от меня презрительно отмахнулся.

— Ну и черт с ними! — весело сказал мой рыжий друг. — Пиши Сталину, сразу запляшут, я тебе в натуре говорю!

— Ста-алину?! Ты что, в своем уме или в дядьки Панькином?!

— Трус! А еще и беспризорник. — И тут же отвалил мне свой фирменный шелбан.

Шурка Пекарев на год старше меня, ему пятнадцать. Сам он закончил только два класса, пишет, высунув язык, читает по складам, но ничуть не об этом не жалеет: “А-а... все равно быкам хвосты крутить...” Не за кем ему было расхаживать по школам. Отец и старший брат погибли на фронте. Мать почти потеряла зрение — она работала по наряду, там, где не нужны острые глаза. Главным кормильцем был он, Шурка, крепкий рыжий пацан с веселыми желто-коричневыми глазами, большим ртом и железными руками.



Он не занимался спортом, не накачивал силенку, но его побаивались даже взрослые. Делать умел всё и ничего на свете не боялся. У него было какое-то странное любопытство к тому, как устроено всё живое. Бегал в овчарню во время окота, помогал конюхам принимать жеребят, вскрывал внутренности кошкам и лягушкам... Брр! Живодерище!

Два года назад их семье крепко не повезло. В сорок седьмом, голодном, подрядились пасти хозяйских телят: по утрам пастушатам перепадало от сердобольных бабушек и тетушек – то хлебца, то початок кукурузы, то кружечка молочка.

Перед октябрьскими праздниками готовили закрома под расчет, но в стаде оказалось на три головы меньше. Волки оставили бы хоть какие-то следы. Видно, поработали двуногие звери.

Старший брат тети Маруси, дядя Ваня, работал в колхозе конюхом. У него было четверо детей, да еще он приютил убогую Таню, и все же поделился последним, помог сестре купить усадьбу. Так это называлось – “усадьба”. На самом деле был только фундамент дома да место, где был сарай. Да еще садик с тремя корявыми старыми яблонями. И пятнадцать соток огорода. Прежний хозяин после смерти жены переехал в дальнее село к дочери и перевез, разобрав до кирпичика, все свои строения. А за год до этого он вырубил почти весь сад, чтобы не платить налог.

Весной сорок восьмого мы сами вырыли ямку возле фундамента и стали делать саман, благо, почва глинистая и арык рядом. Посадили над водою несколько пирамидальных тополей, а в саду, выкорчевав с десяток заскорузлых пеньков, разместили саженцы яблонь и груш. В самой середине, чтобы укрыть от казахстанских суховеев, аккуратно и с надеждой пристроили два урючных и одно тутовое деревца.

У прежнего хозяина было две жилые комнаты, нам же не хватило леса на перекрытия, а приближалась зима, пришлось смириться с одной комнатушкой и сенцами, остались даже без кладовки.

Саманный домик получился теплым, дядя Ваня с Шуркой сами соорудили широкую русскую печь, где теперь спали тетя Маруся с Колькой. Мы же делили с Шуркой топчан. Полы, конечно, были глиняные, но хозяйка связала каждому из нас толстые грубошерстные носки, вроде тапочек.



Два дня назад тетя Маруся пекла хлеб — дядя Ваня принес немного муки, в доме настоялся кисловатый дух. За окнами была осенняя безлунная тьма, брехали собаки, а я лежал, дожидаясь, пока все позасыпают. И вот хозяйка стала всхрапывать. Головастик уснул еще раньше, а что до Шурки, то мой дружок был готов, как только прикасался к подушке.

Так... Сейчас я встану, вынесу в сенцы табуретку, одна там уже есть. Аккуратно поставлю семилинейную керосиновую лампу. Не забыть потихоньку вытащить из Колькиной сумки чернильницу и тетрадку.

Чтобы не шлепать и не шаркать, я снял тапочки и вышел босиком. Уселся. Пристроил рядом с лампой Колькин задачник, на него положил косой двойной лист бумаги, выданный из тетради Головастика.

Для начала надо изложить, кто я и чего хочу. “Пиши как есть!” — советовал Шурка. Легко сказать! А как есть?! Разве люди говорят или пишут всё так, как есть? Может, начать так: я, такой-то и такой-то, родился там-то и там-то... Остался без родителей и попал в детдом. Воспитывался там, в Курской области, а потом... потом началась война и нас эвакуировали... Вот бы описать, как нас везли по степи, как налетели немецкие самолеты... Описать город Курск, разбомбленный вокзал... Нет, кому нужны все эти мелочи. В общем, был в детдоме, а потом, когда кончилась война, убежал “на волю”. Потом... поймали и направили в спецремесленное училище... Может, добавить, что эти спецремеслухи создавались “по Вашему личному распоряжению, дорогой и любимый Иосиф Виссарионович”? А то он сам этого не знает?!

Значит, потом я убежал из ремесленного, беспризорничал два года... Нет, если не считать детколонию, то полтора. А вот вопрос, писать ли насчет этой самой колонии — как и за что я туда попал? “Э-э, — скажет вождь, — так ты вон какой: мало того, что твои родители враги народа, ты и сам...” Нет, этого не надо. А теперь я — воспитанник колхоза, живу в селе Юрьевка Джувалинского района Южноказахстанской области. Ну вот и вся моя биография. А дальше — чего я хочу, зачем пишу великому вождю свое письмо. Сперва надо рассказать, что летом я пас овец, осенью — свиней, до сих пор пятки свербят — а ну, побегай-ка за этой скотинякой по стерне босиком! Нет, об этом говорить не стоит:



Сталин — вождь и какие-то там свиньи... Надо написать, что школа в Сидоровке, что мне надо отмеривать каждый день по шесть километров туда и столько же обратно, оно бы ничего, да у меня нет ни обуви, ни одежды. А в зимние месяцы тут такие бураны, что и заблудиться недолго. Местные жители с ноября устраивают своих учеников на квартиры в Сидоровке. Бураны, да еще и речка Караска замерзает. Так что же, мне босиком по льду катить до школы? Да и весна тут с придурью: то в марте огороды сажают, а в иной год так даже в апреле, а то и в мае подсыплет снежку: что ни говори, а погоду тут определяют отроги Тянь-Шаня.

Сидоровка — богатое украинское село, там даже в сорок седьмом дали по триста граммов на трудодень. Осенью, когда я еще учился, почти каждый раз после уроков кто-нибудь из местных мальчишек затаскивал меня к себе домой. Густой украинский борщ, да с салом! Да стакан молока или вишневого компота на записку.

Директор школы Михаил Алексеевич Шерегада был по национальности румын или молдаванин, ссыльный, как и многие здесь. Высокий, в длинной шинели без погон, до того провонявший табаком и с такими ядовито-желтыми пальцами, точно это и не директор, а беспризорник, сшибающий бычки. В первый раз, когда я пришел к нему и попросился в седьмой класс, он устал на меня свои черные глазищи и вдруг расхохотался:

— Это что еще за явление?! Почему босиком?

Да, я был босиком, с длинными выгоревшими на солнце патлами, в латаных-перелатаных, пузырящихся на коленях штанах, которые, правда, были выстираны хозяйкой.

— Ну, чего молчишь? Откуда ты появился? — не переставая улыбаться, спрашивал директор.

Я коротко рассказал о себе, умалчивая обо всем, что рисовало меня не с лучшей стороны. Тогда он спросил, сколько я закончил классов.

— Только не придумывай, говори как есть, все равно узнаем...

Я призадумался, не зная, что ответить.

— Не помню... честное слово, не помню!..

Его широкие черные брови поползли вверх.

А я не врал — в самом деле не знал, в каких классах учился, а в каких нет, забыл после тифа и дистрофии. Нужно было вспомнить что-то особенное, такое, с чем связана учеба в том или ином классе.



До войны я в школу не ходил — это точно. Иначе мне пришлось бы подписывать “бумагу”. Нацарапает пацан или девчонка каракулями свою фамилию — и все, гуляй себе спокойно, ты поступил как настоящий пионер, — отказался от своих родителей, врагов народа!

Кажется, в первый класс я пошел в эвакуации в сорок втором. Школа стояла посреди большого дунганского поселка. После мягкой и доброй зелени Курского подстепья сразу как-то запоминались и поражали воображение мутные арыки, персиковые, тутовые деревья. Да и в огородах вызревали необычные для глаза овощи — соя, бобы. И еще такое особенное растение — мак с надрезанными головками и как бы накипевшей на срезе густой жидкостью.

Мы уже знали, что это за сок и отчего так ценятся эти коробочки. Подглядывали в щели сараев, как дунгане курят опиум.

До снега мы ходили в школу каждый день, а потом... Нет, все же первый класс я закончил нормально, ведь во втором уже нет чистописания. А вот на следующий год в наших краях стало совсем плохо с продуктами. Да и лозунг был: “Все для фронта! Все для Победы!”

Наши ботиночки и бушлатики задолго до зимы перекочевали к сверстникам-дунганам, казахам, киргизам... словом, к домашнякам. Ты ему бушлатик — он тебе десяток початков кукурузы или еще чего да в придачу шепотку-другую анаши: “План покуришь, все горе забудешь, и по плану пойдешь воровать...” Такие песенки распевали даже дошколята. То же самое и с башмаками. Но мы люди казенные, оставить нас без обуви невозможно, — нам выдавали колодки, самые настоящие деревянные колодочки! И ничего страшного! Местные дунгане специально заставляют своих девочек носить такую обувь, чтобы ножки были маленькие и узкие. Первое время было смешно: схватишь эти самые колодки в руки и бегом до школы! Но зимой-то школу отапливать нечем, чернила замерзают в чернильницах, а уж босые ноги... Проветришься разок-другой и слег с температурой. В общем, второй класс я закончил только наполовину. В третий ходил, хотя и не до конца. Запомнилась голубая ель, привезенная нам с Тянь-Шаня и поставленная в женском общежитии. Бывший табачный склад или павильон,



а теперь жилое помещение. Там когда-то сушили табак, и для этого между фанерными стенками оставляли люфт, чтобы продувалось. Осенью мы сами обкладывали эти стеночки саманом.

Но в тот новогодний вечер мы своими телами обогрели женское общежитие, опоясав роскошную тянь-шаньскую ель четырьмя кругами. Нашим воспитателям удалось даже где-то раздобыть игрушки. Нам зачитывали отметки за полугодие, кому-то выдавали почетные грамоты. Похорожки в эти два-три дня не приходили, видно, начальство попридержало их до поры. А главное, что было в тот вечер, — это появление Деда Мороза. Он вытаскивал из обширного верблюжьего мешка и вручал нам шоколадки или “второй фронт” — так мы называли американскую тушенку. Самые счастливые получали сгущенное молоко в банках с иностранными этикетками — эти банки присылали из Англии детдомовцам-полямкам.

А вот в четвертом классе я не учился — это точно. Убежал из детдома “на волю” сразу после Победы. Той же осенью меня поймали и направили в спецремесленное — спец... — потому, что эти заведения были основаны для беспризорников и колонистов.

Ничего этого я директору не сказал, но признался, что алгебра или немецкий для меня темный лес.

Он покачал крупной темной головой и весело сообщил:

— Ладно, попробуем посадить тебя в шестой, не потянешь — переведем в пятый. Читать любишь?

— Ну да! Я много чего читал: “Три мушкетера”, “Тайна профессора Бураго”, “Макар-следопыт”...

— Добре, добре... Тебе надо постричься, возьми вот рубль, сходи в парикмахерскую.

После уроков я летел домой, воздавая хвалу всему цыганскому роду, я был тогда уверен, что цыгане и румыны, или там молдаване — одно племя. Минувя выгоревшие и выбитые овцами холмы и лощины, я вспоминал курские луга, Свапу и цыганский табор на ее пологом берегу. Все вокруг так чисто и зелено, небо такое голубое, луг такой пестрый и влажный, и нет ему конца, и только где-то на горизонте в дымке — Трофимовский лес. Если залезть на высокий берег, то даль видна километров на двадцать, и даже глаза устанут, коли попытаешься распутать ленту реки. Но мы знаем тут все наизусть, каждую корягу, каждый ракитовый кустик.



А цыгане! О, как замирало рано поутру детское сердечко, когда, проснувшись, ты слышал диковатый призывный голос тряпичника: “А вот кручки, свистульки, кукулы!” Он так и говорил — “кукулы”... “Пр-рынимаем тр-рапки, др-раные калоши, выдаем свистульки мальчикам хор-рошим!”...

Отдавать нечего, все давно выгребли и выскребли старшие пацаны, и ты мучительно ищешь повод подойти и постоять рядом с тряпичником. А там, за рекой, мы все время вертелись возле табора. Запах лошадиного пота, пестрые одежды цыганок, сладкий дымок костра, кривые телеги и фургоны с тряпьем и другими живописными пожитками!

А цыганята, в драных штанах и всегда босые, они-то, эти чумазые и вольные наши сверстники, крикливые, драчливые, снились мне по ночам. Вот он стоит восьми- или десятилетний чертенок, рот до ушей, черная кудрявая голова всклокочена, а ноги — то ли они такие черные, то ли грязные. Это нас заставляют мыть ноги и перед “мертвым часом”, и на ночь, а у них не жизнь, а малина... И этот чумазый чертенок то зажимает, то разжимает темную свою ладошку и на ней поблескивает то, что для нас дороже золота, — рыболовные крючки, да не один — целый десяток! Он кричит, издевается, показывает острый язычок: “Эй, безмамкин, скидавай давай штаны, получишь кру-чок!” А сам приплясывает, сатана, готовый тут же дать стрекача. Однажды один такой довел меня до слез — так хотелось занять хотя бы один крючочек, а уж леску я бы нашел — ссучишь нитку вдвое или втрое, навошишь или же просто склеишь хотя бы мылом... Я тогда заплакал от обиды... И вдруг услышал грубый голос и увидел, как огромный цыган с серьгой в ухе отвалил моему мучителю подзатыльник, разжал его ладошку и, качая большой головой, стал отдиравать от его кожи рыболовные крючки. Он поманил меня к себе, вложил в руку невиданное богатство и тут же сблизил-столкнул нас с цыганенком головами, дескать, давайте миритесь...

Рубль, который дал мне директор, мы с Шуркой истратили на папиросы.

— Подумаешь, парикмахерская! Да я сам тебя оболваню лучше любого. Зато деньги наши!

Пачка “Беркута” стоила сорок копеек, за ту же цену принимали в потребкооперации одно куриное яичко. Было в этом совпадении что-то непроводное и даже мистическое. Хочешь занять



пачку “гвоздиков” — гони яичко! Но где его достать? У самих Пекаревых не было даже кошки. Да к тому же в нашем полугодовалом существовании сырое подсолненное яичко — это была мечта, смак!

Шурка вполне прилично остриг меня овечьими ножницами. Я стал похож на Емельяна Пугачева, каким он изображен в школьном учебнике.

“Дорогой и любимый Иосиф Виссарионович!...”

Когда Шурка посоветовал, а потом и раскоचेгарил меня писать Сталину, я с самого начала сомневался — а что я скажу великому вождю про своих родителей? Как было бы хорошо, если бы мой отец погиб на фронте! Ведь обманывать вождя нехорошо...

— А что он скажет, если я так и напишу, что мои родители... в общем, это самое? — спросил я у своего друга.

— Чего, чего?! Враги народа?! — презрительно ответил рыжий, выпячивая толстую нижнюю губу, на которой постоянно накинута что-то вроде пены. — Знаем мы таких врагов! Сболтнул какую-нибудь фигню (Шурка сказал откровеннее...) и загудел “по камушкам, по кирпичикам”... А чтоб не скучал, и матку заодно... Да чего ты ему будешь расписывать? Скажи, что нету у тебя ни отца, ни матери, и дед помер к едрене матери! Ладно, шучу, шучу... Короче, пиши, чтобы поставили на квартиру в Сидоровке да купили шмотки... Сталин только моргнет — на цирлах побегут, я тебе в натуре говорю! Только надо это... письмо опустить на станции, а то перехватят... Можно в ящик на почте, а лучше всего прямо в поезд! — И отвесил мне свой железный щелбан. А когда я полез на него, он одной своей левой завернул мою правую за спину и, убедившись, что мне больно, отпустил и подставил свой кумпол: — Отвешивай три за один!

Нет уж, спасибочки! Его хоть кувалдой бей — не почувствует, а твой палец болит потом целые сутки.

Я сидел в сенцах и выводил слова, аккуратно макая перо в чернильницу, чтобы не посадить кляксу. Мне до смерти хотелось курить. Вечером мы с Шуркой продумывали одну операцию насчет добычи курева. А сейчас под угрозой утренних железных щелбанов я завернул в тетрадный клочок два наших бычка, весь НЗ. Когда я затянулся и вдохнул в себя запах паленой бумаги, перед глазами возникла картина: товарищ Сталин держит на руках девочку и улыбается в знаменитые усы.



Я помнил, что девочку звали Мамлакат и что она дочь хлопко-роба из Узбекистана, а вот фамилию ее я забыл. Зато я тут же представил еще одну фотографию – великий вождь со своей дочкой Светланой. Сколько умиления вызвала эта газета в детдоме. Воспитательницы и пионервожатые друг перед дружкой расписывали, как Сталин любит детей и всё такое прочее. И уж никак нельзя было не вспомнить в который раз Марусю-парашютистку. Коротко подстриженная, с ранней весны загорелая, потому что всегда на солнце и – всегда с улыбкой. На плакате, под которым был в красном уголке фотомонтаж, одна из девушек-физкультурниц напоминала нашу любимицу, но та была нарисованная, а Маруся живая, родная! И когда она собирала парашют после приземления, и когда задирала ввысь голову и прогоняла своих подшефных мальчишек и девчонок, чтобы кто-то из старших не упал на них с высоты, – как мы ее любили! А когда приезжал ее проведать отец-пограничник, крепкий, перетянутый ремнями, с орденом Красного Знамени на широкой груди, – весь детдом ходил за ним хвостом.

И вдруг, после его отъезда, мы узнали, что он враг, троцкист-бухаринец. От Маруси потребовали осудить отца, она отказалась. Комсомольское собрание состоялось в том же “красном уголке”. Августо, кумир мальчишек и друг Маруси, испанец, участвовавший на родине в настоящих боях, попытался вступить за свою подругу и ее отца... Собрание проходило после обеда, а к вечеру должен был принять меры райком комсомола. Мы с Дарио, младшим братом Августо, вертели у дверей и всё слышали. Комсомольцы кричали, как на митинге. Августо, почти не знавший русского языка, всё время твердил одно и то же: “Ка-марада, нехор-росо, несесно...” (Нехорошо, нечестно...).

Мне так жалко было Марусю, что лучше бы умереть, но я твердо осуждал Троцкого и Бухарина, – в учебниках истории у них были выколоты глаза! Дарио чувствовал мое настроение и пытался отстраниться.

После собрания старшие ребята отправились в райком. В другое время мы обязательно увязались бы за ними, но в этот день я поступил, как изменник Родины. Когда Маруся вместе с братьями-испанцами отправились к Свапе, я не посмел пойти за ними открыто. Но вот они скрылись за оврагом, в орешнике,



и я по кустам, по кустам стал пробираться вослед. Спрятавшись в густой луговой траве, я наблюдал за тем, как братья утешали плачущую Марусю.

“Дорогой и любимый Иосиф Виссарионович!...”

В сорок четвертом году в Токмак привезли эшелон с чеченцами, карачаевцами и ингушами. Во время завтрака в детдомовскую столовую влетел дежурный и закричал:

— Пацаны! Айда бить врагов народа!

— Айда! Айда! — подхватили детдомовцы.

И свора человек в шестьдесят с “поджигами” и с рогатками понеслась в город. Даже ледяная вода горной реки Чу не охладила наш пыл. Он угас сам собой, когда вместо здоровых и крепких врагов мы увидели несчастных людей, копошившихся вдоль полотна железной дороги. Их просто вышвырнули из скотских вагонов и оставили на обочине. Старухи и матери с детьми, взрослые мужчины и подростки — все истощенные, заморенные, больные...

И только с наступлением темноты сердобольные казашки и дунганки стали уводить к себе женщин и детей. И несколько дней подряд уборщики на вокзале грузили в телеги трупы детей и стариков и, даже не прикрыв простыней, сбрасывали в общую яму.

Некоторые мальчишки и девчонки из числа ссыльных оказались в нашем детдоме. Мы подружились с Курбаном Мусабаевым. Он был старше меня года на два. То, что он рассказывал, было страшно. Людей зашвыривали в вагоны, как скот. В пути умирали от голода и жажды, от болезней. Где-то возле Арала пили паровозную воду, да и ту выменивали у машиниста на женские украшения, чудом оставшиеся при них. Курбан сам видел, как охранники расстреляли перед строем своего же товарища за то, что он отдал банку тушенки женщине с больным ребенком. Мы с Вовкой Малаховым сразу же влюбились в девочку-чеченку Женю Темирсалтанову. Может, ее звали не Женя, а как-то иначе, но похоже. У нее были тонкие черты лица и яркий румянец, мы не знали, что виной тому туберкулез. Носили в барак для малышей жаренные в золе початки кукурузы, сою, персики, соль — все, что удавалось добыть. Однажды мы сидели у ночного костра возле клеверного поля, когда Женя уложила своих маленьких сородичей спать. Была ранняя осень. Мы смеялись, пели блатные песни, и вдруг Женя заплакала и что-то быстро стала говорить по-своему.



Вовка сначала погладил ее по головке, а потом поцеловал в щеку, и она тут же убежала во тьму. Мы сидели у догоравшего кизячного костра, наблюдали за летучими мышами, которые со странным писком пронеслись над нашими головами. Рядом был арык, запруда, слышно было, как журчит вода. Внезапно какой-то дикий ужас охватил мою душу: как раз перед этим мы похоронили двух мальчишек, умерших от дизентерии. Котловина, где лежало наше село, показалась мне теперь страшной и бездонной ямой...

“Дорогой и любимый Иосиф Виссарионович!..” Я никак не мог закончить письмо. Посторонние мысли и картины не давали сосредоточиться.

В детской колонии, а потом и в беспризорщине я не раз слышал от блатных: “Йоська — наш пахан! В натуре...” Надо было писать только о себе, но в том-то и дело, что у меня никогда не было ни своего отдельного времени, ни своего пространства. Невозможно было выделить себя из толчеи.

Той осенью, когда мы с Пекаревыми вселились в свой домишко, к нам пожаловал налоговый инспектор. Мы только что убрали огород, и все добро отправили в новый погреб. Теперь у нас были картошка и лук, свекла и кукуруза. И только громадные желтые тыквы остались в огороде, просвечивая боками сквозь картофельную ботву. Наша голая усадьба выглядела осенью особенно сиротливо. Прямоугольник фундамента, где у прежнего хозяина была вторая комната и кладовка, еще не зарос травой, чтобы не было видно латки, — это служило постоянным напоминанием нашей убогости.

Когда светлый крепыш в кожаной куртке остановился посреди двора, тетя Маруся вязала в комнате носки. Мы с Шуркой резались в “очко”, примостившись на глиняном крыльце. Играли, конечно, на те же “гвоздики”.

— Привет, хлопцы! — наигранным тоном сказал непрощенный гость.

Мы не впервые видели налогового инспектора, он обычно заходил в соседние дома, но что его занесло к нам? Все знали, что мы — нищие.

— Мать дома? — спросил красавчик в кожаной куртке.

— Дома-то дома, да на что она тебе? — поинтересовался Шурка, глядя на него рысьими глазами — такими они становились,



когда рыжий внезапно хватал за хвост ядовитую змею и, мгновенно раскрутив ее в воздухе, клясал о землю.

– Ты мне тут не тыкай! – поднажал баском пришедший, но я заметил, что его серые глазки насторожились. – Говорят зови, значит, зови.

– Чего, чего?! – Шурка сделал пару шагов в его сторону, а тот вдруг побледнел и закричал, сразу охрипнув:

– Брось, бабка! Брось топор! – и в тот же миг, обернувшись, мы увидели тетю Марусю: с поднятым над головой топором она бросилась на инспектора, и спасло его только ее плохое зрение – она споткнулась, сходя с крыльца. Мы с Шуркой повисли у нее на плечах. Инспектор не стал долго ждать, подхватил свою сумку, бросился за угол дома.

– Мы еще с тобой поговорим! – донеслось оттуда. На следующий же день хозяйку вызвали в правление, заставили подписаться на заем и уплатить налог за сад и огород. Выручил дядя Ваня, продавший недорощенного бычка.

Наконец письмо было написано. Но как быть с конвертом? Отсылать простой солдатский треугольник – казалось мне нехорошо, неуважительно по отношению к великому вождю. Надо купить хороший конверт и аккуратно, печатными буквами вывести: “Москва. Кремль. Товарищу Сталину”. Я гордился тем, что так придумал: коротко и ясно. Ладно, конверт я куплю, когда мы провернем комбинации с куриными яйцами.

Я свернул письмо и положил его в карман брюк. До поры о нем не должны знать ни тетя Маруся, ни тем более головастый Колька. Потихоньку, чтобы не скрипеть дверьми, я внес в комнату погашенную лампу и улегся рядом с Шуркой. Но уснуть мне не удавалось... Перед глазами возникали картины...

Идет себе Сталин, попыхивая трубочкой, чуть переваливаясь с ноги на ногу, а они за ним, а они за ним – генералы и маршалы... Что-то такое я видел в фильме “Поэт и царь”. Только там все, вместе с царем, были в бесстыдных рейтузах, и у них выпирало “что зря”...

Моя дурацкая фантазия перенесла меня в довоенное время. Однажды в “красном уголке” читала нам воспитательница сказку “Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями”. И одна правильная девочка Вика Семёнова вдруг сказала учительнице,



что гуси должны уносить только плохих мальчиков, которые показывают “что зря”... Вика при этом указала пальцем на Федьку Жукова. Воспитательница Вера Ивановна никак не могла оставить дело без последствий и начала допытываться, что, где и как... И тогда Вика, потряхивая светлыми косичками с голубыми бантиками, сказала, что Федька сделал это вчера, на речке... И еще она добавила, что Федька дал “слово всех вождей”, что у товарища Сталина тоже есть “что зря”... Воспитательница покраснела, потом вытянула разбойника Федьку к доске и стала допытываться, кто его научил так говорить.

— Да никто...

Тогда Вера Ивановна послала Вику за директором. Явился кадыкастый и лысый директор и сразу с порога начал кричать:

— Говори, негодный элемент, антонов огонь, кто тебя научил?! Говори?!

Федька стоял, растирая грязной ладошкой горячие слезы, и наконец ответил:

— Да один дяденька... там, на речке...

— Что еще за дяденька? Отвечай, негодный элемент!

Федька совсем осип и охрип и пообещал директору показать этого дяденьку. Но тут вскоре началась война, и все это кончилось ничем.

Великий вождь и Генералиссимус, а также его свита, все в мундирах и звездах, шествуют по залу, и адъютант подает товарищу Сталину письма на золотом подносе.

Вождь прочитывает адрес и бросает письмо назад через плечо, а идущие на цирлах генералы подбирают. Наконец в руке Сталина оказывается мой конверт. Он распечатывает письмо, прочитывает и говорит: “Мы поможем этому мальчику”. — “Но, товарищ Сталин, — говорит один из генералов, — этот мальчик, он... у него родители...” — “Это неважно, какие у него родители, мы поможем ему!” Мои видения легко перешли в сон. Рядом со мной оказывается Сталин, потом к нам подходит Ворошилов с шашкой на боку, и мы начинаем конаться для игры в лапту. Я во сне говорю, что это сон, тогда вожди исчезают, а вместо них появляется аксакал и заносит надо мной свою чабанскую палку...

— Ну что, написал? — надо мной склоняется ухмыляющийся рыжий Шурка.



— Чего написал? — не сразу сообразил я...

За окном солнечно, пожелтевшие карагачи светятся остатками листы, и все мои ночные думы и переживания кажутся нереальными и глупыми. Тоже придумал — письмо Сталину! Да кто его будет читать?! А то закатают опять в колонию!

Шурка всё понял по моему лицу.

— Эх ты, струсил! А еще и беспризорник!

— Да написал я, вот оно, письмо. — Я отдал ему листок.

Рыжий соорудил из него треугольник и тем решил вопрос о конверте.

— Ладно, собирайся! — скомандовал он. — Бери мои ботинки и чеши на станцию. Ничего, не спадут, обкрутишь потолще портянками и двигай. А может, с молоковозом? Хотя, постой, кажись, Ваня Ручкин собирался в Бурное. Точно. Жалко, мне не в чем идти, я бы тебя посадил на машину. А-а, пошли, авось подошвы не сотрутся...

И мы отправились на колхозный двор. Я — в просторных ботинках, Шурка — босиком.

Ваня Ручкин, красивый, с накрученным в парикмахерской смоляным чубом, был единственным шофером единственной колхозной полуторки. Небрежный, избалованный начальством и женщинами, кумир мальчишек. От него пахло бензином, кожей и одеколоном. Он почти никогда не закрывал рот, одаривая всех подряд своей слепящей улыбкой. И взрослым, и пацанам он с удовольствием рассказывал о своих победах на женском фронте там, в Германии и Австрии. Он вернулся домой в трофейной кожанке и танкистском шлеме. Этот старый промасленный шлем он носил весной, осенью и зимой. На лето он выторговал на барахолке роскошную кожаную шестиклинку. Великолепный чуб выбивался из-под нее на левую сторону. Даже в самую жаркую пору Ваня не скидал ни кожаной куртки, ни кепки-шестиклинки, они как бы приросли к нему, благо кожа куртки была тонкая, заграничная. В довершение своей исключительности прекрасный деревенский водитель курил “Казбек” и “Герцеговину флор”, не забывая сообщить, что именно “Герцеговину” курит товарищ Сталин. Наверно, у Вани были и недостатки — за что-то ведь устраивали ему дважды “темную” местные мужики. Да и дорогие папиросы он курил, чтобы пустить пыль в глаза взрослым,



при нас он с удовольствием вертел толстые самокрутки или затягивался крепчайшим “Беркутом”. И все же — спроси любого пацана, кому он больше всего завидует, каждый, не раздумывая, ответит — Ване Ручкину.

Когда мы с Шуркой вошли во двор, наш героический водитель только что вышел из правления. Он был чисто выбрит, бравый чуб блестел на солнце, смазанный бриолином или еще чем-то.

— Чего, в Бурное? — спросил он у Шурки и покосился на меня. Тут же он вручил моему другу заводную ручку и добродушно усмехнулся:

— Нехай садится, а ты побалуйся...

Я залез в кузов и прижался к бортам, чтобы стать понезаметнее, но письмо сквозь одежду жгло тело. Я боялся, как бы меня не засек председатель.

В кабине никого не было. Ваня, взявшись за руль, крикнул:

— Сидай рядом!

Я отказался от такой чести, уж там-то меня сразу бы заметили. Шофер повел бровями, и мы тронулись. Пока доехали до рынка на краю райцентра, я досыта наглотался пыли. Ваня притормозил, я слез.

Пассажирский должен был подойти что-то минут через сорок — сорок пять. По старой памяти я на зубок знал и зимнее и летнее расписание движения поездов от Алма-Аты до Москвы.

Чтобы зря не светиться, я зашел в уборную и залпом выкурил два бычка, подобранных тут же. Потом посидел на скамеечке в скверике, под сенью почти уже безлиственных карагачей.

Гудки маневровых “кукушек”, запах перегоревшего угля и пыли — все, что я видел и чем дышал, настраивало меня на знакомый лад и нагоняло тоску. Да и как иначе, если все это было моим миром в течение стольких лет. Хотелось сесть на ближайший поезд — “пятьсот-веселый”... да неважно какой, хоть бы и скотский, и мчаться куда-нибудь на север или на юг, подальше от толстого председателя колхоза да и от Шурки с его живодерскими замашками. Джамбул, Чимкент, Самарканд, — да мало ли куда я мог бы уехать!

Но моя дурь быстро улетучилась, и я устыдился, что так запросто готов был предать подслеповатую тетю Марусю, головастого Кольку и дорогого своего друга Шурку.



Скорый “Москва – Алма-Ата” подошел, но я не увидел почтового ящика. Пришлось просить пожилую тетеньку опустить мое письмо где-нибудь по пути, подальше отсюда. Я не сообразил спросить, не в Москву ли она едет. Тетенька была седая, в старом ситцевом платье. Повертев в руках мой треугольник, она расширила глаза и пристально взгляделась в меня. Потом улыбнулась, обнажив больные десны, и пообещала:

– Опушу, мальчик, обязательно опущу!

Машины Вани Ручкина возле базара не оказалось. Меня неудержимо потянуло заглянуть внутрь коробки, обнесенной дувалом. Здесь царствовали запахи дынь и арбузов, потной бараньей шерсти и человеческой плоти. Люди в казахской, киргизской, украинской одежде, а то и Бог знает в чем, неопределенном, кричали на все голоса, но ругались только по-русски. А вот продавец маковых казнаков. У меня во рту потекли слюнки. Стоявший рядом с ним старик в черных очках держал на руках морскую свинку, которая по желанию клиента вытаскивала из ящичка кусок картона – угадывала судьбу человека.

– Твоя чего хочет? – спросил меня этот гадалщик. На миг он чуть приподнял свои темные очки – веселые острые глаза “слепца” охватили меня с ног до головы. Мне до смерти хотелось с кем-то поделиться своей тайной, и я быстро сказал:

– Хочу узнать, дойдет ли мое письмо до Сталина?!

– О-о! А казнаки не хочешь?! – насмешливо и без всякого акцента спросил гадалщик, поглаживая свою свинку по шерстке.

– Хочу казнаки! – сознался я, чуть не плача.

– А анаши не хочешь?! – совсем уж весело сказал юморист – “слепец”.

– Зачем твоя смеяться над мальчик? – спросил торговец лакомствами и тут же протянул мне две конфеты. При этом его желтое китайское лицо расплылось, как блин.

– Хала-бала, трам-тарарам! – проговорил на непонятном наречии хозяин священной свинки и вдруг протянул мне рубль...

Пора было “делать ноги”. Такого и присниться не могло, чтобы ни с того ни с сего меня принялись одаривать базарные торговцы, – я больше привык получать от них подзатыльники. Но едва я сделал шаг, чтобы уйти, маг притянул меня за рубашку к себе и шепнул на ухо:



– Возле пивного ларька, на выходе из базара, должен стоять человек в ковбойской рубашке с подкатанными рукавами, на нем кепка в клетку, приведешь его ко мне – получишь еще рубль...

Я с трудом пробился к выходу, но опоздал: два милиционера на моих глазах взяли “в коробочку” человека в ковбойке и повели в сторону от базара.

– Возьмешь мою сумку и вынесешь за угол направо, там жди меня, – сказал “слепец”. Он мгновенно оказался без очков и без бороды, а свинку сунул в мешок. Интересно, что китаец или дунганин-сосед, торговец казинаками, стоял с таким видом, как будто ничего не происходит, хотя мне почему-то казалось, что они из одной банды. И вдруг, не знаю отчего, мне стало весело – такой дурацкий характер. Я на секунду склонился к китайцу и пропел песню, которую мы учили в детдоме:

– Лянху ванья шони, Сталин куян шанти...

– Холосая пацана! Веселая пацана! – расплылся торговец и, не меняя выражения, добавил: – Рви когти!

“Слепца” и след простыл. Расскажу Шурке – не поверит. Но рубль-то вот он! Я купил в ларьке пачку “Беркута”, спички и с удовольствием позвывал в кармане мелочью.

Солнце в середине дня припекало всюю. Стояла бы такая погода в предыдущие дни – и писать бы Сталину не пришлось. По обе стороны проселочной дороги тянулась бесконечная желто-коричневая стерня.

– Лянху ваньи, Сталин, куян шанти, – я не знал, как правильно куян или куин, и вообще пел на авось.

Вантя Сталин, куй туни, ванча чузы... Ваома, ваома, Сталин, куян шанти...

Это была песня о величии товарища Сталина, который дал всем людям счастливую жизнь. Потом я запел по-казахски: “Паровоз аркыра, кырырым дарыра аргенеште... Аи лявдетеп, аи ляв, ляв...” И еще мог бы я похвастаться, что знаю начало немецкой считалки или гадалки: “Вир зинген унд шпринген...”

Шурка принял мой рассказ спокойно:

– Да там каждый день ловят анашистов, скажи спасибо – не замели...

Я старался не думать о письме, но временами по моей коже проходил как бы озноб.



А через пару дней погода испортилась: зачастили нудные, как сквозь сито, дожди. Дорожные колеи утопали в глине, поэтому и Шурка сидел дома — невозможно было даже возить свеклу в заготовку на телеге. До чертиков надоела игра в “очко” и в “буру”. Кроме того, мы отработывали вариант “Птичник”.

Хозяйка этого заведения тетя Нюра ухаживала за сотнями кур вместе со своей дочкой Валькой, ученицей шестого класса. Иногда эта девчонка играла с нами на выгоне в лапту или в кругового. Сама же тетя Нюра редко покидала птичник.

Иногда она прихватывала с собой корзину, а то и две с яичками, сдавала свою продукцию кладовщику, а от него возвращалась на бестарке с зерновыми отходами. Нам надо было подловить такой момент, когда яички на месте, а тети Нюры нету дома. Мы прокрутили несколько вариантов...

— Вот балбесы! — рыжий хлопнул себя ладонью по могучему лбу. — Чего выдумывать-то?! Зайдешь и скажешь, что тебе нужно... как это говорится, подтянуть арифметику или не знаю что... Девчонки, знаешь, какие дуры! Хлебом не корми, а дай когонибудь поучить, я тебе в натуре говорю... Ну, а пока вы там будете хала-бала, я набью карманы и айда...

Миновать наши окна тетя Нюра не могла, и как только она прошла в сторону правления, мы отправились к Вальке в гости. Сначала я, а Шурка должен был прийти позже.

Я постучал в окно сторожки — Валька вышла во двор. Выслушав мою просьбу, преисполнилась гордости, чем доказала природную мудрость моего друга. Меня повели учить уму-разуму. У тети Нюры был и свой дом, но в нем жила ее старшая дочка с больным мужем и маленькой девочкой. Зять птичницы пришел с фронта израненным, и его парализовало.

Чтобы потрафить Вальке, я похвалил ее знание немецкого языка. Добродушно напомнил то, над чем смеялась вся школа: первый в своей жизни диктант по иностранному я написал русскими буквами. Славная Минна Ивановна, ссыльная саратовская немка, после того как все отсмеялись, прикрепила ко мне земляков-юрьевцев, а стало быть, и Вальку.

— Знаешь что, давай сначала поедим, — предложила моя маленькая учительница, придя в отличное настроение. — Хочешь сырое яичко?



Поесть никогда не вредно, а уж выпить с солью сырое яичко — думаю, что и сам товарищ Сталин не отказывается от такого лакомства.

Белый домашний хлеб, молоко. Еще бы! Кто не знает, что тетя Нюра гонит самогон и приторговывает им. Сам председатель колхоза, по слухам, заглядывает иногда к полной и уважаемой птичнице...

Валька и сама была белая и молочная, от нее даже пахло, как от молодой телочки. Ее светло-русые косички были заплетены так туго и правильно, круглый белый воротничок коричневого платица лежал так симметрично, вообще, Валька была вся из себя такая училка, что я еле-еле сдерживал смех. И ключицы у нее не выпирали, как у других девчонок, потому что она каждый день досыта ела и пила сырые яйца. Она старательно произносила немецкие фразы, округляя ротик, а у меня в голове вертелись одни глупости, вроде: “Стол — тышь, рыба — фишь, гопштирдиртайте...” или: “Их бина, ду бина, полено, бревно...” Валька попросила меня повторить все, что она тут наговорила, я приснул в ответ, а у нее на глазах накалились две крупные слезинки. Мне стало жалко ее, и я поступил так, как, по моему разумению, должны поступать мужчины: притянул к себе ее правильную головку и втянул ее губы в свои... Если верить книгам и кино, то мне надо бы ждать оплеуху, но моя героиня доказала, что не только женщины, но и девчонки — существа таинственные.

— Ой! Да ты что?! — вскричала она не своим, а то ли материнским, то ли еще чьим-то взрослым голосом и уткнулась мне в грудь, но всего лишь на миг. Потом она закрыла глаза и приоткрыла полные влажные губы. Я понял, что она подражает матери или какой-то артистке кино. И тут раздался резкий свист. Я так рванулся, что Валькина головка упала с моего плеча на стол. Маленькая любительница поцелуев вскочила, увидела за окном Шурку и все поняла. Она выбежала на улицу вслед за мной и закричала:

— Шурка — рыжий урка! Шурка — рыжий урка!

Меня она не трогала, наверно, боялась, что я всем расскажу, как мы тут с нею крутили любовь. Я успокоил ее взглядом и тем, что приложил палец к губам. Валькина симпатия была мне обеспечена на веки вечные. Рыжий вспотел от напряжения: он набил яичками оба кармана и пазуху, попробуйте пройтись с таким товаром.



После обеда мы отправились в соседнюю Юсуповку менять яички на папиросы. Перед тем, конечно, выпили по парочке. Остальные сдали в потребкооперацию. Шурка уговорил продавщицу оплатить нам шесть штук деньгами. К счастью, в магазине никого, кроме Тани-дурочки, не было. Убогая, моргая слезливыми глазками, прошепелявила: “Сулка, дай яишко!” – и тут же выпила содержимое без соли и захихикала...

Это был первый случай за все те дни, когда я на время позабыл о письме Сталину.

Ранним утром следующего дня возле нашего домика заурчала машина Вани Ручкина. Я выглянул в окно и сквозь дождевые потеки на стекле разглядел шофера в кожаной куртке и танкистском шлеме. В кабине сидел председатель, но он даже не обернулся в нашу сторону.

– На выход! – прокричал Ваня и побарабанил костяшками пальцев по стеклу.

– За тобой! – сразу определил Шурка. – Собирайся.

– Я возьму твою фуфайку и ботинки?

– Говорил я тебе – забегаются? В натуре, на цирлах! Постой, а чего это так быстро? Может, перехватили?...

– Ты что?! – испуганно возразил я. – Наверно, тетенька опустила его в Москве или где-то там...

На улице была слякоть. Я неуверенно топтался возле полуторки, не решаясь залазить в кузов с ботинками, к которым прицепились пуды грязи. Лицо Вани Ручкина все время меняло выражения: то оно становилось мрачным, то на нем вспыхивало любопытство. Он потряхивал головой, чтобы смахнуть капли дождя со своего дурацкого шлема. Наконец, он подошел вплотную ко мне и негромко спросил:

– Так ты правда писал Сталину?

И чтобы показать, что не придает этому такого уж значения, тут же взял у меня “гвоздик”, прикурил и небрежно пустил дымок.

Я молча кивнул в ответ. Ваня покачал головой и подал мне лопату:

– Почисти ноги и полезай в кузов – там брезент.

Брезент был холодный, и как только я его затронул, на меня вылилось ведро воды. Но проехали мы недолго. Глиняный спуск к реке был размывает, машину поволокло, оказалось, что с заднего



правого ската сползла цепь. Ругаясь в бога, в душу, в пацанов, которые пишут свои идиотские письма, Ваня вылез из кабины и согнал сверху меня. Пока мы возились с цепью, председатель даже не посмотрел на нас.

Машина остановилась на краю Сидоровки, возле сельсовета. Председатель, не оглядываясь, кивком приказал мне следовать за ним. Ваня Ручкин сам залез в мой карман, вытащил пачку “Беркута” и подмигнул:

– Не трусь, пехота!

В комнатушке с низенькими потолками и глиняным полом за прямоугольным столом уже сидели трое: пожилой капитан МВД, директор школы Михаил Алексеевич Шерегеда и председатель сельсовета, всегда полупьяный мужичонка по прозвищу, а может по имени, Гаврюшка.

Капитан был без фуражки, она лежала на столе рядом с моим бедным треугольничком. Этот человек делал губами какие-то движения, как бы примеряя слова. Михаил Алексеевич прятал в цыганских глазах смех и не смотрел в мою сторону – кажется, он боялся не выдержать и расхохотаться. Гаврюшка, помаргивая, переводил преданный взгляд с одного начальника на другого.

Меня почему-то усадили не за столом, а возле окна.

– Приступим, – сказал капитан МВД без всякого выражения в голосе.

– Да ты садись, герой, садись, – сказал подбадривающим меня тоном директор, но другие его не поддержали. Правда, Гаврюшка поусердствовал:

– Садись, понимаешь, садись, говорят..

– Твоя работа? – опять без всякого выражения, скучно спросил капитан.

Я помедлил с ответом, что они сами не видят, что моя?! И тут я впервые за этот день поймал на себе презрительный взгляд толстого председателя, он как бы говорил: “Так ты к тому же и трус!”

– Ага, моя! – как всегда в самую ответственную минуту на меня нашло игривое настроение. – Ну и что?!

– Ну и что?! – моим тоном повторил капитан и беззвучно подвигал губами.

– Надо было посоветоваться, – сказал директор школы. И, помолчав, добавил: – Надо было прийти хотя бы ко мне, хотя... –



он обвел взглядом всех присутствующих, — хотя, возможно, что я бы на твоём месте сделал то же самое.

Я понял, что вызывали меня для понта, потому что если бы хотели замести, не стали бы читать мораль.

— Посоветоваться, понимаешь, поспросить совета у старших, — спохватился Гаврюшка и тут же осел под взглядом председателя.

Слышно было, как за окном шлепает дождик. Пирамидальные тополя почти растеряли свою листву и выглядели обиженными.

— Страна тебя воспитала? — спокойно спросил капитан МВД.

— Ну, воспитала, — согласился я, — ну и что?!

— Без “ну”, понимаешь, без “ну”! — подхватил Гаврюшка.

Михаил Алексеевич спрятал лицо в ладони. С моей одежды стекали на пол струйки воды.

— Родина тебя воспитала, — начал капитан, и я уже понял, что он скажет дальше... — Воспитала, несмотря на то, что твои родители... И ты должен быть благодарен товарищу Сталину, а ты, — капитан потряс моим бедным треугольничком.

Шурка потом спрашивал, был ли на конверте хоть какой-нибудь штемпель. Может, на той стороне, которую я не видел?

— Он способный паренек, ему надо учиться! — негромко, но уверенно сказал директор школы.

— Учиться, понимаешь, учиться, — подтвердил Гаврюшка.

Капитан надел свою форменную фуражку, сунул в карман сумки-планшета мое письмо и встал. За ним поднялись и другие.

— Живой? — спросил меня Ваня Ручкин. — Дай “гвоздик”, ё-к-л-м-н! Много их тут на нашу голову! Сидай в кабину.

— А он? — я имел в виду председателя колхоза.

— Пешком пойдет, протрусится! — И, помолчав, добавил: — Они теперь обмоют это дело...

— И капитан тоже? И Михаил Алексеевич?!

— А то твой капитан святой? Да и директор... Может, он тебя и отмолил, школьный спирт — это тебе не шутка!

Вечером к нам пришел дядя Ваня Пекарев, в застегнутой на все пуговицы выцветшей коричневой рубашке и грубом брезентовом плаще. Когда он снял намокшую от дождя старую кепку, его голова с пушком и прилизанными остатками волос на затылке показалась мне жалкой и трогательной. Я любил этого человека,



затюканного жизнью. Только он при своей многолетней семье мог выделить каморку для Тани-дурочки, свихнувшейся дочери семиреченского урядника, еще ребенком она видела, как расстреливали ее отца.

Дядя Ваня сел на табуретку и вытащил из кармана плаща кулек “подушечек”.

— Ну, сталинский крестник, рассказывай...

— Да чего рассказывать-то? — вставила тетя Маруся. — Почесали языки да и разошлись...

— Так-то так, — согласился дядя Ваня, — да и не так. Вот тебе, братец, председательское распоряжение, завтра пойдешь в бухгалтерию. Может, ты бы, Маша, съездила с парнем в райцентр, помогла купить чего надо.

Хозяйка кивнула.

— Себе, что ли, написать Сталину, глядишь, выдадут рублей десять на махорку? — сказал дядя Ваня с легкой насмешкой.

— Да ладно тебе, дядь Вань, — вставил Шурка, — с паршивой овцы...

— А ты потише, потише, неровен час. — Конюх протянул бумажку тете Марусе. — Ну, бывайте живы.

В ближайшее воскресенье мы поехали на станцию, Ваня Ручкин посадил мою хозяйку в кабину, а когда к нему подошел кряжистый бухгалтер колхоза Тищенко, шофер небрежно кивнул ему на кузов. За всю дорогу он даже головы не повернул в мою сторону. Потом он ходил и молча смотрел, как хозяйка торгуется, но не вмешивался. Денег он выдавал ровно столько, сколько стоили ботинки и фуфайка.

— Трофимыч! — взмолилась наконец пожилая женщина. — Давай купим парню хоть рубашку какую-нибудь...

— Не велено, — кратко ответил угрюмый бухгалтер. На тех же днях мне сняли квартиру в Сидоровке.

За постой хозяину заплатили арбой соломы. Правление колхоза назначило мне в качестве приварка десять килограммов муки, полмешка картошки и килограмм мяса. ...В конце февраля тысяча девятьсот пятьдесят третьего года, когда я учился в десятом классе, меня пригласил к себе домой директор школы. Жил он с молоденькой женой, учительницей географии, в клубе. Это было обшарпанное старое здание, стоявшее возле колхозного сада.



Весна выдалась ранняя, на деревьях набухли почки. Дверь оказалась открытой. Ага, хозяйшка дома!

Директор жестом пропустил меня внутрь. Они занимали одну комнату, поделенную на три части фанерными перегородками. Высоченные потолки, ядовитая побелка — казенное здание.

Мы ели галушки, потом пили чай. Впервые в жизни я пробовал варенье — вишневое, густое. Мне никогда не доводилось сидеть за одним столом со взрослыми, и я не знал, как положено есть... Те, с кем я всю жизнь водился, громко чавкали, шумно вытягивали в себя жидкость, а мясо или те же галушки брали на хапок. Пекаревы “снедали” из одной миски.

— Не стесняйся, — приободрил меня директор, — руки потом сполоснешь.

— Ты надумал, что будешь делать после школы?

— Да я хотел ехать в Москву поступать, а председатель не отпускает...

— А ты припугни его, скажи — буду писать Сталину! Шучу, шучу... С председателем я улажу, а вот как быть с документами? Хоть бы какую-нибудь бумажку тебе выправить.

— У нас учился один беспризорник, — вставила Светлана Андреевна, — Отто Гансович устанавливал ему возраст, а потом как-то выбивали через паспортный стол удостоверение...

— Отто Гансович? Муж нашей Минны Ивановны? Хорошо, я сейчас ему набросаю пару слов, и ты пойдешь в больницу.

Дождавшись очереди, я прошел к врачу. Пожилой приземистый человек мало походил на немца: курносый, с выцветшими глазами русского крестьянина, правда, у него были фиксы... Он прочел записку и спросил, улыбнувшись:

— Это вы писали немецкий диктант русскими буквами?

— Я... Но это было давно... Теперь я подтянулся...

— Подтянулся?! Так, так... Гут! Раздевайтесь. Совсем, совсем...

Я остался нагишом, а доктор без намека на улыбку осмотрел “что зря” и показал свои золотые зубы:

— Вы есть маленький грешник?!

Я покраснел и подумал: “Во дает фриц!”

— Давно живете с женщинами?

— Да уже три года! — гордо ответил я и неожиданно для себя добавил: — Только она не женщина, девушка...



– О! Да-да, конечно! – сразу согласился доктор и засмеялся...

– Так, тридцать четвертый год. Выходит, тебе девятнадцать? Интересно, как это он установил? Взял с потолка? – удивился директор.

Светланы Андреевны в комнате не было, может, за перего-родкой?

– Говори, говори, она вышла.

– Да что говорить: заставил раздеться, посмотрел “что зря” и написал...

– Как, как?! “Что зря?!”... Это надо запомнить!

– Ну, это так говорили у нас в детдоме...

– Ладно... Я, пожалуй, сам схожу в паспортный стол. В пер-вых числах марта по радио зазвучали траурные мелодии, от ко-торых волосы подымались на голове, – заболел Сталин.

У Пекаревых не было радио. О смерти вождя мы узнали от дяди Вани. Когда он вошел, мы ужинали, хлебали из общей мис-ки кислые щи.

– Садись снедать, Ваня, – пригласила хозяйка.

– Снедать, – рассеянно повторил конюх и, не снимая плаща, уселся на табуретку. Оглядел нас, потом нашу убогую комнатку и негромко сказал:

– Помер, бедолага...

– Кто? Сталин? Откинул копыта?! – вскричал головастый Колька, превратившийся с годами в крепкого парня.

– Замолчи! – прикрикнула на него тетя Маруся. – Отму-чился, царство небесное... – И закрестилась в угол на икону Божьей Матери.

– Да какое царство, мамка?! Сама говорила, чтоб он сдох, а те-перь царство?! – Колька отшвырнул ложку и выбежал из комнаты.

– Вот глупый мальчишка... Ваня, что же это будет, а? Шурка-то в армии... Война не развяжется? Все ж таки какой-никакой, а Сталин...

Дядя Ваня, глядя в пол, помолчал, потом усмехнулся:

– Э-э, сестра! Была бы шея, ярмо найдется. – И неизвестно к чему добавил: – Всяк Иван за свой карман. Ну, бывайте...

Недели через три, когда на деревьях зазеленели листья, мы сидели на бревнышках возле школьного садика. Было тепло, солнечно, пахло свежей клейкой зеленью. На вечер у меня было назначено свидание с той самой “девушкой”. Я наконец понял,



чему так смеялся фиксатый немец-доктор. Мы с одноклассниками курили, когда к нам подошел секретарь комсомольской организации школы Генка Мызин, высокий фраеристый парень. В руках у него была газета. Он уселся на бревно, закурил и стал читать передовицу. В ней приводились слова американского президента Эйзенхауэра. Я не услышал начала, но вот Генка прочел: “Со смертью Иосифа Сталина окончилась эра. Советская империя...” — у меня мурашки пошли по коже, и тут чтение прервалось — к нам приближался директор школы.

— Что читаем?! — как всегда насмешливо спросил он. — Мызин, выгащи папиросу, сгоришь!

Генка покраснел и отбросил в сторону погашенный в кармане окуроч.

— Та-ак!

Михаил Алексеевич пробежал глазами начало статьи, нахмурился и стал внимательно вглядываться в каждого из нас. Вот его цыганские глаза остановились на моем лбу, и он не то спросил, не то сказал:

— Так ты говоришь “что зря”? — И пошел восвояси. Ребята с изумлением смотрели ему вослед...





СТАРИННЫЙ МАРШ

Карты. Преферанс. Ничего лучшего в моем положении нельзя было придумать.

– Рас-кромс-ся! – мурлычет мой сосед, глядя на майора, сидящего напротив меня. Он, мой сосед, в спортивном костюме, моложав, чувствуется, привычен к дороге и к жизни, что-то есть в нем обкатанное, неопределенное.

Они кладут карты на стол – теперь ясно, что я проигрываю. Это естественно, я никогда не выигрывал в карты. В другие игры тоже. Даже те, кто садился со мной в паре, были обречены на самые фантастические расклады. Чертовщина!

– Д-да! Преферанс не школа гуманизма, – открыто говорит майор, довольный свежестью своей мысли. Он потирает мясистый нос, улыбается во весь свой большой рот, обнажая верхний ряд стальных зубов. Этот добродушный вояка только что принес из вагона-ресторана очередную бутылку водки, а пивом уставлен весь наш столик.

Поезд проносится мимо полустанка, и мы успеваем проводить глазами плакат, прибитый или пришипленный к приземистому бревенчатому зданию: “Да здравствует День Победы!”. Справа и слева огромные цифры “25”.

Я смотрю на этот плакат, на деревья, еще лишенные листьев, на грачей, колдующих над строительством жилищ, и в моей туманной голове глупо рифмуется: “Грачи-врачи...”

Неопределенный вытаскивает из кармана два рубля и кладет рядом с майором, глядя на меня со значением. Там же лежит еще и трешка. Конечно, я обязан внести свой вклад, но у меня нет денег, я делаю вид, что не догадываюсь, занят картами, мне есть о чем подумать – проигрываю...

Когда-то в комнате институтского общежития я просиживал ночами, постигая тайны преферанса. Мы расписывали “пульку” на ватманском листе, а “подбивали бабки”, т. е. подводили итог и рассчитывались, в день стипендии. Но азартный человек никогда не научится этой игре, даже если постигнет тайны ремесла.



Надо уметь терпеть. Я должен благодарить судьбу за то, что в нашей комнате жили грузин и азербайджанец — Рауль и Акиф. Они точно соревновались друг с другом — кто рискованнее. И хотя я постоянно проигрывал сам по себе, благодаря их проигрышам оставался даже в плюсах. Кавказцы устроили сборный пункт на Центральном телеграфе. Те дни, когда они получали переводы, были для нас праздниками. Рауль так и растаял в неизвестности после первого же семестра, когда он не сдал даже зачеты. Акиф благополучно окончил институт, этот к концу стал профессиональным игроком.

Еще один полустанок с плакатом. Когда за окнами вагона проплывают домишки станционных поселков, видно, что люди празднуют, веселятся по-сибирски широко. Несмотря на дождь со снежком, одеты они не в шубы и пальто, а в плащи, костюмы — все на подогреве.

Весна задержалась, по небу неслись драные тучи, да с такой скоростью, что наш поезд казался тихоходом. Вот на перроне парень с девчонкой, простоволосые, хохочущие, машут нам вслед и тут же обнимаются, прижимая губы к губам, на виду оно слаще!

А потом опять деревья без единого листика, черные недостроенные гнезда грачей и сами эти грачи, в суматохе, безмолвно для нас кричащие о чем-то своем, птичьем, устраивающие свои весенние семейные делишки.

В голове у меня такая мешанина, такой птичий базар, прошлое и настоящее так смешалось, что сам Господь Бог ногу сломит. Сердце покалывает после ночных бдений и возлияний, и я не отказываюсь от очередной порции водки — надо расширить сосуды...

Это мальчик трех лет сидит на подоконнике второго этажа или это я, тридцатипятилетний, еду в поезде “Москва — Владивосток”? Год назад исключили из Союза писателей Солженицына, я тогда послал ему телеграмму с уведомлением: выразил преклонение перед его великим талантом... Жизнь моя после этого сразу же усложнилась. Мальчик сидит на подоконнике второго этажа. Света в комнате нет, но тьма неполная, уличные фонари помогают различать предметы и их тени. Внизу, затопляя улицу и тротуары, течет вода, целая река, а дождь продолжает хлестать косыми струями по жестяному карнизу, где так любят гулять в солнечные дни воркующие голуби. Внизу, под окнами, кусты сирени и скамеечка, мальчик не раз сидел там с мамой.



Сейчас он притих и притаился, чтобы не услышали взрослые и не отправили спать. Хочется, чтобы вода поднималась, подбиралась к подоконнику, к нему, чтобы дождь хлестал все сильнее и шумнее, заглушая все звуки на свете: сладко знать что-то такое, чего не знают взрослые! Посторонних звуков не было, они появились вместе со слепящими автомобильными фарами. А дальше — точно в старом фильме потеряна промежуточная часть: он стоит, держась за руку пожилой женщины, она всхлипывает. Перед ними знакомая дверь, но теперь на ней красный сургучный кружок. Матери с отцом за этой дверью больше нет и не будет. Зато сколько раз этот красный сургуч будет разрастаться до размеров солнца при его затмении — в детских снах и грезам...

Временами тучи проносятся на восток, выглядывает солнце, все мы смотрим в окно, потом снова выпиваем и закушиваем.

Кто-то из троих, сидящих в купе, — я, четвертый, молчу, — без всякой связи затевает разговор о войне. А может, связь есть, может, это продолжение, разве я в состоянии уследить за своими мыслями и чужими словами.

Сердце больше не колет. Внутри горячо. “Грачи, врачи...”

Большое село в Курской области. Лес, речка, луг. В “красном уголке” детского дома нам показывают знаменитый фильм “Если завтра война”. Ну наши дают! Тра-та, та-та-та-та! Трах-тара-рах, та-ра-рах, тах-тах! “И линкоры пойдут, и пехота пойдет, и помчатся лихие тачанки!” А когда белое полотно убирают и зажигают свет, мы видим на стене огромную картину — Клим Ворошилов стоит, облокотясь на шашку, и держит в поводу вороного коня с перевязанными передними ногами.

...Наш обоз тащится по степи, и среди бела дня из-за леса вылетают три немецких “мессера” и пикируют прямо на нас. Летчик одного из них ухмыляется и целит в меня, я зарываюсь лицом в выгоревшую траву, но слышу, как наш худой очкастый воспитатель кричит, простирая руки кверху: “Что вы делаете? Здесь же дети?!” Я поднимаю голову — и снова на меня пикирует ухмыляющийся фашист. Село, возле которого это происходит, называется очень смешно — Курица.

...У подножий Тянь-Шаня среди прелой прошлогодней ботвы мы выискиваем стручки сои или бобов, и внезапно к нам подкрадывается объездчик-дунганин на своем небольшом складном коньке.



Он поднимает руку с камчой, и у меня в мозгу зарождается песня “Вставай, страна огромная!”. “Вставай!” – и короткая плеть опускается мне на спину. “Стра-на!” – и камча прилипает к спине моего дружка Вовки Малахова. Потом, во сне, я долго пытаюсь убежать от объездчика, но непросохшая суглинистая почва не отпускает ноги, и я падаю на землю.

А где-то через неделю сыпняк уложил нас с Вовкой “валетом” в одну постель: эпидемия, мест не хватает. Однажды ночью я пришел в себя, оттого что мой друг больше меня не греет, он как-то странно вспотел. И в тот же миг из-под окна, за которым стоит голый карагач, отрывается огненный шар величиной с футбольный мяч и несется, шипя и разбрасывая искры, в проходе между двухэтажными кроватями. И когда он с треском ушел в противоположную стену, я понял, что друг мой умер. Огненная душа ушла из него.

“Грачи, врачи, молчи...” – добавляется еще одно слово к бессмысленной рифмовке.

– Играть надо! – говорит майор и скандирует: – Иг-рать надо! Иг-рать на-до! – рот у него до ушей. Наверно, он любитель хоккея и так же по-детски кричит: “Шайбу! Шай-бу!”.

В ответ я неудачно усмехаюсь.

Рауль, где ты? Мой грузинский друг был красавцем, но закомплексованным, особенно в пьяном виде. Кто-то вроде бы видел его на Дорогомилловском рынке с цитрусовыми. Думаю, это ошибка. Раулем звали сына Атоса! И мой Рауль не мог опуститься так низко... Сейчас он бы заказал мизер и взял весь мой проигрыш на себя!..

Мимо нашего купе проходит мордатый хахаль. Он на миг останавливается, заслоняя своей широкой грудью громоздкого старика-бородача, который ведет долгую неторопливую беседу с нашей попутчицей, рябой и рыжей бабой, соседкой майора. Она и выпивает, и вообще держится на равных с мужчинами. В руке у деда большая красная бутылка, он как бы дирижирует ею, делая время от времени глубокие хлюпающие глотки.

Лица у всех красные, а у майора багровое. За перегородкой подстраиваются под радио и поют “Землянку”, за другой переборкой затягивают фирменную сибирскую – “Бродягу”, а у самого дальнего от нас купе, где обосновалась молодежь, бьют по гитарным струнам и дружными открытыми голосами кричат: “Ах, Надя-Наденька, мне б за двугривенный в любую сторону твоей души!”.



Мордатый хахаль стоит, смотрит на меня и презрительно усмехается: “Глянь-ка на этого хмыря! Сидит как путя-щий! А не возьми я тебя?!”

— Да вот пимы-то, пимы, — рябая соседка майора, приняв стопку и вытерев ладонью губы, кивает на нашего вояку и говорит деду: — В пимах-то, говорит, пролежал ночь под танком и хоть бы тебе хны! Дак! Я-то их катала... ох и катала в Бийском, на трудовом фронте! Да еще енти, охвицерские, с отворотами! Чего ж не лежать, а?!

Добродушный майор соглашается.

За окном деревья и грачи с широко раскрытыми клювами становятся все туманнее. “Грачи, врачи, молчи...”

— Оба, однако, краболовы, — теперь дед рассказывает себе-сединце о своих сыновьях.

Майор расстегивает уже вторую пуговицу на гимнастерке. Бурая шея обнажается полностью, и на ней ближе к ключице след от ранения. Неопределенный попутчик в спортивной форме как бы за компанию оттягивает воротник своей куртки.

Где я видел человека, похожего на майора? У того и зубы были вставные. Да, вставные, только... только у надзирателя детской колонии были фиксы, полон рот золота! Он также носил китель, но без погон. Зубы ему выбили блатные, устроив темную. После этого он с ними подружился: отпускал на добычу в Чимкент, а потом брал с них дань. Некоторые из них предпочитали слякотную зиму пересидеть под крышей Первомайки... Он ухитрился занять жену, или “маруху”, лет на двадцать моложе себя, почти девчонку, правда, битую жизнью. Говорили, что он спас ее от тюрьмы. Пристроил кастеляншей, и она его прекрасно отблагодарила: тайком обучала искусству любви старших колонистов.

Она была похожа на французскую королеву, какой та мне виделась в романах Дюма.

Перед выходом за ворота мы с Карабалой зашли к ней расписаться за тряпье, в котором освободились. Кастелянша стояла посреди комнаты, и белые колдовские волосы струились по ее плечам. На ней была белоснежная гипюровая кофточка и серая юбка под цвет туфлей-лодочек. Недаром, когда Романист рассказывал по ночам воровской роман “Белый ужас” — покоритель мужских сердец”, мне представлялась она. Уж как они уживались в моем воображении — королева и блатная “маруха” в одном лице?! — одному Богу известно...



Но тогда, на прощание, я не успел ею налюбоваться, потому что увидел за ее спиной, на столе, огромную миску, с украинский тазик величиной, она была заполнена до краев растопленным маслом, в котором плавали вареники. У меня закружилась голова, и я схватился за притолоку, чтобы не упасть. А мой бедный друг Карабала, как лунатик или потерявший разум, пошел к столу, взвизгнув или всхлипнув по-собачьи... И тогда поднялся надзиратель, сидевший в распахнутой гимнастерке, и, ухмыляясь всеми фиксами, надал моему приятелю по затылку: “Давай, давай выметывайся!”

Провожавшие меня в Новосибирске однокашники по институту ввалились вчера среди ночи в мой номер гостиницы, и мы проговорили до утра. Потом они просили подождать часок-другой, пока кто-нибудь достанет денег, и я спокойно двинусь дальше. Дело в том, что мы заканчивали нашу встречу и празднество 25-летия Победы в привокзальном ресторане и совсем позабыли, что там и цены ресторанные. Я согласился ждать, но тут на перрон влетел скорый “Москва – Владивосток”... Мое ретивое не выдержало – даром, что ли, мы всю ночь вспоминали вокзалы, базары, “пятьсот-веселые” поезда?!.. Авось!..

Беленькой румяной проводнице очень шла ее форма, это придавало ей уверенности в себе. К тому же она была не одна, с халатом, да и слегка подшофе.

– Ну, чего тебе? – небрежно и с хрипотцой спросила она, шмыгнув с бабьей пресыщенностью по моему худому заросшему лицу и убогому плащику.

– До Красноярска, – теряя надежду, сказал я.

– До Красноярска – червонец! – надо мною навис мордатый, стриженный ежиком парняга лет тридцати. Он был в одной ковбойке.

Я кивнул, соглашаясь. Авось, авось... Еще раз прошелся по коридору мордатый хахаль и опять наделил меня презрительным взглядом. А этот, кого напоминает мне он? Все подобья, подобья, не так уж много разновидностей людских в нашем милом отечестве...

Надзиратель детской Первомайской колонии – злая карикатура на добродушного майора со стальными зубами. А этот... Если добавить ему лет пятнадцать, то получится Кочнев, управляющий отделением совхоза, куда я попал после Москвы.



Врачи запретили мне жить в большом городе, отправили “на природу”. Волейбольная команда, художественная самодеятельность, благо я сам играл на баяне, — это были мои обязанности как секретаря комсомольской организации, а работал я почтальоном или курьером. С утра седлал серого жеребчика и отвозил на центральную усадьбу совхоза документы, оттуда привозил также кучу всяких бумаг... В одном из домиков была у меня небольшая комнатуха.

Свеклосемена выращивали сезонные девчата из глухих деревень. Считалось, что они вербованные, хотя и уговаривать никого не приходилось. Здесь паспортизация, в четырех километрах районный городишко, а в двух — солдатский городок! Чего еще надо в девятнадцать-двадцать лет. Жили они в бараках, скученно, не очень-то чисто. Им могли недоплатить, вычесть больше, чем положено, за питание... То и дело девчонки бегали мне жаловаться. А чем я мог им помочь?..

Однажды утром ко мне чуть свет приплелась зареванная Танюшка Скрипникова, невзрачная, безбровая. Плотая слезы, она рассказала, что вчера ее оскорбил и даже ударил управляющий.

Глаза у нее были светлые, даже просвеченные, слезы крупные, неумело подкрашенный рот кривился по-детски.

— Прямо-таки и ударил? — пошутил я.

— Если ты будешь смеяться, то я пойду в райком комсомола...

Она стояла в пыльном палисаднике, прислонясь к топольку, и было ей от силы девятнадцать годочков. Ситцевое платьице, какие-то сандалеты на босу ногу, у меня сжалось сердце — она напомнила мне наших детдомовских и беспризорных девчонок-заморышей.

— Ладно. Говори все, как было.

Кочнев не захотел ее выслушать, когда она стала жаловаться, что ей недоплатили за прополку свеклы. Он пробурчал: “Разберемся”. Тогда она напомнила ему, что в прошлом месяце было то же самое, и тогда он тоже обещал разобраться. Они с девчонками собираются жаловаться в центральную контору.

— Ах, жаловаться?! — мордатый управляющий надвинулся на девчонку и, то ли шутя, то ли, чтобы припугнуть, прижал ее своим пузом к стене.

— А ты уж и пуза испугалась?!



— Да, тебе смешно... Пузо-то у него железное, чуть не раздал, зараза! Ну я и обругала его дураком. Тогда он меня ударил по лицу и назвал на букву “б”. А какая я “б”?! Он что меня за ноги держал? Я, может, скоро замуж выйду!

— За солдата?..

— За кого захочу, за того и выйду, хоть бы и за тебя! — И вдруг разревелась: — Если я вербованная, так сразу и “б”, да?!

В тот же день, дождавшись, когда управляющий остался один, я вошел к нему и попросил извиниться перед Скрипниковой.

— Что-что?! Извиняться перед каждой подстилкой?! Иди-ка ты, парень, на работу. Почту отвез? Нет, вот и поезжай, а то запишу прогул.

— Я с вами не шучу...

— Ну, навязался! Тебе что — мячик дали? Дали... Сетку купили? Купили. Может, за амортизацию баяна доплачивать, так это мы можем... В общем, иди, комсомол, гуляй, не до тебя...

И я стал копать против него. Выкопал трех жен, причем у всех были дети; подпольную ферму на двенадцать коров; делишки на складе... Сезонные девчата поддержали жалобами. Меня объявили кляузником, исключили из комсомола. А через месяц областная молодежная газета написала статью “Честь смолоду”, где до небес преподнесла мою принципиальность и так далее... А еще через месяц моего противника сняли с управляющих, чтобы тут же назначить директором маслозавода в райцентре!

— Ну что, друзья, распишем “пулечку” или сходим в ресторан, а потом продолжим? — спрашивает майор.

— Пора подбивать бабки, — ответил ему неопределенный сосед. Майор вопросительно смотрел на меня, но я молчал. Расписывать “пульку” — значит расплачиваться, а чем?..

И тут в дверях показался мордатый вместе со своей кралей.

Грабастой ладонью он как бы выгробал меня в коридор... Дед, оставив на полу уже вторую красную бутылку, ушел в свое купе, а рыжая баба похрапывает на второй полке — раскинулась, как пришлось, на голой деревяшке.

— Платить собираешься? — басит мордатый.

Краля-проводница, похожая на королеву-кастеляншу из моей детской сказки, поигрывает своими светлыми локончиками. Я вижу ее нежную шейку, поросшую пушком, и не вовремя усмехаюсь: шейка-то грязновата!.. Да и в ушах, маленьких и красивых,



как аккуратно слепленные вареники, в этих ушах с висюлька-ми, почти упрятанных в локоны, тоже частицы сажи. Я ее не обвиняю: дорога дальняя, тяга паровозная, — и все же мне становится веселее!

— А если ревизор? — отвечаю я мордату. — Ехать-то еще! Ты с меня сдерешь, а они высадят, а?..

— Не твоя забота! — кратко и по делу отвечает парняга и слегка нажимает на меня своим твердым плечом. Глаза у него темные, с коричневатой желтизной. Сейчас зрачки суживаются, и он добавляет: — Пересидишь в гальюне! Или в ресторане, ты ведь у нас денежный! Гля, сколько выиграл! — Он кивает на свернутый лист — мой проигрыш, что-то около двадцати рублей...

— Та-ак! — майор потирает руки с выражением прекрасно исполненного долга и кивает неопределенному: — Теперь и подзакусим, а?!

Они проходят мимо нас. Возле тамбура добряк майор оглядывается и не то, чтобы кивает мне, а как бы вопрошает, мол, мы бы и тебя взяли, да ведь ты не свободен, у вас там дела?..

Я опустил голову долу. А когда поднял ее и взглянул в направлении ресторана, моих соседей не было видно — вместо них показался и стал быстро приближаться человек в сером тесном костюме. Одежда была явно только что из магазина, но не по его широченным плечам. Вот он, размахивая руками и вразвалку, прошел мимо купе проводников и стал виден весь: на правой щеке глубокий шрам-воронка, седеющий боксерский чубчик и сведенные к груди, как бы сдавленные, плечи. Дело не только в узком костюме, это человек “оттуда”, где приходится сжиматься и суживаться... На обеих руках — часы. Взгляд — сквозь людей и предметы.

— Так ты собираешься платить, падло?! — мордатый теряет терпение, его ладони сжимаются в кулаки. И тут к нам подошел человек “оттуда”. Он не остановился подле, а продвинулся чуть дальше, чтобы пристроиться у окна рядом с кралей. Она подернула плечиками и отошла к своему купе.

Услышал ли человек в тесном костюме, о чем мы говорили, или что-то понял по выражению моего лица, — не знаю: он смотрел в окно, на темные деревья, на размытых в сумерках грачей. Он явно прислушивался к нам. Мордатый для приличия помедлил и тоже снялся с якоря.



— Ну, чего они до тебя вьжуются? — спросил, подойдя ко мне, человек, напугавший мордатого.

В это время в вагон вошли солдаты из ресторана. Они галдели и смеялись. У некоторых в руках были бутылки пива, а один, с баяном, пытался подыграть мелодию “славянки”, звучащую по радио. Но ему не удавалось подстроиться. Судя по манере, он был гармонистом, привык обходиться без полутонов и теперь фальшиво и жиденько выводил свое “тирли-тирли”.

Мой новый знакомый махнул рукой:

— Не умеешь, керя, не берись! — И повернулся ко мне: — Сколько ты им должен, этим пороссятам?.. Хотя ладно, пошли в ресторан.

Краля-проводница со своим хахалем смотрели нам вслед, и я спиной чувствовал их злобу и трусость. Возле крайнего купе мой провожатый остановился и дослушал мелодию старинного марша до конца. На щеках у него выступили бисеринки влаги...

Пока мы шли с ним через три вагона, открывая и закрывая двери тамбуров и рассекая группы людей в проходах, все это время я видел перед собой широкую спину, сдвоенную узким серым костюмом.

Шел пятый месяц моей жизни на Севере. Полярная зимняя тьма, к тому же ночная смена, — мой организм с трудом привыкал к необычному режиму. И все же я втягивался, притирался к работе, к быту.

Поднимаясь из шахты на поверхность, я провожал взглядом зеков, уводимых конвоирами, смотрел мельком на дымящиеся терриконы и отправлялся в душевую. Там яростно натирал свое тело мочалкой, пытаясь избавиться от въедливой угольной пыли. Переодевался в чистое, и мне оставалось только пересечь двор, чтобы оказаться в шахтной столовой. Там готовили сытные борщи, настоящие свиные котлеты, а на записку давали вишневый компот. Перед едой шахтеры-вольняшки и расконвоированные всяк на свой манер выпивали спирту: один любил глотнуть граммов сто чистого продукта, другой предпочитал развести алкоголь с водой, а иные ухари, особенно из молодых вольняшек, смешивали спирт с пивом или даже со столовым вином. Водку сюда возили только по праздникам, да и то зеленый вологодский “сучок”. Что до меня, то я, если и выпивал, то в меру... Но в тот день обстоятельства заставили причаститься смесью спирта с пивом.



Я оказался за одним столом с людьми, которые, “отмотав срока”, освободились подчистую и решили напоследок отметить это событие. Я чувствовал себя не в своей тарелке, чуть ли не самозванцем: их радость и богатство были искуплены страданиями, а я, салага, ни к чему на свете не приткнутый человек, с психологией не зека, но и не свободного, — что значил я, какое право имел сидеть с ними за одним столом?! Мой сосед, пожилой шахтер, наливая своим товарищам из правой бутылки спирт, а из левой пиво, спросил:

— Примешь?..

Я поспешно кивнул. Тогда самый молодой в компании, разглядывая мой “горняцкий” китель, спросил:

— Студент?..

Я опять кивнул, хотя этот вопрос был мне неприятен.

— Откуда? — поинтересовался третий.

— Из Москвы, — ответил я и почувствовал, как адский напиток забушевал внутри, пронзая все жилочки.

“Идиот! — мысленно выругал я себя. — Надо было еще в Москве спорить эти чертовы контрпогончики, старшекурсники давно от них отказались”. Вспомнилось, как мы шагали по Красной площади на Седьмое ноября и горланили: “Шахтеры — гвардия труда!”

Я опьянел после второй порции и, чтобы показать свою дурь, понес какую-то чушь... Сначала я рассказал, что в тридцать седьмом у меня забрали отца и мать... Потом похвастался, что я тут зарабатываю характеристику, чтобы восстановиться в институте...

И тут до меня дошло, как все это выглядит со стороны! Боже, боже! Пожилой шахтер, видно, поняв мое состояние и как бы успокаивая, сказал:

— Да, парень, досталось тебе...

Молодой усмехнулся, а еще двое отвели глаза в сторону, им было неудобно за меня. Я не доел котлету, не стал пить любимый вишневый компот, попрощался с ними. При этом пожилой крепко пожал мне руку и укоризненно взглянул на своего молодого товарища, который не смог сдержать ухмылки.

Я не стал дожидаться попутчиков — так мне было стыдно. Едва удалившись от шахтного двора, я снял шинель и с отвращением стал отрывать от кителя эти проклятые погончики. Оторвал и затоптал в снег...



Раньше дорога от шахты до поселка не доставляла мне хлопот, тем более, что под рукою был канат на случай пурги.

Сейчас ветерок с Карских ворот дул слабыми порывами, мела легкая поземка. Я шел, держась за канат, и вдруг, под влиянием своего настроения, решил как бы бросить кому-то вызов. Короче, я срезал и пошел через тундру напрямик.

Жизнь — шаблон: я заблудился, не отойдя и километра от спасительного каната. Разыгралась пурга, да такая, что в десяти метрах ничего не было видно. Я вспоминал, что с самого начала ветер с Карских ворот дул мне в спину, но не прямо, а чуть сбоку, но вот с какого боку?...

На ногах у меня были старые унты, на голове также старая шапка — этими вещами одарил меня товарищ по шахтному обществу в день, когда получил право на выезд. Сверху, как я уже сказал, была злополучная шинель, а под нею — форменный китель, теперь уж без погончиков. Вообще, видик был экзотический. Да еще под кителем — рубашка с пуловером, который я купил в Воркуте. Ходячий кочан капусты! Да еще и не простой, а цветной...

Говорят, что замерзающий видит напоследок теплое лето, родных и друзей, — я помнил некрасовский “Мороз, Красный нос”, — но ничего похожего со мной не происходило. Я пробудился оттого, что объездчик-дунганин опустил камчу на мою спину под звуки громового гимна: “Вставай, страна огромная!” Потом на меня стал пикировать немецкий летчик в степи возле села с трогательным названием Курица... И только королева-кастелянша нарушала этот ряд, да и то до тех пор, пока из-за ее гипюровой спины на меня не надвинулась миска с плавающими в масле варениками...

“И это всё?! — сказал кто-то внутри меня. — И вот так подохнуть в тундре?!” Я зарычал или заплакал от злости и вскочил, но ураган тут же сбил меня с ног. Тогда я пополз, хрипя и задыхаясь, и тут увидел впереди огонек. Он вспыхивал и размывался, и я полз и полз к нему. Я весь взмок, потом как-то потерял шапку, вернулся за нею, надел и завязал тесемки.

Не знаю, как и когда я отключился. Очнувшись, увидел, что лежу на старом топчане в каком-то жилище. Меня растирал что есть мочи истощенный мужик лет пятидесяти.



— Оклемаля? — прошамкал он. Меня поразил его беззубый рот. Он сидел в ватных штанах и в шерстяной кофте с глубоким вырезом, обнажавшим его впалую грудь.

— Фух, как из парной вылез! — усмехнулся он. Перед топчаном стояло эмалированное ведро со снегом.

— Ну, парень, силен твой Бог! Считаю, час тут над тобой угроблюсь... И чего это тебя понесло через тундру?! Жить надоело?..

— Х-хотел спрямить, — проямлил я.

— Чего, чего?! (Сефо, сефо?!). Слышь, мать, этот чудик решил спрямить тундру, Сочи ему здесь!

— Да будет тебе, оставь парня... Собери лучше на стол. Живой, и слава Богу!

— Пиши Ваську нашего в святцы! — усмехнулся беззубый хозяин, выставляя на стол бутылку спирта и закуски, — кабы Васька не уссался, спать бы тебе вечным сном в тундре... Уж она бы тебя спрямила — это точно! Нюра, топай сюда с Васькой...

Женщина вошла на минутку и сняла с веревки пеленку, висевшую над плиткой. Невысокая, скуластая, с темным лицом, она так мне улыбнулась, что я едва не заплакал, хотя у меня и так текло по щекам.

— Сейчас придем, начинайте, — весело сказала она. Тут я заметил, что сижу во всем исподнем, в хозяйском, и кинулся к своей шинели, которая вместе с остальными моими тряпками висела на спинке стула возле печки.

— Пошто стыдишься? — спросила женщина, садясь за стол с сыном на руках. — Вот он, крестник-то твой, поскребыш-то наш!

Она заметила, что я опустил глаза, и угадала мои мысли.

— Думаешь, старики, а с дитем?! Я и говорю: наскребли по сусекам! Сорок лет — бабий век?! Да на что мне это знать? Я что, хужей других, не баба, что ли?! А и сорока-то еще нет, вот, парень! — И поправила косынку на седеющей голове. — А мужику моему, Андрею, сколько дашь?

— Сорок пять... — я, конечно, пожалел его.

— Скупишься, парень, давай уж пятьдесят: видишь, ни одного зуба, да и голова вся облезла...

— Ладно уж тебе! — проворчал хозяин.

— Чего ладно?! Чего ладно?! — всхлинула женщина. — Чай, он-то годок мне, а?! Ну, ладно, не буду, не буду! — ласково попросила захныкавшего сынка. — Цинга... Да еще эта... как ее?



— Пеллагра, — прохрипел хозяин.

Я ничего не мог говорить. Мне было стыдно и за свою дурь в столовой, и за свои прежние многие дури — чего только стоили наши детдомовские песенки о Сталине... А разве я не плакал, когда “усатый” испустил свой гнилой дух?!

Васька тянул свои пухлые ручонки к моим мокрым патлам и дергал их к себе.

— Так его, сынок, так! Чтобы знал Север, не спрямлял тундру, — смеялась счастливая мамаша. Как она укачивала своего беззубого поскребыша, похожего на отца! Как она смотрела на него, эта седая женщина! Запах мокрых пеленок, крутой детский дух — дух добра и печального жилища — был для меня сладок и горек одновременно.

История хозяина была проста и типична: в сорок первом попал в окружение, оказался в немецком концлагере, а в сорок пятом его освободили наши — дали свободу, чтобы тут же ее отобрать. Она же, дочь двух врагов народа, отбарабанила свои пять лет. Они могли бы уехать — освободились подчистую, но что-то их тут держало...

Я не мог понять, отчего спина моего нового знакомого в поезде “Москва — Владивосток” напомнила мне узкую спину северного зека...

Майор с напарником сидели за соседним столиком, и неопределенный попутчик косился в нашу сторону.

Мордатый с кралей стояли у стойки буфета и что-то говорили человеку в железнодорожной форме, кивая при этом на нас. Может быть, эти трое искали повод проверить у нас документы?

Борис, так звали моего спасителя, подошел к буфету и даже нарочно задел плечом мордатого, а потом, не обращая внимания на кралю и железнодорожника, взял водки, пива и бутербродов.

Благодарный ему за все, я как бы подумал вслух:

— Солдат не умеет играть, мне бы тот баянчик! — и тут же спохватился: “Что ты буровишь, идиот?! Какой баянчик, когда ты десять лет не играл...”

— У тебя ксивы... ну, документы в порядке? — спросил Борис.

— Документы?

Я почувствовал, что краснею. Кажется, он принял меня за своего, “от хозяина”, а я... а что я?! У меня в кармане, кроме паспорта,



еще и писательский билет, но... меня исключили из членов Союза, правда, на полгода, но исключили... Нет! Об этом говорить нельзя, я вспомнил свою давнишнюю воркутинскую болтовню в столовой...

Я промолчал. Борис переспрашивать не стал.

— Так я возьму баян, сыграешь? — Он кивнул в сторону солдат, входивших в ресторан со своей музыкой.

Черный и узкоглазый держал в двух пальцах железный рубль и обращался к тому, что с баяном. А этот, высокий, с растрепанными светлыми волосами, держал инструмент в правой руке так, что баян провисал до пола, открывая взору розовый мех. При этом высокий парень шарил рукой у себя в кармане и ничего не нашаривал.

Борис пригласил их к нашему столику. Они отнекивались, но он легонько подталкивал высокого ко мне.

Баян был “Тульский”, но не тот — белый и малосерийный, тяжелый, на котором я играл в последний год своей работы в Доме культуры, зато у этого, дешевого, массового, наверняка есть и свои преимущества, он легче, на нем не так заметна фальшь в случае чего...

Я прошелся по голосам, тронул басы, соединил те и другие. Прогнал “простую гамму”.

Почти все, сидевшие в ресторане, повернули к нам головы и ждали. Борис смотрел на инструмент, и губы его шевелились, несколько раз он непроизвольно прикоснулся к своему шраму-воронке. Солдат-баянист ревниво следил за моими пальцами, ожидая, получится ли; кажется, ему хотелось, чтобы не получилось, тогда бы он сам что-нибудь сыграл гармошечное, бойкое... Кто тут станет докапываться, берешь ты полутона или нет.

А я искал и находил. Нет, не я, пальцы сами соображали, что и в какой последовательности брать.

...Жена Бориса ждала ребенка. Как это бывает в сельских клубах, после кино на танцплощадке завязалась драка между местными и пришлыми парнями из-за девчат. Ему бы отойти, да и жена не пускала, выпячивая живот.

— Да кабы я был трезвый, а то... Поверишь, сроду не держал в руке ни ножа, ни кастета, а тут, когда он пырнул меня... вот сюда, видишь... взвыл я от боли, ну и вырвал этот самый нож... вырвал да и отмахнулся. Так отмахнулся, что загудел на пятнадцать лет... Ну зачеты, потом амнистия... Кого она родила, зараза?!



Хоть бы словечко!.. Я ж тоже человек! — он размазывал по щеке слезы, отвернувшись к окну, за которым уже не было видно деревьев.

— Восемь лет! Ты представляешь, что это такое?! Да ведь ребенок в школу ходит!.. Слушай, рубани еще “Славяночку”!

Я заиграл, но мой рассудок в этом не участвовал.

Я видел и слышал духовой оркестр ремесленного училища. И было это в эвакуации, на стыке Киргизии и Казахстана, у самого подножия Тянь-Шаня. Тогда, в День Победы, все повыходили и повыбегали из своих домов и халуп, из госпиталей и барачков. Казахи, киргизы, дунгане... Корейцы, немцы Поволжья, чеченцы и карачаевцы, которых сослали сюда в сорок четвертом... И все эти и другие люди — больные и здоровые, в пилюльках, тюбетейках, тюрбанах, блатных шестиклинках... — все кричали, пели и обнимались, и выбивали чечетку не в лад с музыкой на пыльной азиатской дороге! И кучка пацанов-ремесленников, одетых во что попало, потому что свою форму они давно повыменяли на жратву, кучка худых и бледных заморышей коряво и натужно, срываясь на фальшь, выдувала из медных труб мелодию “Славянки”.

Ночью на одной и той же станции сошли Борис и майор. Я попрощался с ними и собрался завалиться и наконец-то выспаться, отдохнуть... Нет! От судьбы не уйдешь... Поезд притормозил на одном из ближайших полустанков, и тут в мое купе вошел Иван, которого я прежде называл мордатом. Мне не понравилось выражение его лица.

— Разлегся, голубчик! А ну вставай, быстро!

— Ты что?! Тебе ведь заплатили...

— Собирайся, не то!...

— Правильно, еще и долги не платит, — услышал я голос неопределенного попутчика со второй полки.

Так я оказался совершенно один на незнакомом мне сибирском полустанке...

из ВОСТОМОНАНИИ



С. 100
С. 101
С. 102
С. 103
С. 104
С. 105
С. 106
С. 107
С. 108
С. 109
С. 110

С. 111 С. 112 С. 113 С. 114 С. 115



КОЛЕСО ИСТОРИИ

Кто из нас не задавал себе детских вопросов: “Почему я — это я? Отчего то, что происходит со мной, происходит именно со мной?” Ответов не существует. Данности мы обязаны принимать в готовом виде. Как сказал поэт: “Значит, это кому-нибудь нужно...”

С раннего детства я заметил, что наделён какой-то особенной судьбой. Мне долго казалось, что все — от мала до велика — знают что-то такое, чего я не знаю, и живут не по привычке, а со смыслом, и только я плыву по течению. Потом я утвердился, что со мной происходят вещи, которые, если и случаются с другими, то не так часто и не в таком курьёзном или драматическом виде. Я мог бы привести десятки таких происшествий, но, чтобы не слишком отвлекаться в сторону от основной темы, ограничусь лишь несколькими.

Факт ареста моих родителей в 1937 году можно считать почти естественным, учитывая, что репрессии были массовыми. А вот моё видение или видение огненного шара величиной с футбольный мяч, причем дважды, трудно объяснить так же просто. В первый раз это случилось, когда я был пятилетним мальчиком, воспитанником детдома в слободе Михайловка Курской области. Шар этот, искря и шипя, пронёсся между кроватями мужского общежития и с треском ушел в стену. А повторилось это в 1943 году в Селе Каракуруз Джамбульской области, куда был эвакуирован наш детский дом. Мы жили в бараке, который до нашего приезда служил помещением для просушки табака. Мы сами обкладывали это ветхое строение саманом, потому что климат в предгорьях Тянь-Шаня резкоконтинентальный. Так вот, я лежал в тифу “валетом” со своим дружкой Вовкой Малаховым и вдруг одновременно услышал и увидел этот огненный шар и почувствовал, что мой друг умер. В обоих случаях — и до войны, и во время её в другом климате небо было ясное и никакой грозы не было и в помине.



Я опускаю свои беспризорные приключения. А период, когда я попал на воспитание в колхоз в Дзямбульской области, я описал в рассказе “Дорогой и любимый” (Письмо Сталину).

Когда я работал в Воркуте, автобус “Воркута – Северный посёлок” опрокинулся, но я оказался одним из немногих пассажиров, кто не получил ни одной царапины.

Однажды в Белгороде я должен был ехать на литературную встречу от Общества охраны памятников. Моим напарником назначили ветерана войны, у которого был свой “Запорожец”. Что-то помешало мне прийти ко времени, а мой предполагаемый напарник врезался в КАМАЗ и погиб.

Меня дважды исключали из комсомола и дважды восстанавливали, исключали из Московского горного института и восстанавливали, исключали из Союза писателей на полгода...

Не стану входить в подробности, кто и в чем виноват. Судьба? А значит, ни моей вины, ни заслуги...

Всё это предисловие к рассказу о том, как я оказался под “колесом истории”.

В 1961 году я работал баянистом в клубе Новотаволжанского сахарного завода. Это Шебекинский район Белгородской области. Огромный сосновый бор с запахами хвои и песчаной почвы. Небольшие озера. А по другую сторону дороги заливной луг, речка, лиственный лес на высоком берегу. И почти всегда – солнце, солнце, солнце... Сахзавод постоянно шумит, гудит, распространяя сильный душный специфический запах жженой свёклы или сахара, смазочных масел. Высокий каменный забор – для глаза... На самом деле время от времени можно было наблюдать, как то в одном, то в другом месте через эту загородку перелетают мешки с сахаром.

Мы жили с женой и дочкой при клубе. В торце этого громадного здания были как бы отделены от основной площади две большие комнаты, каждая метров по двадцать и с потолками метров до пяти, а также с отопительными печами во всю высоту. В соседней с нами комнате жила уборщица, а готовили мы в общем коридоре на электроплитке.

Мне было двадцать шесть лет, моей жене Лиде двадцать два, нашей дочке Рите около трёх. Жили мы очень бедно, потому что мне платили всего тридцать рублей, а жена первое время не работала, пока мы не устроили дочку в садик. Правда, весной,



когда танцы переносились из помещения на улицу, нам с Гришкой Мозговым, аккордеонистом, доплачивали еще по пятнадцать рублей. Мозговой – весёлый красивый парень лет тридцати пяти, бабник и выпивоха, раньше был шофёром, но за какие-то провинности остался без прав и пристроился в клуб. “Черный кот”, “Ландыши”, “Домино”, “Розамунда”, старинные вальсы, краковяк, полечка... И, конечно, классическая “Риорита” – вот наш репертуар, который вполне устраивал местную молодёжь, изрядно зарядившуюся самогоном. Да, мы надеялись на лучшее. А пока – репетировали, ездили с концертами по отделениям свеклосовхоза. Скучать было некогда.

А я писал стихи. Первое своё стихотворение я написал в 1956 году будучи студентом Московского горного института. Мы строили тока и убрали хлеб на целине – в совхозе “Комсомольский” Адамовского района Оренбургской области. В том самом совхозе, где тогда снимался фильм “Иван Бровкин на целине”. В свободное время, а оно выдавалось часто, потому что комбайн выходил из строя, с запчастями было плохо, а до Центральной усадьбы – съездить туда и обратно – можно было управиться лишь за полдня. Да и то не гарантия, что вернёшься с добычей. Чаще всего раскурочивали старые комбайны. Так или иначе, поначалу мы шли, в бункер сыпалось зерно, к нам приезжали машины. Мой комбайнёр Бузыкай, башкир по национальности, иногда доверял мне штурвал, и я чувствовал себя героем.

В свободное время я уходил в степь, читал какую-нибудь залистанную книжонку и вдруг – именно вдруг! – начал рифмовать. В Москве, на Шаболовке, рядом с Донским монастырём, жила девчонка, в которую я тогда был влюблён. Я тосковал по ней, что и подтверждал рифмами – “Москва – тоска”, “Донскую – тоскую”... Ну вот, к примеру, одно из первых четверостиший: “Ты моих стихов не любишь – знаю, может быть, забыла и меня, но, прошу, прочти ты их, родная, ты прочти их на закате дня”. Это просто курьёз! Как она могла бы любить или не любить мои стихи, если я их раньше не писал вообще? Почему она должна была их прочесть обязательно на закате дня? Да и словечко “родная” попахивало пошлостью... Стихи более чем примитивные... И когда я вернулся в Москву и узнал, что моя девчонка вышла замуж, тут же бросил рифмовать.



Потом судьба занесла меня в Белгородскую область, в отделение свеклосовхоза, которое называлось “Шебекино поле”. Я влюбился в местную девушку Лиду Бочарникову, женился, через год у нас родилась дочка. Я был почтальоном – разносил почту по селу и возил в Центральную усадьбу, в ту самую Новотаволжанку, где потом работал баянистом в клубе. Я писал... Но писал прозу, роман о московских студентах. Все девчонки у меня были тоненькие красавицы, а парни спортивные красавцы... Дружба, любовь, учеба, целина...

Но вот в 1957 году произошло мировое событие: Советский Союз запустил первый Спутник Земли. Радость и гордость за свою страну были непритворными. И я, как и положено секретарю комсомольской организации отделения совхоза, откликнулся... – написал на эту тему стихотворение “Спутник!”

*Под ним города Америк
и Азии горы под ним,
мелькнёт африканский берег
и вновь Европы огни.*

*...Под крепким партийным парусом
нам плыть в коммунизм и в космос плыть
и, если уж быть на Марсе,
то нам, коммунистам, быть!*

Редакторша районной газеты города Шебекино пришла в восторг и тут же опубликовала моё “произведение в стихах”. Более того: было решено заказывать мне стихи к датам! Но я оказался неблагодарным – ни к одной дате ничего сочинять не хотел. Обнаглел и стал предлагать свои вирши в областную молодёжную газету “Ленинская смена”. И в 1958 году на странице этой газеты появилось моё крошечное по объёму, но грандиозное по замыслу стихотворение, написанное явно под Маяковского. Четыре строчки я с помощью лесенки превратил в шестнадцать. Вот вторая половина этого шедевра

*Если б мог вложить я в двадцать грамм письма
боль в сто тысяч тонн отвергнутой любви!*

А к тому времени, о котором пишу, я был уже автором трёх десятков стихотворений. Моя небольшая поэма “О звёздах” была напечатана в областном альманахе “Время”. Конечно, я мечтал о московских толстых журналах, о книге, о славе!



Белгородская область организовалась в 1954 году, отделившись от Курска. Понятно, что новое местное начальство старалось, чтобы у него всё было не хуже, чем у соседей. Было организовано областное книжное издательство, каждый год, обычно весной, созывались семинары молодых литераторов. В Белгород регулярно приезжали известные уже писатели из Курска, Воронежа, Москвы — Евгений Носов, Николай Корнеев, Егор Полянский, Владимир Гордейчев, Марк Соболев, Андрей Меркулов и другие. Дважды побывал у нас Виктор Астафьев. Если учесть, что нашим учителям, несмотря на фронтовую юность, было тогда чуть больше тридцати лет, то можно понять, что они еще не забронзовели и относились к своим подопечным, как к младшим товарищам. Встречи обычно заканчивались возлияниями — сначала в ресторане, официально, а потом в номерах гостей. В итоге каждого такого собрания было записано: “Издать вне плана книгу стихов Николая Перовского”. Но гости уезжали, и всё возвращалось на круги своя.

Главный редактор Белгородского книжного издательства Константин Михайлович Новоспасский в нос говорил: “Ну что, Перовский, когда ты бросишь свою беспризорщину?” Мне было тем более обидно, что я почти перестал писать стихи о детстве, у меня появлялось всё больше лирических стихотворений. Но я постепенно приходил к мысли, что без “паровозов”, то есть стихов “гражданского” плана, издать книгу будет невозможно. И как-то так получилось, что моя поэмка “О звёздах” была посвящена двум темам — любви и космосу... К концу 1960 года книга моих стихов была набрана, и я ждал её выхода.

Последний областной семинар молодых литераторов состоялся в конце марта 1981 года. Не знаю, каким ветром к нам занесло читинского поэта Николая Савостина. Мы как-то сразу сошлись, и я поехал провожать его на вокзал в Москву — он учился на Высших литературных курсах. В привокзальном ресторане мы добавили ко вчерашнему по кружке-другой пивка и, когда я подавал ему руку на прощанье, он как бы подёрнул меня к себе, и я оказался в тамбуре вагона.

— Едем?! — сказал он, смеясь.

— Едем! — ответил я не раздумывая.



Савостин легко уладил дело с проводницей, занял своё законное место, а я по старой привычке беспризорника залез на верхотуру – на багажную полку.

Наутро мой старший товарищ наставлял меня:

– Покажешь свои стихи кому-нибудь из известных поэтов... Сходи к Смелякову – он сидит в “Дружбе народов”, он самый демократичный...

Расстались мы на Курском вокзале. Савостин уехал на занятия, а я сел в вагон метро до площади Восстания. Но по пути передумал: было еще рано – восьмой час, вряд ли Смеляков будет являться на службу в такую рань. Я доехал до Киевского вокзала, пересел на трамвай до улицы Студенческой. С 1953 по 1957 год я был студентом Московского горного института и жил в общежитии – в шестом корпусе Дорогомиловского студгородка. Я жил здесь всего каких-то четыре года назад. Знакомая вахтёрша приподняла брови и, как будто мы расстались только вчера, кивнула на стекло, под которым на столе, среди разных бумаг лежала и такая: “Перовского, Микрюкова, Ермолаева без распоряжения коменданта в общежитие не пускать”. Старые грехи... И тут, откуда ни возьмись, наша солидная комендантша Вера Фёдоровна:

– Коля Перовский собственной персоной! Где это ты пропал? – широкое добродушно-строгое лицо было таким знакомым, с нею было связано столько всего, что я еле удержался от слёз. Она чуть приобняла меня и почти шепнула: – Ну, школьник, уж не сидел ли ты, признавайся!

– Да вы что, Вера Фёдоровна! – Я открыл свою балетку и вытаскил на белый свет Белгородский альманах “Наше время” с моей поэмой, а также несколько газетных вырезок.

– Ну и что? Ну и что? – повторяла комендантша. – Всё равно ты неудельный... – А сама читала и читала мою поэмку. – Ну ладно, некогда мне тут с тобой... Баба Маша, если он придет ночевать, дай ему ключ от сорок седьмой... – И пошла, покачивая головой, при этом её светловолосый затылок с гулькой выглядел как-то несерьёзно.

– Баб Маш, дайте мне эту бумажку... ну ту, где не пускать нас...

– Не могу, милый, чего ж ты у неё не попросил, она бы, небось, не отказала, вишь, как разулыбалась.. Жалеет она вас, дурных, привыкает.



Когда я подошел к продуктовой палатке рядом с нашим корпусом, в голове мелькнула какая-то мысль, но тут же пропала, смылась нахлынувшим настроением. Сказывался семинар с застольями – в этой палатке мы отоваривались со стипендии черняшкой хлеба, луковицей, четвертинкой. Наташа давала кое-кому в долг, у нее был особый талмуд с подзаголовком “Студенты-должники”. А в самом начале мы собирались с первой же “стипухи” закупить на Дорогомиловском рынке мешок картошки, тушенки... да так и не собрались за все пять лет. Благо, Хрущев ввёл бесплатный хлеб в столовых, а гороховый суп стоил копейки...

Пожилая продавщица скользнула по моему лицу равнодушным взглядом и обратилась к очередному покупателю. Господи! Да что же это такое?! Я прошел дворами на Можайку, к кинотеатру “Призыв” – сюда, на “Возраст любви” с Лолитой Торрес, мы ходили с Васькой Махеровым пять или шесть раз. И опять мелькнула всё та же неуловимая мысль, но на этот раз я успел ухватить её за хвост: в фойе кинотеатра, на верхнем полуэтаже стояли столики и на них лежали журналы. В ожидании сеанса я читал в журнале “Юность” повесть Анатолия Гладилина “Хроника времён Виктора Подгурского”. Да, надо будет заглянуть в редакцию этого вождя журнала.

Кондукторша в трамвае тоже была незнакомая. Всё! Как будто я тут и не жил пять лет, с глаз долой – из сердца вон.

Я вылез на Краснопресненской, выпил в забегаловке кружку пива, зашел в гастроном при высотке и положил в балетку бутылку пива. Вошел в широкий двор “большого” Союза писателей. Справа от ворот Дома Ростовых, описанного в “Воине и мире”, была редакция “Дружбы народов”, слева, чуть в глубине – “Юность”, – в этот журнал я и посылал, и заносил стихи, помощник заведующего отделом Олег Дмитриев однажды похвалил мою “Аппассионату”, но пообещал: “Поднапиши еще пять-шесть вещей и присылай...” Он был высок и строен, приветливо по-свойски улыбался, словом, не будучи москвичом, вполне усвоил обкатанную манеру общения с теми, кто приходил “с улицы”.

Дверь в предбанник “Дружбы народов” была приоткрыта. Я вошел и постучал костяшками пальцев в притолоку – ответа не последовало. Я потянул ручку двери на себя и вошел.



За столом сидел немолодой хмурый человек в тёмном костюме. Перед ним стояла бутылка водки, рядом лежал плавленый сырок, с которого была содрана обёртка. Я сразу же узнал этого человека — это был Ярослав Смеляков. Я тут же вспомнил строчки вездесущего Евтушенко:

*Он вернулся из долгого
отлученья от нас
и, истолканный толками,
пьёт со мною сейчас.
Пусть бедна ещё комната
и еда не жирна,
за жокея какого-то
вышла замуж жена...*

Смеляков как-то нехотя взглянул на меня и пробурчал:

— Ну, чего тебе?..

— Да вот, стихи... — я лихорадочно стал доставать из балетки альманах с поэмкой и газетные вырезки, а также несколько листов, заполненных от руки.

— Выпиваешь? — спросил хозяин комнаты и, не дожидаясь ответа, достал из ящика стола второй стакан и разлил в оба граммов по сто. Я от растерянности попытался чокнуться, но он не изъявил желания. Отломил кусочек сырка и пододвинул ко мне.

Поэмку в альманахе он просмотрел вскользь, написанную от руки вторую поэмку — о побеге из детской колонии — прочитал внимательней, а когда дело дошло до “Воркутинского дневника”, впервые внимательно посмотрел на меня и спросил:

— За что сидел?..

— Да нет, я не сидел... я хотел подзаработать, а заодно привезти характеристику, чтобы восстановили в институте...

— Заодно! — хмыкнул он. — Ну вот что, иди в “Юность”, скажи — я послал, если что — пусть позвонят...

Уличная дверь в редакцию “Юности” была открыта. В коридоре я никого не встретил и только в отделе поэзии увидел человека, который полусидел-полулежал за столом. Даже я, бывший под парами третий день подряд, почувствовал сильный запах перегара...

Будить спящего я не стал. Возвратился к Смелякову, он кивнул мне, как бы спрашивая, отчего я вернулся.



– Да там один дяденька спит за столом...

– Старшинов? – спросил он.

Я кивнул...

– Ладно, присядь... – он взял телефонную трубку и набрал номер.

– Мне Ёлкина... это Смеляков... Тут к нему заедет один парень, пусть примет...

– Дай-ка свои стихи, те, что от руки...

“Дорогой Толя! Прими этого парня и дай пошире с биографией автора. Яр. Смеляков”.

– Езжай в “Комсомолку”. Там найдёшь Анатолия Ёлкина, скажешь – от меня...

И тут я сделал еще одну импульсивную глупость: вытащил из балетки бутылку пива и почувствовал, что краснею, но Смеляков спокойно разлил пиво по стаканам, и мы выпили... “Вот, скажет, идиот, – думал я об этой, дурацкой бутылке, получалось, что я как бы отблагодарил его...” Добираясь до улицы “Правды”, я несколько раз перечитал полторы строчки, всякий раз останавливаясь на этом “Яр. “... Подумать только – сам Смеляков! Друг Бориса Корнилова! Автор знаменитых стихов “Хорошая девочка Лида”, “Любка”, поэмы “Строгая любовь”... Смеляков, который трижды отсидел, а теперь хрущевской оттепелью вознесён на вершину славы! Вспомнились чьи-то стихи в “Крокодиле” о якобы споре Смелякова и Твардовского:

*Ярослав, маститый дядя,
тоже буркнул, грудь горой:
– В поэтической плеяде
первый я, а ты второй...*

И те же слова были приписаны Твардовскому...

– Ну кто тут меня ищет – не находит? – скороговоркой спросил лысоватый шустрый человек неопределённого возраста – между тридцатью и сорока. Он кивнул мне, улыбнулся и, прочтя листок с рекомендацией Смелякова, хлопнул меня по плечу: – Ну, старик, твоё дело в шляпе! Ярослав у нас придворный, так что...

Он сел за стол, усадил меня напротив и стал читать стихи. Потом позвонил по телефону и вызвал фотографа.

– Так, эти вырезки и альманах придётся оставить, потом заберёшь. Ну, езжай домой и в конце недели жди...



Я хотел спросить, что значит — в конце недели, но постеснялся. Надо бы отметить это событие, но у меня оставалось денег только на билет до Белгорода. Голь на выдумки хитра: я взял билет до Прохоровки, а там до Белгорода всего-то час езды. Зато выгадал на бутылку пива.

Я запросто уснул на голой полке и проснулся, когда за окном было уже светло. Подъезжали к Прохоровке. Вслед за знаменитой станцией, где во время войны произошло решающее танковое сражение, был райцентр Беленихино. Полтора года назад здесь я работал баянистом в местном Доме культуры. Мне три месяца не платили зарплату, хотя мы регулярно давали концерты и в самом райцентре, и в селах района. Пришлось припугнуть судом, а потом и уволиться... Я всматривался в знакомые пейзажи, когда ко мне подошли контролёры — мужчина и женщина, а за их спинами маячила проводница, которая заподозрила меня с самого начала, потому что я не взял белья.

— Что, парень, проехал свою станцию? — насмешливо спросил усатый проводник, давая понять, что отговорки не пройдут.

— Пусть платит штраф, — строго заметила его напарница. Я признался, что у меня нет денег, и они просто выписали мне штраф и пригрозили — в случае, если я не уплачу его добровольно, сообщить моему начальству и вычесть из зарплаты.

Ладно, не такая уж это беда. Вот выйдет страница в “Комсомолке”! Я почему-то считал, что выйдет именно целая страница, — незадолго до этого в той же “Комсомолке” вышла подборка стихов Новеллы Матвеевой на целую полосу.

С вокзала я позвонил в книжное издательство, и Ново-спаский обрадовал меня сообщением, что есть сигнал моей книги.

— Можешь приехать, — сказал он.

Поднимаясь в лифте на нужный мне этаж, я решал: говорить ли в издательстве, что ... словом, о том, что я был у Смелякова и ... Нет, лучше промолчать, а то еще спугнёшь удачу... Даже приятелям не скажу.

— Ну, вот тебе и первая книжка, — старик-редактор почмокал губами и протянул мне малого формата книжонку. Она называлась “Звёзды делает человек”. На обложке художник нарисовал профиль автора, то есть мой, в небесном обрамлении. В книжке было всего сорок четыре страницы, но это была книга!



А впереди публикация в “Комсомолке”! Я забыл все обиды, которые претерпел от этого старого человека, и в ответ на его поздравления бормотал какие-то слова...

И тут вошел Белозёров — директор издательства. Ему было где-то лет тридцать пять. По слухам, он отличался высокомерием и любил пропустить стаканчик. Последний недостаток как-то его очеловечивал и приближал к молодым авторам. Сейчас у него было страдальческое выражение — явно похмельного характера.

— А, Перовский! Ну что, дождался?! — он вяло пожал мне руку и добавил, глядя на Новоспасского: — Вы тут поговорили?

Главный редактор тактично кивнул и отвернулся, а директор жестом вызвал меня в коридор.

— Надо это дело отметить, — с хрипотцой сказал он. Странно было смотреть на человека в отличном костюме, при галстукe, вообще солидного, явно охваченного нетерпением — выпить. В своём кабинете он защелкнул дверь, усадил меня в кресло, вытащил из несгораемого шкафа бутылку водки, два стакана и быстренько налил себе граммов сто, а мне побольше: — В одиннадцать бюро, — пояснил он, поморщившись, и поднял стакан: — Ну, давай, чтоб не последняя! — Получилось непонятно: что — не последняя? Рюмка, бутылка, книга? Мы, не сговариваясь, засмеялись, я — смущенно, он — вымученно. И тут я вспомнил Смелякова. На столе Белозёрова не хватало плавленого сырка, зато на блюдечке лежали пластики дешевой колбасы.

— Замучил тебя старик своими придирами?

— Ну, не очень... Он наставит галочек карандашом, а сам уснёт тут же, за столом. Я их постираю аккуратно и говорю: “Исправил”.

— Ну вот, — говорит, — так гораздо лучше...

— Каждый день все эти бюро, — хозяин кабинета хмуро посмотрел на бутылку, потом махнул рукой и налил себе граммов пятьдесят, а мне вдвое больше. — Закушу валидолом, забью запах... Слушай, а ты гонорар получил?

— Аванс перед Новым годом дали — 25%.

— Та-ак, — он взял телефонную трубку и позвонил в бухгалтерию: — Это Белозёров... Насчет гонорара Перовскому, там немного... Да, да, можно выдать, книжка-то вышла... — И ко мне: — Иди в бухгалтерию, там тебе выдадут расчет...



Боже мой! Книжка, деньги, а впереди — “Комсомолка”! Так не бывает... Я помчался в магазин, купил дочке куклу, а жене, посоветовавшись с молодой продавщицей, красивую клетчатую материю на платье. Сел в такси до Шебекино, а потом нанял того же водителя до Таволжанки. Дочка сразу же ухватилась за куклу, а жена... для нее это был настоящий праздник.

Хоровичка Надя Полуэктова и аккордеонист Гришка Мозговой рассматривали мою книжонку и поздравляли.

— Это дело надо обмыть! Правда, Надя? — Гришка подмигивал и облизывал толстые губы.

— Да вот завтра в шесть у Николая Николаевича и обмоем, — отвечала Надя.

Николай Николаевич — славный старичок лет семидесяти, бывший начальник станции Нежеголь, что в четырёх километрах от Таволжанки. На нашем с Гришкой жаргоне “пойти к Николаю Николаевичу” означало выпить... Но на этот раз завтра действительно предстоял день рождения Николая Николаевича. Он прошел “штатно” — с самогоном и с песнями. Народ в Таволжанке певучий, многие фамилии оканчиваются на “о” — Святенко, Мищенко. Дело в том, что в семи километрах от нас Волчанск Харьковской области. Всё было хорошо, но я по опыту знал, что, когда все прекрасно, жди от судьбы подвоха.

Вечером мы отыграли танцы на свежем воздухе. Жена и дочка спали, когда я вошел в квартиру. Свет решил не зажигать, тем более, что один из фонарей почти заглядывал в наше большое окно.

Я стал ложиться, и тут как-то странно закашлялась дочка, лежавшая между нами. Я вскинулся и сразу почувствовал запах гари. Боже мой! Угар! Я зажег свет, быстро одел дочку и вынес ее в коридор. Разбудил жену, но она не смогла идти, пришлось выносить и ее. Проснулась соседка, стала хлопотать и охать.

— Ой-ой-ой! Цеж галки звылы гнездо у труби...

Я и сам догадался, что в трубе птицы отгнездились. Задвижка была открыта, но выхода для дыма не оказалось. Помещение было такое, что до середины лета его нужно было отапливать.

Первый звоночек. Следовало ждать и следующего...

Наш хор “пенсионеров” соревновался за первенство по области, в мае предстояло выступление в Белгороде, поэтому мы усиленно репетировали. Так подошел конец недели.



В детстве я приучил себя засыпать где угодно и на чем угодно. Беспорядок не оставлял выбора. Но в эту ночь я спал плохо и проснулся до восхода солнца. Вышел на улицу и побрёл куда-то в сосны. Не было никакого предчувствия — просто волнение. Отчего это мне должно так везти? Я вспомнил слова Ярослава Смелякова: “Ты — лирик... У тебя тут хорошая весна в Заполярье... и еще два-три стихотворения о природе...” Теперь я думал, что он просто посочувствовал мне, пожалел. А тут еще Воркута. Он ведь и сам работал в шахте — в Инте, а это почти рядышком — отсиживал свой последний срок.

Так я добрёл до озера. Тут пахло сыростью и хвоей, чахлая травка покрывала песчаную почву, совсем не чувствовалось запахов человеческого жилья. Вскочило солнце, но мне некогда было любоваться восходом — я унёс ключи от дома.

Мы с женой и дочкой сидели за столом, когда вошел Гришка Мозговой.

— Коля, включай радио! — вскричал он.

“Вот оно!” — возликовал я. Но почему радио? Газеты в наше село приходили после обеда. Постой! Может, Гришка слышал обзор утренних газет?

— Гагарин в космос полетел! — выпалил Гришка.

— Какой Гагарин?! Какой космос?! — бессмысленно бормотал я, уже осознавая, что никаких стихов в “Комсомолке” не будет... .

Сгоряча, точно в безумии, я помчался в Москву. Ёлкина на месте не было, а молодая сотрудница, выслушав мою историю, посочувствовала и предложила прислать им мою первую книжку, чтобы они её представили под рубрикой: “Компас в книжном море”. Я оставил ей экземпляр, и где-то через месяц газета уделила мне целых три строчки.

Я вышел из редакции опустошенный. Еще и потому, что, в случае удачи, собирался зайти в Горный институт и показать свою публикацию в центральной газете вместе с первой книжкой Валентине Сергеевне, моей доброй покровительнице. Все те годы, что я учился в этом институте, она мне помогала: давала талоны на питание в диетическую столовую при Донском монастыре, выбивала путёвку в санаторий, когда я заболел. Так я и не понял, с какой стати эта молодая женщина, заведующая отделом кадров, взваливала на себя заботы о каком-то нерадивом студенте.



Когда я собирался в Воркуту, она неизвестно от кого узнала об этом и буквально навязала мне деньги. Мало того! Будучи беременной, сама ездила за билетом: “Мне было по пути...”

Но я недолго пребывал в раздумье: как-никак книжечка-то, вот она, и альманах, и газетные вырезки.... Валентина Сергеевна почти не изменилась: то же симпатичное лицо, немного насмешливый взгляд карих глаз.

— Откуда ты взялся, горе моё луковое? — только и спросила она, небрежно просматривая мою несчастную книжонку... Я растерялся и стал что-то бормотать о том, что я женат, у меня дочка и вообще...

— Это ты-то женат?! У тебя — дочка?! Вот сейчас выведу тебя в коридор — студенты со смеху помрут!... Непутёвый!...

Когда-то у нас вел “Теоретическую механику” преподаватель по фамилии Софронов, я не сдал ему зачет, и мне грозило остаться без стипендии, а это была бы гибель — мне ведь никто не помогал... кроме всё той же Валентины Сергеевны... И вдруг меня вызывают на кафедру с зачеткой, что она там химичила, не знаю, Софронова я не видел, а в зачетке была нарисована тройка, к счастью, в нашем институте давали стипендию и с тройками... На втором курсе нам выдавали в рассрочку горняцкую форму: китель с брюками и шинель. Мы должны были выплачивать небольшую сумму с каждой стипендии, но я так и не внёс свою долю. Валентина Сергеевна опять что-то наколдовала, и мне “простили” мой долг.

— У тебя, наверно, и денег нет на обратную дорогу? — спросила она и полезла в свою сумочку.

Я рывком поцеловал ей руку и пустился бежать...

И только на вокзале вспомнил, что собирался зайти к Смелякову — подарить ему свою книжечку. Но не зашел еще и потому, что у меня было странное чувство — точно я виноват перед ним в том, что не опубликовался в “Комсомолке”, он сделал всё, а я...

То, что я изложил на предыдущих страницах, можно считать первой серией фильма. Но была и вторая...

В 1962 году в Курске состоялся межобластной семинар молодых литераторов. Москву представлял Сергей Наровчатов. Он работал в соседней секции, но наш главный — Новоспасский специально пригласил его послушать меня. Наровчатов, считавшийся “гражданским” поэтом, должен был осудить меня за



аполитичность... Новоспасский и мысли не допускал, что моя беспризорщина может понравиться поэту -фронтовику. И еще одного не учел наш главный редактор: до войны он работал в Сталинградском книжном издательстве и зарубил первую книгу начинающего поэта Михаила Луконина. А Наровчатов с Лукониным были ближайшими друзьями: вместе добровольцами ушли на Финскую войну, вместе по первому звонку – на Великую Отечественную. Наровчатов помог раненому другу выйти из окружения.

Москвич при всех объявил, что мои стихи – это и есть настоящая поэзия. А когда по окончании семинара сидели в ресторане, расспрашивал меня о моей жизни. По поводу неудачи с “Комсомолкой” он с улыбкой заметил: “Вы попали под колесо истории. – И, помолчав, уже серьёзно добавил: – Попробуем вас оттуда извлечь...”

Нам тогда предложили выступить по местному телевидению и прочесть по одному стихотворению. Наровчатов прислал мне записку: “Читайте два – “Прозрень” и “Осеннее”. Что я и сделал...”

Он взял с собой мои стихи и обещал опубликовать их в Москве со своим предисловием. Дело прошлое, но некоторые мои товарищи то ли из ревности, то ли из зависти наговорили мне про него всякой всячины: он и запойный, и не пользуется среди настоящих поэтов никаким авторитетом... И всё-таки уверенности во мне прибавилось: одобрение Смелякова и теперь Наровчатова что-нибудь, да значило!

А где-то через неделю я получил от него открытку: “Что означает буква “Н” в ваших инициалах? Неужели Николай? Сведения о вас нужны для московских изданий – для “Юности” и других”...

Я, конечно, тут же отправил ему письмо. А в конце ноября того же года пришла телеграмма: “Поздравляю публикацией в газете “Литература и жизнь” ваших отличных стихов. Наровчатов”. Впоследствии он шутил: “Как видите, Карибский кризис не помешал!”... Но тогда, получив телеграмму, я не поверил: подумал, что меня разыгрывают мои московские приятели, с которыми год назад я поступал в Литературный институт.

От нашего села Шебекино Поле до города Шебекино было всего-то четыре километра, но я добирался туда больше часа, топчя черноземную грязь, благо, у тещи были резиновые сапоги.



И вот я держу в руках “Литературу и жизнь” с моими стихами и предисловием Наровчатова! Тогда же в письме он посоветовал мне сдать рукопись в “Молодую гвардию”.

В 1964 году Белгородское книжное издательство было на грани закрытия: очередная хрущевская перестройка со слиянием колхозов, районов, издательств... Все укрупнялось, чтобы спустя несколько лет, уже при новых вождях, — разукрупниться. Наровчатов согласился быть редактором моей второй белгородской книжки “Голуби, голуби”. В поэме “Воркутинский дневник” у меня была строчка: “И как о лебединой песне, мечтал о штреках и забоях”... Мой редактор сделал мне замечание — заменить это выражение. Но я попросил его оставить авторский вариант: “Пусть будет единственный случай, когда редактор полностью доверился автору!” Он ответил коротко: “Добро!” А что касается публикации в “Литературе и жизни”, то мне хотелось послать по экземпляру Валентине Сергеевне и Ярославу Смелякову, но в райцентровских киосках этой газеты не было, а о ксероксах тогда и не слыхивали, все множители были строго запрещены.

Из “Молодой гвардии” ответили, что моя рукопись на рецензии у Дмитрия Блынского. Я знал его как поэта: в 1959 году купил книгу стихов “Иду с полей”. Она мне очень понравилась своей простотой, точностью, задушевностью. В интонации было что-то магическое. “О стихах говорят в этом доме поэты, я стучу, я вхожу, я обязан войти”! Он работал тогда в отделе культуры всё той же “Комсомолки”. Мы познакомились и, пока добирались до Сущёвской, разговорились. В наших биографиях было немало общего: оба познали ранний труд за “палочки” — как тогда назывались трудодни... Книга вышла в 1955 году. Она называлась “Небо”. К великому сожалению, Дмитрия Блынского уже не было на свете.

Сейчас его рецензия находится в музее И.С. Тургенева в городе Орле.



СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ

Подводя итоги курского семинара молодых литераторов, Сергей Наровчатов особо отметил мои стихи и пообещал опубликовать их в Москве со своим предисловием. Нас всех пригласили выступить по местному телевидению и прочесть по одному стихотворению, но московский поэт прислал мне записку: “Читайте два”. Что я и сделал.

Наученный горьким опытом, я не очень-то надеялся на публикацию в столице. Но уверенности прибавилось: одобрение Смелякова и Наровчатова чего-нибудь да стоило! Тем более, что это стало известно белгородским издателям, которые, хотя и относились ко мне с приглядкой, но дали мою поэмку “О звёздах” в альманахе “Время” в 1950 году, а год спустя в местном издательстве вышла моя небольшая книжица — “Звёзды делает человек”.

Я жил тогда в сельце Шебекино Поле — туда и пришла открытка от Наровчатова: “Приезжайте. Нужны будут Ваши анкетные данные — для “Юности” и других изданий”.

И вот Москва. Цветной бульвар.

Сергей Сергеевич ждал меня внизу, на вахте. И сразу повёл в “Литературную газету”. Но там не оказалось кого-то нужного. Спустились этажом ниже и зашли в кабинет редактора “Литературы и жизни” — Поздняева. Тут меня сфотографировали. Помнится, буфет был на том же этаже. Наровчатов предложил зайти туда и выпить по кружке пива. Отказаться я не догадался... Там к нам присоединился Михаил Луконин. Наровчатову тогда было сорок два года. Синеглазый и еще не огузший, он всё время пыхтел дешевой сигаретой и сдержанно улыбался, рассказывая своему другу мою историю с “Комсомолкой” ...Казавшийся мне суровым, по стихам, Михаил Кузьмич также добродушно посмеивался. Луконина, а также Михаила Львова я видел еще только один раз у Наровчатовых на Профсоюзной.

Со времени своего студенчества, — а я учился в Московском горном институте, — помнились строки Наровчатова:



“Сплела слепая девочка венки” и Луконина “Лучше прийти с пустым рукавом, чем с пустой душой”. Тогда в Москве выходил ежегодник: “Стихи 1955 года”, “Стихи 1956 года” и так далее... Я еще не писал, но к тому, что публиковали другие, приглядывался с интересом... Признаться, моими кумирами были Евтушенко и Вознесенский: первый, мой ровесник, успел напечатать в журнале “Октябрь” свою поэму “Станция Зима”, ставшую сразу знаменитой, а второй – в “Литературной газете” яркую поэму “Мастера”. В те же годы мне попала книжечка Владимира Луговского “Синяя весна”, и я долго бредил словами: “Из лесу красавица вышла возле линии – глаза такие синие и ветер на висках”.

Поздней осенью 1952 года я получил телеграмму: “Поздравляю публикацией ваших отличных стихов газете “Литература и жизнь”. Сначала не поверил, подумал, что меня разыгрывают приятели, с которыми годом раньше я поступал в Литературный институт.

В письме Наровчатова посоветовал мне подготовить рукопись для издательства “Молодая гвардия”.

Оказавшись в Москве, я позвонил ему и попросил разрешения зайти. На Профсоюзной улице у него была однокомнатная квартира. Тахта, письменный стол, на полу шкура медведя, которого застрелил в свое время шестнадцатилетний Сергей в магаданской тайге. Я так и не узнал, за какие провинности его родители оказались на Дальнем Востоке. Но больше, чем шкура медведя, меня поразили книги – на полках, на столе, на подоконнике, такой библиотеки в личном пользовании я прежде не видел ни у кого. Сам хозяин, явный трудоголик, сидел за столом и курил одну за другой сигареты. Галина Николаевна, его вторая жена, тогда еще не располневшая, симпатичная, домовитая, смотрела на своего мужа чуть ли не материнскими глазами и только и успевала выбрасывать из пепельницы окурки и ставить перед ним очередную чашку черного кофе.

Еще в Курске ребята мне рассказывали, что он “крепко зашибает”. При первой же встрече в Москве он предложил мне выпить и, не дожидаясь ответа, поставил на кухонный стол бутылку водки. Я счел это за честь. В разговоре он упоминал имена поэтов, погибших на фронте, – Николая Майорова, Георгия Суворова, Павла Когана и других. Еще до войны он был студентом ИФЛИ и Литературного института и оба закончил перед уходом



добровольно на Финскую. Говорил он также о тех, кто вернулся, — о том же Луконине, Давиде Самойлове, Иване Баукове, Марке Соболе... Правда, я не слышал от него пафосных и затёртых к тому времени слов — “фронтовое братство” и им подобных... Гораздо позже он напишет:

*“...что лучше не было и нет,
чем эта мокрая траншея,
чем этот серенький рассвет...”*

Вернувшись с войны, они не сразу привыкли к тому, что мирная жизнь сложна по-своему, что быт требует совсем других качеств, тут надо было терпеть, а то и приспособливаться. Молодечество, связанное с опасностями, с риском, становилось чуть ли не чудачеством и, во всяком случае, было не к месту. Отсюда и строки Луконина, приведённые выше.

Наровчатов был многостаночник: поэт, критик, литературовед. Его жизненный опыт — война, точнее две войны, юность на Востоке и, конечно, страсть к чтению — не только художественной литературы, давали ему самый разнообразный материал. Такие поэмы, как “Пролив Екатерины” и, особенно, “Василий Буслаев”, требовали глубокого знания истории и этнографии. Его “Необычное литературоведение” — одна из интереснейших книг на эту тему.

А в последние годы он опубликовал удивительные, самобытные рассказы, используя исторический материал, но преобразуя его так, что читатель видел вещи в неожиданном ракурсе.

Я получил от него в разные годы шесть телеграмм и более десятка писем. Не странно ли, что этот многознающий и многовидевший человек не считал зазорным поздравлять какого-то провинциального начинающего поэта с приёмом в Союз писателей, с утверждением в секретариате. Мне, конечно, было лестно его внимание. После того, как его не стало, я почти каждый раз вчитывался в свои новые стихи его глазами и пытался представить, что бы он сказал по поводу того или иного стихотворения. В 1979 году, будучи редактором “Нового мира”, он дал подборку — четыре моих стихотворения и написал, что еще несколько опубликуют в летних номерах...

А еще в 1964 году он согласился быть редактором моей второй книги, которая вышла в Белгороде. Он вообще привечал молодых.



В этой связи хочется привести хотя бы в отрывках одно из лучших его стихотворений “Пёс, девчонка и поэт”. В нём, как мне кажется, довольно полно выражен характер автора.

*Я шел из места, что мне так знакомо,
где цепкий хмель удерживает взгляд,
за что меня от дочки до парткома
по праву все безгрешные корят.
Я знал, что плохо поступил сегодня,
раскаянья проснулись голоса,
и тут-то я в январской подворотне
увидел замерзающего пса.
Был грязен пёс, и шерсть свалаясь в клочья,
от голода теряя крохи сил,
он, присуждённый к смерти этой ночью,
спасти себя от голода просил.*

*...Я во хмелю всегда сентиментален:
— Вставай-ка, пёс, пошли ко мне домой...
...Девчонка над перилами застыла,
сложила руки тонкие крестом
и вдруг рывком оставила перила
и расплескала реку под мостом.
...и я сказал послушливому псу:
— Я спас тебя, а ты спасай девицу,
и умный пёс в ответ сказал: — Спасу!
Когда ж девчонку, словно хворостинку,
на берег вынес, лапами гребя,
пришлось мне влить ей в глотку четвертинку,
которую берёг я для себя...*

Естественно, что девчонка разродилась богатырём, который рос, “как в поле рожь густая... меня и мать и пса перерастая”... А вот концовка:

*...Но в этот вечер я не встал со стула,
история мне не простит вовек,
что пёс замёрз, девчонка утонула,
великий не родился человек.*

И тут к месту будет сказать, что он основательно погрешил против истины. Оставим разговоры о величии, но следует назвать хотя бы несколько имён поэтов из тех, кому он дал “Доброго пути”: Роберт Винонен, Лев Котюков, Алексей Заурих... всех не назовёшь...



И особенно хочется отметить, что это он сделал известным признанного теперь выдающимся Юрия Кузнецова.

Бывая в Москве, я всегда заходил к нему. Это у него, оставленный в квартире на целый день, я читал и перечитывал впервые толстенный том поэзии Серебряного века. У него я занимал деньги, чтобы купить в букинистическом магазине “Дневник Екатерины второй” и “Донжуанский список Пушкина”.

Однажды я позвонил ему из общежития Литературного института: у него на рецензировании лежала рукопись моего приятеля Алексея Труфилова. Помню дословно тот разговор.

– К вам можно зайти, Сергей Сергеевич?

– Конечно, – ответил он, слегка пришепётывая на шипящих.

– Но я не один...

– Хоть целый взвод! Лишь бы в квартиру влезли!

Он был навеселе. Лёшка настоял, чтобы мы взяли бутылку.

– Боюсь, погонит, я однажды попытался, и он меня высмеял, дескать, что-что, а это добро у меня всегда есть...

У Труфилова в одном из стихотворений была такая концовка:

*...И пусть на мой последний крик
ничья душа не отзовется,
не ставьте крест, поставьте штык,
чтоб я и мёртвый мог колотиться!*

– Громко сказано, – заметил Наровчатов, – вопрос в том, по какому поводу?..

– Да вообще! – Лёшка, ухарски проглотив содержимое стакана, стал заводиться. Ярый почвенник, желтоволосый уроженец Рязани, он работал под Есенина. Ругал Москву, где живут одни тунеядцы... тройные замки, собаки... А остальная Россия на них ишачит...

– Знакомая песня! – фыркнул Наровчатов. – А вы подумали, что такое Москва? Здесь множество крупных заводов и фабрик, где, кстати, работают миллионы недавних выходцев из деревень... И, по-вашему, они даром едят свой хлеб?... А что касается собак, то вы, наверно, забыли стихи своего знаменитого земляка о братьях наших меньших...

Тогда в какой-то связи зашел разговор о том, что поэт Е. увёл жену у поэта Л., который в своё время ему всячески помогал пробиться.

– Будь это в иные времена, Л. вызвал бы негодя на дуэль...

– Какая там дуэль, набить морду и всё! – прокомментировал Лёшка. Рецензией Труфилов остался доволен...



В следующий раз, когда я был у Наровчатовых, не помню, с чего начался разговор о пошлости и амикошонстве. Сергей Сергеевич возмущался поэтом Р., который называл знаменитого Назыма Хикмета просто Назымом...

— Нет, вы подумайте, человек провёл десятки лет в турецких застенках, поэт-коммунист — для него просто Назым! С Пушкиным на дружеской ноге! — Тут он подошел к полке, достал книгу Гоголя и стал зачитывать куски из “Ревизора”.

В тяжелые для меня времена, когда мной всерьёз заинтересовались органы, он, тогда уже редактор “Нового мира”, опубликовал в своей книге “Берега времени” очерк “Парень из Белгорода”.

В год его юбилея — шестидесятилетия — я послал ему в подарок двухтомник Бисмарка и вскоре получил ответ: “За подарок спасибо! Но как Вы могли подумать, что у меня нет этого двухтомника. Будете в Москве — обязательно зайдите. Бисмарк — фигура примечательная, думаю, вам эти книги пригодятся”.

В очерке “Песни Коминтерна” он с любовью описывает свои детские впечатления от пребывания в Коктебеле. Знакомство с писателями группы “Перевал” Новиковым-Прибоем, Петром Ширяевым, Николаем Никандровым и другими. Венгерский поэт-революционер Антал Гидаш, интернационалисты из Испании, Германии — вот круг тогдашнего общения мальчика Серёжи. Солнечные воспоминания! Среди фотографий, хранящихся в Доме Волошина, есть несколько снимков Наровчатова, сделанных в разные годы.

Он и умер в Коктебеле. Гангрена. Сказались хромовые сапожки Финской войны, ранения Великой Отечественной. Работа на износ за письменным столом, редакторство в “Новом мире”, плану которого так высоко поднял Твардовский. Тысячи и тысячи сигарет, бесконечные чашки черного кофе. Мир праху его! Он не раз цитировал моё стихотворение “Прозрень”.

Прозрень

Памяти Сергея Наровчатова

*Бывает острое прозрень,
как взрыв в мозгу, что ты — живой,
что ненависть, любовь, горенье
в тебе, с тобой и над тобой.*



*Ты только вскрикни, хлопни дверью
или засмейся — просто, вдруг —
и тут же ветер и деревья
тебя затянут в общий круг.*

*В тот милый круг, где всё живое,
где наслаждение и боль,
где правят общию судьбою
горенье, ненависть, любовь.*

*Мы в общем хоре — все солисты
к даже тот, кто безголос,
в своём, особенном, регистре
доносит шёпот свой до звёзд.*





НИКОЛАЙ РУБЦОВ

Я не претендую на полный портрет человека и поэта — Николая Рубцова. Пишу только о своих впечатлениях — о встречах с ним. С некоторым прибавлением того, что узнал от его друзей. Сам же я не был его другом, скорее, просто приятелем, одним из многих.

В 1961 году я поступал в Литературный институт имени Горького. К тому времени я был уже автором первой книги стихов и, может поэтому, мне предложили заочное отделение. Я отказался. Но с 1963-го и до конца шестидесятых регулярно наезжал в Москву и останавливался в общежитии того же института. В издательстве “Молодая гвардия” лежала моя рукопись, готовилась книга. Еще в бытность абитуриентом я познакомился и подружился с Робертом Виноненом, Виктором Потаниным, Алексеем Труфиловым, Петром Вегинным (тогда еще Мнацакянном), а в 1963 году в Литинститут поступил мой друг Павел Мелёхин.

В знаменитом на всю Москву общежитии жили тогда не только студенты и слушатели Высших курсов. Там находили пристанище самые неожиданные люди: к примеру, временно проживала актриса Татьяна Самойлова, в одной из комнат околачивался — иначе не скажешь! — бывший белгородец Юрий Влодов. Тот же Роберт Винонен после окончания института и аспирантуры квартировал здесь со своей колоритной матушкой. Обстановка была, можно сказать, свободная, вольная... Я упоминаю об этом не только для общего фона, но и потому, что и Николай Рубцов не всегда жил здесь на законном основании. Одноглазый комендант по прозвищу Циклоп вел постоянную борьбу с незаконными обитателями, но люди просачивались...

Колю Рубцова время от времени исключали из института, потом восстанавливали, переводили на заочное, опять исключали — и вахтёры уже просто не ориентировались — свой он или чужой. Он считался, да и был — не станем ханжить! — парнем неуправляемым, задиристым, со слишком свободными замашками.



В те годы, что я его знал, сама его лиричность была на грани надрыва. Мне ли, бывшему детдомовцу и беспризорнику, было не понять его... Я ведь и сам после побега из детдома в 1945 году хлебнул всякого. С тринадцати лет будучи “воспитанником колхоза” зарабатывал себе на хлеб.

О Рубцове тогда еще не писали и не набивались ему в друзья все кому не лень, но вот что я узнал от его приятелей.

В шесть лет он остался без матери и попал в детдом. В шестнадцать уже был кочегаром тралового флота, а потом служил матросом, работал слесарем на заводе в Ленинграде. Только на тридцать втором году жизни получил постоянную прописку и лишь за год до своей гибели — однокомнатную квартиру в Вологде. Неустройство, бездомность, нищета, постоянные поиски хоть какого-нибудь заработка, чтобы прокормить свою жену и дочку, живших в глухой нищей деревне.

А познакомился я с ним так. Однажды весенней ночью мы с ребятами засиделись за полночь в одной из комнат общежития. Выпивали, пока было что... Читали по кругу стихи. Я бренчал на гитаре и пел на слова Блока “О доблестях, о подвигах, о славе”. Собирались расходиться, и тут в комнату вошел без стука невысокий лысоватый человек и, как мне показалось и навсегда врезалось в память, с иконописным лицом. Напряженность и дума странно сочетались в нём с осторожностью и развязностью. Он тоже был под хмельком, сел рядом со мной и, прислушавшись к мелодии, стал подпевать. Попросил сыграть сначала. К тому времени у меня на руках стали вспухать мозоли: струны были натянуты слишком туго, а ключа не было.

Я, шутя, ответил:

— Принесёшь “горючего”, буду играть хоть до утра...

— Одеколон сойдёт? — спросил он, не удивившись моим словам.

— Сойдёт! Ещё как сойдёт! — загалдели “недопитые” ребята. Минут через пятнадцать он вернулся с флаконом духов. “Подушились” и продолжили. Потом он взял гитару, и я впервые услышал его “Горницу”, “Прощальную песню”, “Осеннюю песню”...

Когда он дошел до слов “на меня надвигалась темнота закоулков и архангельский дождик на меня моросил”, я отвернулся, чтобы скрыть нетрезвые слезы. Это было то самое, наше, бродяжье...



В те годы я вёл дневник и по пути в Белгород записал: “Познакомился с Николаем Рубцовым. Отличные прибрятённые песни!” Не стану врать: я не сразу “врубился” в его стихи и воспринял его так, как воспринимал тогда бардов.

Во второй мой приезд я застал его в компании с Васей Нечунаевым и Борисом Шишаевым. Однажды рано утром он разбудил меня и позвал в Останкино — пить пиво. Денег у меня не было даже на обратную дорогу. Но Коля только махнул рукой и, усмехнувшись, странно оглядел меня с ног до головы и сказал:

— Пойдём, пойдём...

Пойти в Останкино означало навестить пивнушку рядом с железнодорожными путями. Там целыми днями гудела всякая-разная публика, в основном работяги. У входа в это заведение Коля наставлял меня:

— Стой у пустой бочки и молчи, остальное я сам...

Он подошел к мужикам, клубившимся у стойки, и — сначала один, потом другой, третий поднесли и поставили рядом со мной полные кружки пенящейся жидкости. А четвёртый или пятый набулькал в две кружки водочки из своей четвертинки. При этом они сочувственно озирали моё худющее, давно не бритое лицо, наколки на кистях рук, помятый серый плащик. Наконец один из них спросил: “Давно от “хозяина”?” Я чуть не подавился пивом, но промолчал. На прощанье мужики снабдили нас пачкой “Примы”. Отойдя метров на пятьдесят от пивнушки, я впервые услышал Колин открытый смех. Получалось, что я сыграл роль Кисы Воробьянинова при Остапе Бендере! С юмором у Рубцова всё было в порядке. Вот еще один случай — почти по Ильфу и Петрову. Вооружившись бутылкой “Солнцедара”, мы шли по направлению к улице “Правды”, не помню зачем. Выискивали забегаловку, чтобы оприходовать своё богатство. И вдруг Коля остановился и, ухмыляясь, указал мне кивком на противоположную сторону улицы. Там висела табличка с надписью: “Столовая трамвайно-троллейбусного треста имени товарища Щепетильникова”. Мы тут же воспользовались услугами “товарища”.

Коля рано начал писать, лет с десяти. Ко времени, о котором я рассказываю, он при своём редчайшем таланте “выписался” настолько, что с моцартианской лёгкостью добивался результата — будь это серьёзные, игровые или, скажем, детские стихи.



Казалось, что он раз и навсегда приручил вдохновение – самую капризную вещь в искусстве. Он знал себе цену и болезненно относился к любому, самому мелкому замечанию. Сидели как-то в комнате Сашки Петрова по прозвищу Цыган – отмечали выход знаменитой Колиной книги “Звезда полей”. Коля читал из нее стихи. И вдруг я без всякой задней мысли заметил, что впервые это выражение “звезда полей” встретилось мне в книге Владимира Соколова. И тут Коля бросился на меня с вилкой. Мы с Толиком Третьяковым еле удержали его. Третьяков – тогда зять Наровчатова – был студентом ВГИКа. Настроение у Коли испортилось. Он стал жаловаться на то, что тут все считают себя гениями, а его не признают. Тогда мы предложили ему пойти по комнатам и убедиться, что он не прав – многие ребята знают его стихи наизусть... Тогда еще не все готовы были признать его первенство – это не так просто, почти противоестественно признавать, что кто-то пишет лучше тебя... Ревность и зависть иногда проскальзывали в отзывах о его поэзии. До полного признания было далеко. Но мы выбирали те комнаты, где жили явные друзья Рубцова. Коля оттаял. Что же касается выражения “звезда полей”, то я позже узнал, что это из старинной казацкой песни: “звезда полей над тихим отчим домом и матери моей печальная рука”.

Мне кажется, Рубцов был внутренний человек, и с годами всё внешнее его стало раздражать. Неприютность, бедность и сознание своего дара бунтовали в нём. Еще и поэтому он выпивал и куролесил. Если говорить о выпивке вообще, то – так было – выпивали все... Разобраться в причинах этого “явления” – всё равно, что разгадать тайну славянской души да и вообще души человеческой, требующей допинга и разрядки... Молодость, компанейщина, неустроенность, преклонение перед Есениным... Надо учесть, что большинство студентов были из глубинки, из бедных семей... Думаю, что не последнее место в тогдашних мытарствах занимала и “социалка”, цензура: после хрущевской оттепели, как бы к ней ни относиться, новые вожди пытались всё повернуть “на круги своя”. И какого бы направления ни придерживался поэт, он не мог быть флюгером и писать только “правверные” стихи.

Вот далеко не полный мартиролог – я привожу имена только тех, кого знал и кто был более или менее известен. В Харькове



попал под трамвай по своей воле или с чьей-то помощью поэт-фронтовик, побывавший в фашистском концлагере, Василь Бондарь. В Купянске покончил с собой Вячеслав Видченко, отслуживший на минных тральщиках семь лет. Он писал отличные стихи на русском языке и его постоянно за это притесняли скрытые украинские националисты из Харьковского Союза писателей. В Воронеже досрочно ушел из жизни талантливейший Алексей Прасолов. Павел Мелёхин бросился с девятого этажа... “Литературная газета”, не разобравшись, обвинила его в плагиате. Павел, постоянно нуждаясь в деньгах, писал стихи за одного из бездарных воронежских поэтов и однажды по забывчивости опубликовал своё же стихотворение под своей фамилией – то, которое когда-то подарил другому...

В одном из писем Коля жаловался Александру Яшину, старшему товарищу и земляку, сочувственно настроенному к Рубцову, на то, что Архангельское издательство заплатило ему под расчет за книгу стихов всего двадцать девять рублей, “выпрямив” строчки даже в тех местах, где это выпрямление искажало смысл. Как неловко, с каким стыдом приводил Коля эту несчастную калькуляцию... В другом письме – своему приятелю Елесину он писал: “Если вашу газету не устроит слово “грустные”, то можно его заменить другим, это сделать легко, хотя никакого другого слова, никакой другой эпитет здесь не будет точнее и сильнее”.

В отличие от многих я не считаю, что Евтушенко, Вознесенский и некоторые другие достойны только отрицания и насмешек, заслуги их несомненны: они раскрепостили стих и, что бы ими ни двигало, расширили тематически, да и просто написали хорошие стихи. Не говоря уж об Окуджаве и Высоцком, – принизить их значение не под силу ни одному “неистовому ревнителю”. Другое дело, несмотря на некоторые проработки, “воспитательные” меры, критику на самом высшем уровне, этим поэтам позволялось гораздо больше, чем тем же “деревенщикам” и просто провинциалам, они, эти “эстрадники”, были как бы выставочными: любуйся, заграница, какая у нас свобода творчества! Ради истины надо сказать, что Рубцова рано заметили и оценили некоторые московские поэты и критики. Ему сочувствовали и помогали в меру сил.



К примеру, руководитель его семинара Николай Сидоренко, Станислав Куняев и Вадим Кожин, близкие ему по возрасту. Они тогда еще не много могли. Наведывались к Рубцову в общежитие, отвести душу – выпить, погитарить. Но – они разъезжались по домам, а Коля оставался при своих – без прописки, без средств к существованию. С годами он всё больше жил стихами и в стихах. Муза завистлива, она требует всего человека, служения ей, а не мамоне. Казалось бы, его драматические, чтобы не сказать трагические, мытарства должны были его ожесточить.

Может, это отчасти и было в быту, но не в его поэзии, стихи оставались добрыми и просветлёнными. Разве что для разрядки писались вещи вроде “Стукнул по карману – не звенит”, “Песня алкоголика”... Не вижу смысла подыскивать оценочные эпитеты для его стихов, скажу только, что от чистоты этой поэзии хотелось как-то защититься...

В тридцать три года он написал стихотворение “Поезд”. Вместе со строчкой, которую можно брать в заголовок – “И какое может быть крушеньё”, естественным дополнением к сути и смыслу его мировоззрения, на мой взгляд, служит и следующая, таким образом: “И какое может быть крушеньё, если столько в поезде народу?!”

Бытовая жизненная правда, если даже она “санкционирована” земными и небесными властями, не является правдой поэзии. Он писал в одном из своих стихотворений: “...До смертного креста / пусть душа останется чиста”... И она осталась чиста. К его душе, мне кажется, можно применить выражение Льва Толстого “энергия заблуждения” – то состояние, та “субстанция”, без которой нет истинного творчества. Он болит во мне все эти годы – человек и поэт Коля Рубцов. Я посвятил его памяти два стихотворения, хочу их привести.

*...Майский ветер братается с листьями
и наносит, наносит пыльцу
на рубцовскую раннюю лысину –
и поэту и ветру к лицу!*

*С семистрункой, с дешевыми винами
дегустируют песню и стих
Третьяков и Мелёхин, и Винонен,
и Перовский, и много других...*



*Колобродит поэтская вольница
и не смотрит в затылок судьбе,
все равны и дружны, но, как водится,
каждый гений и сам по себе.*

*Будет время — придётся пригорбиться,
преклониться в гордыне своей
перед светлой-пресветлою “Горницей”.
“Добрым Филей”, “Звездюю полей”...*

*От больного ума за плечами сума,
сандалеты на босую ногу,
впереди сумасшествие или тюрьма,
и молись ты хоть черту, хоть Богу.*

*Все друзья позади,
все враги впереди,
все дороги пропахли полынью,
льют на тощие плечи чужие дожди,
омывая сиренью и стынью.*

*Подглядит и запомнит земляк-ротозей,
как ты прыгаешь с кочки на кочку,
ты погибнешь — и выплывет куча друзей,
ухватившись за лёгкую строчку.*





ПАВЕЛ МЕЛЁХИН

В 1987 году до меня дошел слух: в Мытищах покончил с собой поэт Павел Мелёхин. Бросился с девятого этажа. Есть глупая версия, что — сбросили...

А познакомился я с ним в белгородской молодёжной газете “Ленинская смена” в 1960 году. Газета была молодёжной не только по статусу, но и, что естественно для тех лет, по возрасту своих сотрудников. До 1954 года Белгород входил в состав Курской области. Потом отпочковался, стал областным, прихватив некоторые районы Курска и Воронежа. Всё было новое, свежее. В те времена выпускники учебных заведений должны были отработать несколько лет, желательно в глубинке.

Супруги Пучковы, Заливадный, Инна Кошелева, Александр Потапов, Владимир Зайцев, Юрий Чубуков представляли свои университеты — МГУ, Ленинградский, Вильнюсский, Воронежский ... Впоследствии Пучковы работали в Культурном представительстве СССР во Франции, а Александр Потапов до сего дня (я пишу этот очерк в начале 2006 года) занимает высокий пост главного редактора газеты “Труд”.

Была хрущёвская оттепель, время надежд, время поэзии. Вокруг “молодёжки” собирались молодые литераторы, чаще поэты. В Москве уже гремели Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, писал и пел свои первые песни Окуджава. Старалась не отставать и провинция. В Белгороде выпускал свои книги Виталий Буханов. К сожалению, вскоре его не стало — болезнь сердца... В селе Терехово Старооскольского района писал самобытные стихи чабан Владимир Михалёв. Публиковал свои первые стихи Игорь Чернухин, недавно освободившийся из сталинского лагеря. Юрий Влодов, которому дал “Доброго пути” Илья Сельвинский, считался чуть ли не маститым. Писали стихи и редакционные работники — Юрий Чубуков, Дмитрий Маматов...

Молва донесла, что в Старом Осколе учится в геолого-разведочном техникуме и пишет интересные стихи молодой поэт



Павел Мелёхин. Легкий стиль, игровая манера, даже некоторый налёт фронды пришлось по вкусу в молодёжной газете.

*Доярка дояра довела до яра,
там до зорьки яркой целовались яро.
Был дояркин милый неуклюжий малый...
... он сидел в костюме и гремел костями!
... в положенье пата спорили до пота:
он: — Догоним Штаты?
Она ему: — Да что ты!
Облака адели и хвостом юлили,
а они шалели и потом шалили...*

В редакции время от времени можно было услышать:

— Пашка прислал новые стихи... Пашка попал в милицию — нужно выручать... Пашка, Пашка, Пашка...

И вот он приехал. Выше среднего роста, с крупными чертами лица, хлёсткий парень. Он зачитывал всех “скоромными” виршами. В горле у него что-то похрипывало.

Он рано определился и выразил в стихах свой взгляд на мир.

*Как много хорошего нами увидено
глазами Есенина, глазами Уитмена.
Иду за титанами — это не тайна,
и на ночь на кухне сажусь у титана.
...черкаю, клочкую гектары гекзаметров,
кручу себе чуб, бормочу, как факир,
я очень хочу, чтоб **МОИМИ ГЛАЗАМИ**
когда-нибудь люди взглянули на мир!*

Похоже, этому земляку Кольцова, Никитина и Платонова чувство слова было дано с рождения. Звукопись, аллитерации, даже модная тогда ассонансная рифма не портила погоды.

Однажды Павел заявился к нам в село Шебекино Поле, что в четырех километрах от города Шебекино, славного до перестройки своим стиральным порошком. В совхозном строении барачного типа у нас была одна комната на четверых: в ней жили мы с женой Лидой, наша дочка Рита и мать жены Мария Леонтьевна Бочарникова. За печкой взмывивал, пачкая подстилку, телёнок, под кроватью сидела гусыня, издавая временами характерные звуки — переворачивала яйца. Павлу, недавнему деревенскому жителю, такая картинка была не в новость. Моя золотая тёща, трудяга из трудяг, сразу почувствовала в нём своего, когда он заметил, улыбаясь:



– Вы Леонтьевна, а я Леонович!

И в те минуты, что он читал стихи о своей матери, она покачивала головой, вытирала слезы и тихонько приговаривала:

– Тах-то, сынок, тах-то...

*Мать моя понимает метели,
крик петухов и крестьянский труд,
мать философствует о материи,
только о той, что в ларёк завезут.
...Милая! Милая! Руки мятежные.
Сын твой столичный почти эрудит,
он над конспектом о всякой материи
много высоких истин твердит.
Может спорить о миропорядке:
жизнь человека – вся соль и суть!
Может сказать он, что деньги и тряпки
не разрешают счастья ничуть.
Может-то может, только не рад он,
только ему по-житейски жаль,
что он не видел тебя нарядной,
кутавшей плечи в добрую шаль.*

Павел родился в 1940 году в одной из подворонежских деревень. Помнил сорок седьмой голодный и даже более ранние, тоже не сытые, годы, когда сводили сады, чтобы не платить непосильный налог. Не то что на корову или овцу – на каждую курицу было заведено дело в талмуде налогового инспектора. Мелёхину не приходилось выдумывать, какой он весь из себя земляной, и козырять своим деревенским происхождением. А если он изредка и касался этой темы, то с доброй самоиронией, как в стихотворении “Отец послал в Воронеж с луком”.

Сочувствие и соучастие едва ли не главный мотив его стихов.

*Девчонку обокрали на вокзале...
...О граждане из шайки воровской,
негоже обворовывать девчонок,
за это сразу следует в расход!..
...И это просто вроде и не просто...
Я у двери болтался, как замок,
но проявить хоть каплю благородства
по своему безденежью не мог.*

После окончания техникума он работал в Сибири геологом. И привёз оттуда подборку свежих стихов.



*Спешим в маршрутках, как будто гонятся
за нами лешие налегке.
В глухих чащобах мне спать приходится
порой с девчонкой в одном мешке.
Я распалю костёр, по качеству
превосходящий любой закат.
И он дрожит, а девчонке кажется,
что я дрожу с головы до пят.
Она спокойно и вразумительно
зовёт меня после чая спать.
Я начинаю дрожать действительно
и лезу в спальную благодать.
А там погода стоит ташкентская:
влезаю в самую теплоту,
на косы мягкие, косы женские
я чуб отчаянно свой кладу...
Безлюдье. Небо синее слева.
Туман упал, и костёр погас.
А мы как будто Адам и Ева,
и всё начнётся лишь после нас.*

У него не так много стихов о любви, но они своеобразны и останавливают внимание любителя поэзии:

*Я танцевать, наверно, брошу,
где мне с танцорами тягаться:
я больше чувствую партнёру,
чем музыку во время танца...*

Но я упустил один забавный эпизод. После того, как он побывал у нас в селе, я “отдал ему визит”, получив от молодёжной газеты командировку в Губкин. Мы так отметили встречу, что у меня осталось денег только на одни сутки проживания в гостинице. Павел предложил мне остановиться у него в рабочем общежитии: дело в том, что в те времена начиналась “разбурка” Лебединского и Стойленского карьеров, и я должен был привезти оттуда материал о “первом ковше” железной руды...

Чтобы расплесться с гостиницей, зашли забрать мой чемоданчик. И тут два горных инженера предложили нам “расписать пульку”. То есть сыграть в преферанс. Я когда-то проводил за этим занятием целые ночи и почти всегда проигрывал. Павел научился этой игре в геолого-разведке. Он был на шесть лет моложе меня, но оказалось, что я ему не уступаю в легкомыслии.



Короче, мы сели за стол. И сразу стали “лететь в гору”! Пришлось отпрашиваться в туалет, оставив на виду, как бы в качестве залога, мой чемоданчик... Бог с ним, с этим залогом... Там кроме зубной щетки и куска мыла ничего не было... В общежитии парень из комнаты Павла стал возражать против моего вселения, пришлось Мелёхину занимать деньги и “смазывать” это дело. Парень подобрел и взял гитару. Но душок жлобства остался после этого случая. Павел почти в тот же день написал стихотворение “Толстяк гитарил напоказ”:

*Толстяк гитарил напоказ,
я, право, не высчитывал,
но из гитары столько раз
он “Мурочку” выщипывал...*

А у меня после возвращения из командировки появилось стихотворение “Гитаре новенькой эстрадной...”

Павел не выискивал темы, его поэзия жила на подножном корму. Хотя, конечно, не чуралась и неба.

*Женщина рожала в самолёте
высоко-высоко над землёй,
словно золотистый самородок,
появился мальчик у неё.
На руках у храброй стюардессы
он кричал в конверте из платка,
так кричал, что в синем поднебесье
в сторону бросались облака.
...и любовь, и хлеб обыкновенный
словно он предвидел наперёд,
и качался посреди вселенной
деревенской люлькой самолёт.*

Мы часто виделись, переписывались. Однажды он прислал мне фотографии. На снимке, сделанном провинциальным фотографом, он сидит с хитровато сдержанной улыбкой и держит на руках симпатичную девушку лет трёх – дочку поэта Владимира Михалёва. На обороте надпись: “Коле Перовскому вместо привета, парню геройскому и поэту”. И дата: 7/X-62. Павлу на фотокарточке 22 года. Он тогда писал: “Превращусь не в Толстого, так в толстого”... И напроорочил: с годами стал матереть, набирать лишний вес, но это будет потом, а пока – он решителен, лёгок, склонен к авантюрам...



Вот он сообщает мне в открытке, что женился и живёт в Семилуках. Оказавшись в очередной раз в Воронеже, я решил навестить молодоженов.

Дверь открыла симпатичная татарка — Роза, о которой он писал:

*Я с татаркой живу. На двоих
всё у нас — ликованье и лихо.
Я не мщу ей за предков своих,
за татаро-монгольское иго...*

Роза была домовитая и покладистая, Павла она любила. Тогда, несмотря на второй час ночи, она, работавшая продавщицей в магазине, сразу пошла за бутылкой, а Павел уселся на батарею прогревать почки — что-то у него было не в порядке с этим делом. Но жалоб я от него не слышал. Он и об этом писал в своей игривой манере:

*Меньше охаю и охаю
и ворчу на бытие,
принимаю жизнь, как алгебру,
с уравнениями её...*

Но он еще не был готов к оседлой жизни, тем более в глупинке.

Вскоре я получил новое известие: “Развёлся с Розой. Она осталась на старой квартире, а я получил двухкомнатную под Воронежем, а затем благополучно обменял её на однокомнатную в Воронеже”.

В его новое жилище часто являлись местные литераторы, в основном поэты, с бутылками или в поисках оных. В разное время встречал там Гордейчева, Полякова...

Когда в “Литературной газете” появился некролог по поводу “смерти поэта Павла Мелёхина”, сам “покойник” находился у нас в Белгороде. Он дал телеграмму-молнию матери в деревню: “Жив здоров в газете ошибка”. Но шуточка была вовсе не шуточной, и фортуна записала её на свои скрижали, чтобы при случае напомнить автору некролога, коим был сам Мелёхин...

При его безалаберной жизни денег всегда не хватало. Приходилось вертеться. Он подрабатывал рецензиями в Центрально-Чернозёмном издательстве и в Союзе писателей Воронежа. Часто приходилось иметь дело с такими стихами молодых, да и не молодых поэтов, что легче было написать за них новые, чем вносить правку...



Так у него наладилось сотрудничество с одним поэтом-фронтовиком, чьё полное имя и фамилию Павел открыл в акrostихе...

Но поговаривали, что Касаткин был не единственным “заказчиком”... Первое, что сделал Павел, когда стал студентом Литературного института, — написал в стихах заявление в ректорат с просьбой о материальной помощи, т. к. ему не в чем ездить на занятия и не на что жить. В 1966 году в издательстве “Советский писатель” вышла книга стихов Мелёхина с фирменным названием “Моими глазами”.

Павел считал себя, как бы сказали сейчас, “крутым” парнем, но считать и казаться — еще не значит быть... После института и выхода книги в одном из центральных издательств он попытался прижиться: стать своим в столичном литературном кругу. Да где там! Разве люди с железными локтями, знающие все ходы и выходы на пути к несправедному успеху, могут позволить какому-то чужаку из провинции смотреть на мир своими глазами? Приходилось унижаться, выпрашивая на рецензии рукописи начинающих поэтов...

Но, так или иначе, жизнь понемногу налаживалась. Павел женился, получил квартиру в Мытищах, у него родился сын.

Тут мне придётся вернуться на несколько лет назад. Однажды Мелёхин прямо с поезда ворвался в нашу белгородскую квартиру и, взбудораженный, стал рассказывать, что в Воронеже покончил с собой талантливейший поэт Алексей Прасолов. “Представляете, он повесился на моем шарфе... на моем шарфе...” — твердил он и никак не мог успокоиться. Оказывается, они выпивали в Союзе писателей, и Прасолов по рассеянности накиннул на шею шарф Мелёхина... накиннул на шею... чтобы потом...

Я представлял... В свое время, когда Павел знакомил меня с Алексеем, а было это в пивнушке недалеко от воронежского Союза писателей, Прасолов был неразговорчив и хмур, самоуглублён настолько, что казался нездешним. Павел же, каким я его знал, несмотря на романтичность и авантюрную жилку, был сугубо земным человеком и поэтом. Но в судьбах поэтов есть что-то мистическое. Какая-то высшая сила словно мстит им за то, что они смеют смотреть на мир именно своими глазами и выражать его сущность своими словами...

Судьба ждала момента и дождалась! Павел по забывчивости опубликовал своё давнее стихотворение под своей фамилией —



одно из тех, что были “подарены” подшефному... “Литературная газета”, не разобравшись, обвинила Мелёхина в плагиате... Не это ли явилось последней каплей?

А примерно за полгода до гибели он прислал мне в Орёл письмо с просьбой сходить в местный книжоторг, чтобы попросить местных книжников заказать побольше экземпляров его будущего сборника. Я пошел и получил ответ, что они не знают такого поэта... И вообще поэзия не пользуется спросом, приносит одни убытки!...

В своё время в “Юности” было опубликовано одно из лучших стихотворений Мелёхина “Нас кормит жизнь, а не искусство”. Был шумок. Кажется, сама “Правда” уделила этому событию несколько строк, обвинив автора и журнал в политической близорукости. Правда, выводов не последовало: похоже, кое-кому из власть имущих стихи понравились, несмотря на “критиканство”...

*Нас кормит жизнь, а не искусство,
а я в искусстве с головой,
и потому бывает скудно
с едой и прочей ерундой,
но у меня такого не было,
чтоб я без хлеба день сидел,
во всяком случае я хлеба
побольше Хлебникова ел.
И сверстников его побольше,
изголодавшихся в боях,
деливших меж собой по-божески
осьмушку, черную, как прах.
Всё перекопы да походы,
всё тот же прах да ржавь во щях,
такая тяжкая работа
да при таких пустых харчах.
Вот это понимаю — подвиг,
вот это понимаю — да!
Мне жаль, что булок из сегодня
нельзя подбросить в те года.
И, глядяываясь в дали русские,
еще я думаю про то —
с тем хлебом сделать Революцию,
а с современным можно что?!*



АЛЕКСАНДР ФИЛАТОВ

Саша Филатов был поэтом в широком смысле этого слова. Он писал отличные стихи. Но поэзия — это и отношение к миру, к людям, к природе, к искусству, то есть ко всему тому, что и составляет нашу жизнь.

Александр Константинович Филатов родился в 1943 году и умер в 1988-м. Он прожил всего сорок пять лет, а мог бы еще жить и жить, если бы изречение “В одну воронку снаряд дважды не попадает” оказалось верным. С помощью таких сентенций люди издавна пытались заговорить судьбу, умиловить её.

В августе пятьдесят девятого года Саша вместе со своими школьными друзьями прогуливался по саду, и пьяный сторож выстрелил в ребят. Саша был в белой рубашке и представлял собой отличную мишень, поэтому весь заряд пришелся на его долю. При этом одна дробиная попала в копчик и впоследствии сыграла роль того самого повторного снаряда. Со временем на этом месте развился рак кости — саркома.

Коляска, костыли... Тут сразу же надо сказать, что одно из главных качеств личности Филатова — мужество. Он всячески старался жить полноценной жизнью. Работал в школе после окончания Белгородского пединститута — преподавал язык и литературу, был завучем. Ребята его любили. Еще бы! Перед ними был живой и страстный человек, писатель, умеющий заинтересовать своих учеников, передать им своё чувство, свою любовь к родной литературе не избитыми фразами о “лишних людях”, а примерами из жизни. Рассказывая о былинах, он читал им свои стихи на тему “Из того ли города, из Мурома...”, в котором успел уже побывать. Так же, говоря о тургеневском Бежином луге, он рисовал перед своими подопечными картины того, что сам видел. С помощью младшего брата Виктора и жены Зины Саша не раз совершал поездки по Руси, знакомился с людьми, изучал историю не только по книгам, но и посещая музеи.



Топлинка — родное село Саши, расположена в тридцати километрах от Белгорода. Нельзя сказать, что это пригород, но и глубинкой не назовёшь. Многие жители села, особенно молодые, работали в областном центре, в городе Шебекино. Отсюда и уклад с признаками городской культуры — то двуединство, когда человек не отрывается от земли и в то же время имеет возможность пользоваться благами цивилизации. И, конечно, само местоположение села рядом с Северским Донцом, к примеру, от дома Филатовых до ближайшего берега чуть больше ста метров. Река облагораживает, смягчает сердца, даёт занятие...

Я не помню года и месяца, когда мы с Сашей познакомились, — такое впечатление, что были знакомы всегда. Как-то незаметно в моей душе уложились филатовский двор, пристройки, садик, забор и солнце, солнце, солнце! Конечно, были и пасмурные дни — снег, дождь, но они не запомнились. Всему, что окружало Сашины пенаты, было к лицу именно солнце!

Стол посреди летнего двора, и за этим столом — мама Филатовых Евгения Титовна (1924—1999), отец Константин Стефанович (1918—2004) и все остальные: Саша с женой Зиной и с их приёмным сыном Сашей, Виктор с женой Ларисой и сыном Костей... Валентина с мужем Анатолием и дочкой Инной. И почти всегда — гости, которые задерживались за столом дольше старших хозяев — выпивали, читали стихи, спорили...

Ярче всего отпечатались в памяти живые картины. Их много, попытаюсь привести хотя бы некоторые.

Вот мы сидим на берегу Донца, и Саша то и дело подсекает и вытаскивает рыбёшек. На мой удивлённый вопрос он со своей широкой улыбкой отвечает:

— Прикормил местечко...

Но я -то вижу, что это не так: он и на новом, на любом месте рыбачит так же удачно. Просто у него врождённое чувство природы и рыбачий фарт. Иначе ничем не объяснишь такую картину: мы с писателем Николаем Красновым стоим, разинув рты, на берегу “лужи”, образовавшейся еще во время половодья, и смотрим, как Саша маневрирует на своей плоскодонке и опять же таскает одного за другим подлещиков. А сам рыбак только отсмеивается:

— А что делать, если Витаминный комбинат выпустил в Донец очередную порцию отравы?



Мне казалось, что Саша понимает деревья и грибы как какой-нибудь леший. Именно поэтому любовь к знаменитым местам и городам ярко и естественно выражалась у него в любви к родной Топлинке.

*К поездкам долгим не приучен,
в поездках просто я больной.
Ищу, ищу, а где же лучше?
Выходит, там, где дом родной.
Где речка бережно полощет
кусты, нависшие над ней,
и где разбросанные рощи
сплошь из раquit и тополей.
Где в раны синей раствориться,
коль будет надо, я смогу,
и где, как сказочные птицы,
блуждают тени на лугу.
И всё же ездил я немало,
чем чаще ездил, тем сильней
я ощущал своё начало
среди наших старых тополей.*

И в каждый приезд Саша угощает вяленой рыбой, прозрачной, как янтарь, он умеет довести её до ума — не пересушить, не пересолить, лучшую закуску к пиву не придумаешь.

Мне трудно назвать человека более земного, чем Саша, а с другой стороны — более книжного. И так же, как близки ему свои односельчане Иван Сапегин или Гера, живут в его душе Рудин, Онегин, Андрей Болконский. И еще картина: в конце апреля, когда вода холоднющая, мы с Сашей и с Виктором дерём раков, и я не впервые удивляюсь, что он, при неработающих ногах, прекрасно держится на воде и плавает! Под присмотром наших жен заглядываем по стакану водки и сидим у костра.

...Катаемся на лодке и среди бела дня читаем вслух по очереди привезённую мной книгу Солженицына “В круге первом”.

...В Старом Осколе предъявляем мой литфондовский билет, выдавая его за удостоверение “органов”, и получаем такси до деревни, где женится Сашин и Виктора друг.

...В нашей белгородской квартире лежит на диване шестимесячный приёмш, названный Сашей, — он уже Филатов. Так он и будет расти, белоголовый крепыш, воспитанный в естественных условиях любви и причастности ко всему, что любят его родители.



Встречи в Топлинке, в Белгороде, в Шебекино, в Шебекином Поле... Даже в Орёл приезжали Саша с Зиной.

Да, да, с Зиной, его верным и незаменимым другом, женой-берегиней. Его надёжным тылом. Скромный, покладистый человек, она и сама писала хорошие стихи, но никогда не читала их вслух. Забот у неё хватало, но я не слышал, чтобы она жаловалась. Самые добрые слова нужно сказать и о Викторе, младшем брате Саши. У него уже была своя семья, ребёнок, кстати, выросший отличным художником. Я мог бы перечислять и другие случаи, припоминать другие картинки, разговоры, споры — и не только о поэзии. К примеру, мы спорили с Сашей, чья пластинка Баха лучше — его или моя... Сходились на любви к Полонезу Огинского, “Делайле” Тома Джонса и так далее. Не говоря уж о поэзии — о русской классике.

Стихи, стихи, стихи... Свои и чужие, хорошие, гениальные, так себе. У Евгении Титовны, перенёсшей к тому времени операцию груди, хватало работы по дому. А Константин Стефанович трудился в колхозе. Это был колоритнейший человек. О таких говорят: “От скуки на все руки”. Только слово “скука” тут ни при чем. В 1945–1950 гг. он работал в Харькове — маляром, печником в богатых домах. Чтобы заплатить сельские налоги и прокормить семью. Он играл на балалайке, на мандолине, на гитаре. Был хорош собой — женщины всю жизнь завидовали его жене и втайне ненавидели её.

Многие черты отца генетически воспринял и Саша.

*Я воскресну в травах спелых,
в каждой ветке повилики,
на снегах иссиня-белых
неземным и сердоликим.
Я воскресну в сущем деле:
стогомётном и столярном.
сыном завтрашней артели
и земным и благодарным.*

Саша был романтиком и дружбу понимал в том духе, в каком её исповедовали Герцен с Огарёвым, Аполлон Григорьев... Он всегда был рад приезду Феди Овчарова, Ивана Пашкова... Вот отрывок из его письма: “Коля, вот что преследовало меня вчера и сегодня: кто же сделал нас такими? Почему мы, научившиеся



говорить правду всем на свете, от которой горько людям, никогда не говорим друг другу ту правду, от которой нам было бы легче и проще понять друг друга? Почему в письме я могу тебе сказать о самых лучших чувствах к тебе и твоей семье? И никогда не говорю этого при тебе вслух? Мы думаем друг о друге потому, что нам вместе надо одно — видеть друг друга, говорить, молчать, любить, беречь, не лгать...”

Повторюсь: Саше не надо было опрощаться, “опускаться” до “простых людей”, и его стихи о природе — это стихи о людях в природе.

Тут будет кстати сказать, что Саша не боялся писать на самые “забитые” темы. В конце концов, темы всегда одни и те же, вопрос не **что**, а **как?** — главный вопрос поэзии да и прозы.

*Уже стократно перепеты
напевы речек и полей,
и деревенок силуэты
на фоне знойных тополей...
А что же делать, если поле
на стыке стужи и тепла
свернулось в шарики фасоли
и осветилось добела?
А что же делать, если снова
от ежевики пухнет рот,
и хруст валежника лесного
скликает ягодный народ?
А что же делать, как объехать,
как обойти, не зацепив
плечом — соломенную стреху,
ногой — опавший чернослив?
Как пробежать степной дорогой,
не утонув в её пыли?
И дому прямо у порога
не поклониться до земли?*

Такие уж у него “предметные” стихи, в которых чисто зрительное восприятие переходит в чувственное. “От ежевики пухнет рот” — сразу чувствуешь оскому и пупырышки на губах. Благодаря точности, простоте, естественности, единственно верной интонации, рождается обаяние речи — и стихи хочется читать и перечитывать.



Со временем “болячка” ниже паха всё больше беспокоила Сашу. А тут еще пошли слухи о возможном затоплении родного села.

Говорят же, что рак – болезнь, связанная не только с физическими, но и с душевными травмами...

Я попросил своего старого друга Володю Ермолаева, работавшего на Севере, прислать Саше унты. Но ни эти утеплители, ни машина с ручным управлением уже не могли восстановить душевного равновесия. А переезд в город лишил Сашу, может быть, самого главного – ощущения живой природы, своего единения с ней. Кроме того, он теперь вынужден был так или иначе участвовать в “мероприятиях” Союза писателей Белгорода. Общаться с людьми, которых он и на порог не пускал, живя в Топлинке. Он со всей страстью человека и поэта воевал против затопления не только своего села, но и других, окрестных, но победить систему было невозможно.

В заключение хочу привести два стихотворения, посвященных им самым дорогим людям – жене и сыну.

Стихи сыну

*Прочитай, мой малыш, эту книгу Добра и Печали,
и по шепоту губ, как по шелесту знойных берёз,
я пойму наконец-то, о чем твои губы шептали,
когда розы засохли и клумбы остались без роз.
Я пойму, почему, прикасаясь рукою к протоке,
ты шептал еле слышно над мертвым скоплением воды:
“Надо только не спать и росу собирать на осоке,
и протоку поить,
и тогда не случится беды”.*

*Прочитай, мой малыш, эту Красную книгу Печали,
эту книгу Добра на границе страстей и тревог –
и поймёшь, отчего эти птицы кричали
на холодной развилке невидимых птичьих дорог.*

Зине

*Обещал в затонах острова,
терема в глубинах редколесья...
Как кружилась странно голова
и душа витала в поднебесье.*



*Обещал — ты верила словам,
забывал — печальная бродила.
И сама к незримым островам
в темноте дорогу находила.
Рассердясь, я из дому спешил —
я не верил с самого начала
в острова спасительной души,
в терема волшебного причала.
Но в полях, где гибельный мороз,
где звезда закатная кренилась,
я любил и чувствовал до слез
острова, которым ты приснилась...*





ВЯЧЕСЛАВ ВИДЧЕНКО

Ему еще не было тридцати, когда мы познакомились. Но он казался старше своих лет. Плотная фигура, мужественное лицо, ранние седины. Он отслужил семь лет на минных тральщиках. Балтика несколько приглушила его врожденный романтизм. Нервишки истрепались, появилась привычка выпивать. С первого взгляда трудно было поверить, что этот парень пишет тонкие лирические стихи, думалось — вот он, еще один рифмующий боевик. Даже в его “мужественных” стихах чувствовалось нечто лирически-надрывное:

*Вот дождусь только лета
после ливней и гроз,
в чистом поле за лесом
догоню паровоз.
...У Полярного круга
на баркасе рыбачьем
встречу старого друга
и, наверно, заплачу.*

Он был родом из Купянска Харьковской области. Родительский дом стоял метрах в трёхстах от железной дороги, а в полукилометре протекал широкий Оскол. Река приманивала с детства, а железная дорога звала в неизведанное. В конце огорода была криница. Заядлый рыбак и мечтатель, он рвался из родного гнезда и тосковал по нему.

При облике победителя в нём проглядывало провинциально-инфантильное. Душевный подъём внезапно сменялся неуверенностью в себе. Пьющие приятели, случайные встречи с женщинами, которые пугались его распахнутости, а также неудачи с изданием книг. Он, украинец, писал на русском языке, который прекрасно знал и чувствовал. Скрытые украинские националисты ставили ему палки в колёса, — думаю, что ими двигало больше осознание того, что он настоящий поэт, а они — просто сочинители...



Ему не везло во всём. Однажды он пригласил меня с дочкой в Купянск, и там мы стали свидетелями трагикомической картинки. Славу клюнул собственный петух, не в переносном, а в прямом смысле — клюнул так, что из вены брызнула кровь...

А стихи писались светлые, чистые.

*Моря, причалы, с вами не расстанусь,
но, бронзовый от солнца, как индус,
приеду я на тихий полустанок
и прямо в степь от поезда уйду.
Над пажнями рассвет белёсый
и облака белее лебедей,
я напрямик пойду к большому лесу
по молодой росистой лебеде.
Как леший, заберусь в орешник,
забуду всё, где север, а где юг...
и на поляне ягодой утешусь,
и улыбнусь трудяге-муравью.
И вспомню — где-то есть криница,
и вербы, и прохладные пруды,
и я пойду кринице поклониться
и зачерпну кувшинкою воды.*

Мы с ним сошлись сразу — на любви к поэзии, на тяге к бродячеству... Но у меня был надёжный тыл: жена, дочка, тёща держала кур, гусей, откармливала кабанчика... А он был одинок... Он приезжал ко мне в Шебекино Поле, я бывал у него дома. Заносило нас и в Москву, там мы останавливались в общежитии Литературного института. Я познакомил его со своими друзьями. Особенно часто ездили в Харьков. Там-то и произошла моя “медвежья история”, к которой и он был причастен.

Моя малолетняя дочка давно просила показать ей зоопарк, которого не было в Белгороде. И мы повезли ее в Харьков. Перед походом к животным зашли в кабачок на Сумской... а потом, когда проходили мимо клетки с медведем, дочка спросила: “А мишка кусается?” В ответ я, не долго думая, протянул руки между решетками и попытался обнять медведя... Может, он почувствовал запах алкоголя или просто проявил свою звериную независимость — во всяком случае, он дернул мою руку когтями чуть не до кости... И тут появилась служительница зоопарка, она стала кричать, что позовёт милиционера, пришлось убежать,



но я в растерянности заблудился и оказался в клетке со слоном. У меня были леденцы шашечками, которые я покупал для дочки, и я стал кормить ими слона. Он очень вежливо и аккуратно брал их с моей ладони своим хоботом и отправлял в рот. Но и тут меня нашла служительница. Она стала кричать, что слон схватит меня и ударит об землю...

В Белгороде Лида как раз сдавала экзамены в библиотечном техникуме и стояла на квартире у моей коллеги по местной молодёжной газете “Ленинская смена”. К утру руку разнесло так, что обе женщины испугались и погнали меня в больницу. Там мне сделали противостолбнячный укол и приказали пройти целый курс, чтобы избежать заражения крови. Но в те времена на мне всё заживало очень быстро, и мы с женой спокойно отправились к себе в село. А спустя неделю из Белгорода пришла открытка: “Если вы не явитесь на прививки или не представите справку, что животное, покусавшее вас, здорово, мы приведем вас с милицией”. Смех и грех! Пришлось давать Славе телеграмму в Харьков, где он в очередной раз пытался устроиться на работу, он пошел в зоопарк, насмешил там всех моей телеграммой и прислал мне заверенную справку...

Вообще мы с ним оказались склонными ко всякого рода происшествиям, связанным с привычкой к бродяжеству.

В советские времена частная собственность и предпринимательство были запрещены и строго наказывались. Но предприимчивых людей, умеющих обойти закон, было достаточно — “цеховики”, “валютчики” и прочие подобные им дельцы. В том же Харькове занималась запретным промыслом одна крупная фотография. Делалось это так: нанимали агенты, которым выдавали командировочные и отправляли в самые отдалённые, желательнее глухие райцентры и сёла. Там они показывали образцы семейных фотографий, увеличенных до портретов. Славе дали деньги и послали в Чапаевск Куйбышевской области. Он предложил мне поехать с ним. В гостинице городка мы должны были дожждаться своих дублёров и вместе с ними продолжить вояж. Но — не дождались: загудели и... тут я вовремя вспомнил, что в самом Куйбышеве живёт родная тётка моей жены. И мы отправились в гости к моим родичам. У тети Насти было трое сыновей и две дочки. Свой самогонный аппарат...



Мы у них закорились на трое суток, а потом отправились “на перекладных” по волжским городам. Был канун пятидесятилетия Советской власти, и мы всюду были желанными гостями: при мне был писательский билет и три книги стихов, а Слава предьявлял несколько газетных вырезок. В Куйбышеве нас представил в газете Валентин Столяров. Командировочные были на исходе, и тут подоспел гонорар за публикацию в газете.

Ребята свозили нас на ту сторону. Я впервые в жизни прокатился на пароме. Мы пили “жигулёвское” в Жигулях, закусывая свежей таранкой.

Отправились в Горький на “ракете”. Там тоже над нами взяли шефство ребята из молодёжной газеты. Дали подборки стихов, договорились с местным телевидением... Короче, мы разбогатели! Вот одно из стихотворений, опубликованных Славой в горьковской газете.

Оскольная сказка

*Дождёмся часа. Город сонный
прилёт на пасмурные склоны,
и слышно, как журчит в затоне
всю ночь оскольная вода.
Сбежим тропинкою туда.
О, сколько сказок на Осколе
услышим летней ночью мы!
Таскают лунные осколки
осеребрённые сомы...*

Мы навестили родной дом Алёши Пешкова, красильню, “комнату Варвары” в подвале, дубликат креста, под которым надорвался Цыганок... Всё это производило страшное впечатление. Потом стали искать дом, где молодой Максим Горький встречался с Короленко. Нашли улицу, но таблички нигде не было. Мужички, сидевшие на брёвнышках как раз напротив нужного нам дома, и понятия не имели о том, что сидят напротив мемориального строения...

Казань миновали транзитом — было воскресенье, и редакции не работали, зато в Ульяновске мы обошли всё, что представляло хоть какой-то интерес. Все три дома Ульяновых.



Потрясающее впечатление произвели на нас комнаты-пеналы на каждого члена семьи — это пахло подпольем... Слава, услышав от женщины-экскурсовода, что Володя Ульянов гимназистом переплывал Волгу на том месте, где она сливается со Свиягой, решил попробовать и перемахнул сначала на ту сторону, а потом обратно! Мы и в гимназии, где учились Ульянов и Керенский, тайком присели за парту будущего вождя... Вскоре после возвращения у Славы наконец-то вышла небольшая, но зато отдельная книжка стихов.

*Спелым летом спелые черешни
с веток повисают над водой.
Я еще совсем не постаревший,
но уже не очень молодой.
Слышу я, как тоненькая жилка
тихо-тихо бьётся о висок,
и как рыба трогает наживку,
и шуршит отмоченный песок,
и трещит высокая осока
там, где быстрая течет вода...
У меня есть время... и до срока
с этих мест не съеду никуда.*

В последнее время он собирался писать прозу, повесил у себя знаменитый портрет Хемингуэя, и в его разговорах то и дело мелькало словечко “Хэм”... И тут я получил от него открытку — он лёг в больницу лечиться от алкоголизма. Беда в том, что “контингент” этого лечебного заведения в своём большинстве только делал вид, что лечится, — выпивали кто больше, кто меньше и удержаться было трудно. Мы с другом — Сашей Масловым — поехали навестить его, выглядел он не очень-то весёлым...

А потом я узнал, что, выписавшись из больницы, он уехал домой в Купянск и там покончил с собой...

Мир праху твоему, дорогой мой друг!



А ПОМНИТЕ, ДРУЗЬЯ?

А помнишь, Игорь Чернухин, наши ночные посиделки у тебя на кухне, когда ты жил в районе Выставки и работал нормировщиком на стройке?

Для затравки разговора нам хватало одной бутылки вина. А говорили мы обо всём – была хрущёвская оттепель. Но главное – о поэзии. Заново открывали для себя знакомых больше по слухам Есенина, Бориса Корнилова, Павла Васильева. Только что освободившихся – Смелякова, Ручьёва... Свежие для нас строки этих поэтов сразу запоминались: “От Баку до Махачкалы” – Корнилова, “Красное солнышко”, “Она прикажет, я реву медведем, она велит – я соколом лечу!” – Ручьёва. В Москве уже погромывали Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина... Читали, конечно, и своё. До сих пор помню твоё стихотворение – “У девушки весёлые глаза...” А у меня уже были “Стихи о детстве”, “Аппассионата”...

Москва 1961 года. Мы с тобой поступаем в Литературный институт. Лёшка Труфилов с его знаменитыми строчками “Не ставьте крест, поставьте штык, чтоб я и мёртвый мог колотиться!” Пётр Мнацаканян, которому сообща выбирали псевдоним “Вегин”, Роберт Винонен, Виктор Потанин и многие другие...

А можно ли забыть нашу с тобой и Сашей Масловым поездку в Новый Оскол? Симпатичная директриса средней школы по имени Надежда подкармливала нас, не забывая ставить на стол бутылочку после каждого выступления.

Той же компанией навестили мы Ивана Пашкова в Бехтеевке сразу после его освобождения из мордовского лагеря. Вечерний туман над речкой Корочей и утренний луг в росе. Хозяин то и дело ставил проигрыватель – что-нибудь классическое, чувствовалась школа лагерной интеллигенции. Мы только тогда узнали, за что Ивана посадили: он написал приятелю письмо, в котором не



слишком хвалебно отозвался о белгородском секретаре обкома. Похоже на то, что за ним, выпускником Киевского университета, велась слежка со студенческих времён. Пашков был виноват в том, что не выдал своего приятеля, который – один из многих – был настроен националистически.

И вот мы четвером сидели у Ивана дома и методично уничтожали бидон браги – и к утру уничтожили, на что Иванова матушка, счастливая возвращением сына, только головой покачала...

*...А помнишь, был ночник и были тени,
и дикторша бубнила про судьбу,
а “Лунная” входила по ступеням
в пригорбленную временем избу.
Остался за спиной мордовский лагерь,
ты был свободен, молод и горяч,
мы каждым тостом свекловичной браги
салютовали времени удач...*

Однажды, Игорь, мы с тобой и с другими ребятами засиделись до послеполуночи в одной из комнат Литинститутского общежития. Я гитарил и пел блоковское “О доблестях, о подвигах, о славе”. К третьему часу ночи всё было выпито и, как всегда казалось, недопито... У меня на пальцах взбухали мозоли, и вот тут-то к нам без стука ввалился лысоватый невысокий парняга с пристальными глазами и развалкой бича или матроса. Он попросил повторить песню, потом ещё и ещё... Ему поставили условие – притащить “горючего” – и тогда будем петь хоть до утра. И он минут через пятнадцать вернулся с флаконом духов... Потом сам взял семиструнку, и мы впервые услышали “Горницу”, “Стукнул по карману – не звенит”, “Доброго Филу”. Это был Николай Рубцов. Восприняли это как отличные, чуть приклатнённые песенки... Вот отрывок из моего стихотворения “Памяти Николая Рубцова”:

*... колобродит поэтская вольница
и не смотрит в затылок судьбе,
все равны и дружны, но, как водится,
каждый гений и сам по себе...*

А летний вечер у тебя в посадке, когда Саша Маслов привёз из Мариуполя две тяжелые низки таранки да еще пригнал



на такси ящик пива! На наш ночной костёр набрали местные парни и девчата с гитарой. Пели, читали стихи. Я тогда впервые услышал твоё – “В России снег идёт, в России шестидесятые года” – широкие стихи...

Саша – высокий, в жокейской кепочке, прекрасно пел и улыбался полумесяцем, он всегда богатырствовал.

*...Ночной костёр, гитара, ящик пива,
колючих звезд неугасимый свет...
Он был красив и жить умел красиво,
как истинный художник и поэт.*

Помните, Наталья Глебовна, как вы хлопотали о выдаче мне гонорара за ненаписанную еще брошюру “Полонез Огинского”, как устраивали меня в газету в Бабровых Дворах, а в бытность мою баянистом в Новотаволжанке редактировали первую книжечку моих стихов? Однажды мы с Павлом Мелёхиным заночевали у вас, и вы наутро кормили нас гречневой кашей с молоком, объясняя её полезность... А нам после вчерашнего требовалось совсем другое. Ваша младшая дочка дичилась и пыркала в ладошки, чем-то напоминая Наташу Ростову.

Помнишь, Галя Ходырева, как часто мне приходилось ночевать в вашей домашней “библиотеке”, когда я приезжал из деревни в Белгород? Твой деликатный муженёк, с которым мы частенько “ударялись головой о подушку”, окрестил эту комнату “перовской”. Всегда слегка лукавый и не падающий духом выпивоха, он был артистичен, да и работал несколько лет в областном драмтеатре. И писал одноактные пьесы. Был у него один коронный номер – кто как пишет: фашист, антифашист, коммунист... Фашист поливал стену с громким шипением, как из брандспойта, антифашист зажимал свой прибор, чтобы не сразу выпускать всю струю, и так далее... Я молча удивлялся твоему, Галя, добродушию и умению с весёлой обречённостью растасовывать разношерстную публику: утихомиривать буйного Тимку, вашего совместного с Сашей мальчишку, отправлять в школу второго сына, кормить третьего и собирать главного своего ребёнка – Сашу Аляутдинова.

А помнишь, Юра Марченков, старый купеческий особняк с гулками ступенями лестницы, где помещалась первая редакция



“Ленинской смены”? Где мы квартировали иногда целой компанией за неимением другой жилплощади — ты, Юра Гринько, я и частенько присутствовавший за полночь Володя Зайцев с его невероятной доброй хрипотцой и неизменным костыликом — в молодости он попал под поезд и навсегда остался инвалидом... При нём и другие становились более мягкими и покладистыми.

А помнишь, Саша Потапов, нашу поездку с тобой и Юрой Грязновым по районам области с целью агитации за подписку на нашу общую альма-матер “Ленинскую смену”? Пока Юра занимался подготовкой к ужину, мы с тобой сочиняли в саду песенку:

*...Я, весь воспитанный литературою,
шагаю в ногу со своей женой,
за пролетарскую за диктатурую
я, как за каменной, сижусь, стеной...*

А помните, ребята, поездку в Томаровку и Борисовку, с нами тогда были Майя Румянцева, Юра Першин и другие приезжие из соседних областей писатели. Мы сообща сочиняли гимн белгородских писателей. Шутливый, конечно...

*Белгород, конечно, не Белград,
женщины здесь ходят с телом белым,
здесь не взрывает виноград,
но зато здесь очень много мела.*

Володя Молчанов, уж ты-то знаешь наизусть сосновый бор Новой Таволжанки и лиственный лес на высоком берегу Старой. Озерца в бору, заливной луг, тарзанку, помнишь запахи хвои, мокрой травы, туруканье лягушек. Думаю, не забыл, как еще мальчишкой помогал мне таскать тяжелый “Тульский” баян, слушал и мои стихи, а потом и сам стал музыкантом и поэтом, причем, музыкантом повыше классом, чем я, да и поэтом настоящим... А вечеринка у Шурдуков, когда мы с Сашей Масловым приезжали в командировку от “Ленинской смены”? Сладко спалось мне в обнимку с землёй в директорском садике!

*...Таволжанка — лесное зелёное царство,
край цветущих лугов и слияния рек,
время музыки, первых стихов и гусарства, —
всё, что в юности может любить человек...*



Однажды ночью мы таскали бредень недалеко от Белгорода вдоль и поперёк речушки, а потом, искусанные комарьём, согривались и сушились у костра, и местный шустряк с одной рукой несколько раз бегал в село — то за сковородкой, то за самогонном и всё хохмил, развлекая нас, “городских”...

Отслужив в армии, ты вошел в нашу белгородскую квартиру, потому что дверь оказалась открытой, — вошел без стука, чтобы не разбудить хозяев в два часа ночи... ты знал, что наша дверь всегда открыта для друзей...

И тут по ассоциации я вспоминаю, как мы с Виктором Шопиным — царство ему небесное! — решили в ночь на первое апреля совершить что-то необычное, чтобы всех удивить. Он предложил искупаться в реке, но я настоял на том, чтобы мы пошли пешком в Шебекино Поле к моей тёще пить молоко... И мы всю ночь тащились — благо весна была ранняя! — по пустынной дороге все тридцать пять километров. Не доходя каких-то пятисот метров до нашего села, я уснул на ходу, а когда пришли, моя тёща ничуть не удивилась и только спросила: — Чи пешком шли, сынок?...

С тобой, Федя Овчаров, и с Иваном Сапегинным из Топлинки, другом Саши Филатова, мы напрасно пытались проникнуть в комнату Володи Молчанова в шебекинском Доме культуры. Нам надо было распить бутылочку. Пришлось мне взбираться на второй этаж по водосточной трубе и, пройдя по оконному карнизу, влезать в открытую форточку...

А твой, Федя, приезд ко мне в село с Васей Киреевым на велосипедах, когда на обратном пути ты заночевал в копне сена?! А горящее поле пшеницы за колхозным садом, которое мы тушили, помогая местным мужикам?...

А помнишь, Дима Маматов, как ты издевался надо мной, когда я залез в твою епархию — написал басню: “Однажды серый кот сказал слону: “Я голову тебе сверну!” А поджаристая пахучая и хрустящая буханка хлеба, которую ты “позычил” на глазах у изумлённых пекарей?...

*Акварельно-пятнистое небо
цвета риски в весеннем затоне
и буханка горячего хлеба
на твоей безразмерной ладони...*



Сколько раз вы со Славой Романюком “отправляли” меня в дальние края, чтобы подзанять деньжонок на выпивку у сердобольной матушки “пирата”!

А помните, Зина Филатова, и ты, Саша Филатов-младший?.. Сколько всего яркого, памятного, что и не знаю, с чего начать и чем кончить. Сказочная Топлинка! Двор Филатовых и стол, накрытый посреди этого двора для своих и гостей, садик, сарай и стихи, стихи, стихи... Берег Донца и Саша с удочкой, то и дело вытаскивающий из воды подлещиков... И он же в плоскодонке посреди “лужи”, когда Витаминный комбинат выпустил свою отраву в Донец... Колоритный отец семейства Константин Стефанович, мастер на все руки в прямом смысле — и печник, и строитель и, ко всему прочему, прекрасный балалаечник, гитарист, исполнитель песен на мандолине... И ты, Зина, всегда при деле, безропотная, надёжная, гостеприимная... Вяленые прозрачные лещи, которые всегда доведены до кондиции — не пересушены, не пересолены, прозрачные, как янтарь, водочка, музыка — Бах, Том Джонс, Полонез Огинского... И — всегда интересные разговоры и споры о поэзии и, конечно же, прекрасные Сашины стихи. Стихи романтика и в то же время очень земного человека...

А помнишь, Володя Михалёв, мои наезды в твоё “родовое” гнездо — в село Стариково Старооскольского района? Вижу тебя на берегу речушки Убли под широким дубом с книгой Шкловского из серии ЖЗЛ — “Лев Толстой”. Солнечный выгон, отара, мальчишки-подпаски и пара бутылок дешевого вина, Твои узловатые, в трещинах, руки чабана — после окота овец, — самому довелось пасти эту скотину в предгорьях Тянь-Шаня, и я знал, что почему...

В тот день нам, как всегда, не хватило... и я помчался верхом на коне напрямик к твоему дому, чтобы взять в своём чемоданчике несчастные рубли и купить в лавке еще бутылочку... А у вас там болота посреди песчаного выгона, и я чуть не утопил бедную лошадь... Спасибо, какой-то мужик успел перехватить меня на краю трясины... и отматюкать... Можно ли забыть твои самотытные образные строки: “Смотри, девчонка с коромыслом,



себя и вёдра береги” или: “На почках точек многоточия, как недосказанная мысль” и многие другие...

*...Жаль, что природа не делает дублей,
я бы опять приземлиться готов
над первородной пастушеской Ублей,
образно-свежей, как сам Михалёв...*

Помнишь, Володя Брагин, как мы приезжали к тебе на сахарный завод, и ты, неукротимый, как большой ребёнок, с резкими жестами, склонив набок длинную шею, всегда что-то доказывал и делился с нами подробностями своих ухаживаний за чумазыми заводскими девчонками... И без конца читал оригинальные, как бы детские, а на самом деле просто отличные полновесно-поэтические стихи: “О сосну, красней, чем медь, почесал свой бок медведь и оставил шерсти клоки стаям галок да сорок”...

А помнишь, Лёня Малкин, наши часы, можно сказать, и дни, проведённые в подвальчике у Юры Марченкова, где мы “проявлялись и закреплялись”, не забывая опрокинуть стаканчик... А наша с тобой поездка в Вильнюс к прекрасному писателю Константину Воробьёву? Ты “барражировал” достойно, а я ухитрился сказать что-то не то этому святому человеку, когда он вдруг заплакал над моими стихами о беспризорстве. Я тогда не знал, что он и сам рано остался без родителей. Только в поезде выяснилось, что я уехал от него в домашних тапочках, а ведь ещё лежал снег. Зато какое письмо прислал мне Воробьёв, вложив его в один из моих ботинок! “Дорогой Николай! Не переживай, всё нормально. Виноват, конечно, этот проклятый ром! Я беспокоился, как ты доехал в тапочках. Спасибо тебе за стихи!”

А помнишь, Коля Харченко, как жгли костры в лесочке недалеко от кинопроката? Лида, Коля Краснов, Виктор Шопин, мы с тобой и ещё кто-нибудь, тот же Саша Аляутдинов... Это он прозвал лесок “перовским”. Однажды, выходя на похмелье из квартиры, я обнаружил у порога кирзовый сапог и в нём бутылку “солнцедара” и догадался, что — от тебя...

Помнишь, Таня Олейникова, собрание в обкоме, когда на меня накинута Васильев, тот самый, который потом был министром мелиорации и ратовал за поворот рек? Ты одна тогда не отвернулась от меня... А когда ты была ещё девчонкой, я работал в селе



Бутово Томаровского, твоего и чернухинского района, учителем физкультуры и музыки. Моим шефом был Данилов, да, тот самый Данилов, что основал оркестр домристов при Доме культуры в Томаровке, – твой учитель. Как он меня чехвостили, приезжая в Бутово, за то, что мой хор “не поёт, а орёт”... А что я мог поделывать, если в этом хоре половина “певцов” была всегда “под газом”, и мои школьники не могли перепеть колхозных парней и девчат... Остался в памяти скверик, огороженный штaketником, через дорогу от ДК, желтеющие сентябрьские деревья и музыка, музыка из открытых окон дворца. Без вашей с Игорем Томаровки, без “золотой” Ворсклы тебе вряд ли удалось бы написать свой отличный “Провинциальный город”, я считаю – это шедевр!

*...Томаровка, Борисовка с лесом на Ворскле,
слябода богомазов и домик Петра,
всё, что рядом, поблизости, около, возле –
светит, греет, сквозит, как дымок от костра...*

А помнишь, Саша Машкара, нашу поездку в твой родной Новый Оскол? С Иваном Рыжих, когда ему было присвоено звание “хранителя” большой спички? А еще мы пересочиняли некрасовскую “Бабушку Ненилу” на манер Евтушенко, Вознесенского, Твардовского... Жаль, что нельзя привести оттуда хотя бы пару строк – уж очень они “колоритны”... А наш знаменитый “бросок на юг”! Молдавия, ночевка в котельной гостиницы “Националь” или как там она? Кодры, игривое молдавское вино, которое так внезапно кладет тебя на лопатки. Севастополь! Малахов курган! Графская пристань!.. Памятник погибшим кораблям. Исклѣванные птицами грозди винограда в палисадниках, кипарисы Корабельной стороны и море, море, море...

*С подгулявшими матросами
и с портовой голытьбой
мы дымили папиросоми
по прозванию “Прибой”.
...Я, беспечный, как растение,
в рифму думал и мычал,
ветер нѣс листву осеннюю
с паранетов на причал.*

А потом был уютный теплоход “Абрау-Дюрсо”, переход до Одессы и сама эта Одесса! Стоило нам только сойти на берег,



как мы слышали из уст какой-то еще не старой тетеньки: “Он у нас такой мальчик, такой мальчик” – и, конечно, с чисто местной еврейско-украинской интонацией...

А сколько всего мы могли бы припомнить с теми, кого уже нет на свете. И даже некоторые из тех, кого я спрашиваю “помнишь”, числа их живыми, ушли за последнее время... Земля стала пухом для Володи Зайцева, Юры Чубукова, Коли Грибанова, Саши Маслова, Саши Филатова, Славы Видченко, Саши Аляутдинова, нашей милой секретарши Раисы Александровны и других...

Царство им всем небесное!

*...Голосами друзей и знакомых
мне акупают поле и лес,
соловьи из душистых черемух
сыплют ноты, как манну с небес...*





СОДЕРЖАНИЕ

СТОПА ТЪОЯ ЛЕТКА

Блажь	6
Тропинка	7
Глоток воды	8
Ночные города	9
Бессонница	10
Прозреньё	11
“Жить! На закате и рассвете...”	12
Моцарт	13
“Причуды, страсти, праздность гения...”	14
Сад	15
“Глухая тишина легла на Карадаг...”	16
Ночь	17
Птицы	18
Муза	19
Картина	20
Гаснут свечи каштанов	21
В расколдованном мире	23
Ещё заигрываю с музой	24
Час пик	25
Герой	26
Лунная ночь	27
Аноним	28
Камень	29
Упал в траву	30
Бомж	31
Фальстарт	32
Холода	33
Листопад	34
Журавли	35
Об осени писать...	36
Дворник	37
Заводь	38
“Остывший Орлик, палая листва...”	39



“Морозцем тронута рябина...”	40
Брожу по осени	41
В детском парке	42
Аллея	43
Степное озеро	44
“И снова этот запах...”	45
Паутина	46
“Дремлют лилии в озёрах...”	47
“Когда капли накопились...”	48
“Стопа твоя легка...”	49
На Орлике	50
“Камыши и прибрежные ивы...”	51
“Опять на юг уходит лето...”	52
Весна	53
Последние льдины	54
Пусты поля	55
Осенние костры	56
Предзимье	58

ЪСТАНЬ И ИДИ!

Благовест	60
Соблазн	61
Агат	62
Слова	63
Звезда	64
Итоги	65
Зависть	66
Сонет	67
В райцентре	68
Плита	69
Философ	70
Лебеди на Орлике	72
Рынок	73
Памяти поэта	74
В сонном молчанье	75
“Я заблудился, как в лесу...”	76
“На пепелища и кресты...”	77
Геометрия жизни	78



“Жизнь не отбрасывала тени...”	79
“Друзей поблекшие черты...”	80
Тени	81
Легенда	85
Корни	87
Колодец	88
Свобода	89
Туман	90
Диоген	91
Сократ	92
“Гляди! Пушистый жеребёнок...”	93
Флоксы	94
Ялта	95
Партенит и вокруг	97
Стрекоза	100
Коктебель	102
Концерт	105
Мастера	106
Вёрсты	108
Наш дом	109
В роли акына	110
Полынья	111
Проходные дворы	112
Муравей	114
Чужак	115
Тесей	118
Комната смеха	120
Перед зеркалом	123
Зола	126
Пегас	127
Время	128
Память	129
Встань и иди!	130

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Первый снег	132
Щенок	133
Девчонка	134



Чудо	135
В Мерзляковском переулке	136
Ау!	138
“Еще до слов, еще до встреч...”	139
Любовь	140
Прощай	141
Лиде	142
Дева	143
“Когда от пыли и от зноя...”	144
Звезда упала	145
Женщины	146
Углы	147
Ожидание	148
Грации	149
Ночные стихи	150
Теперь	151
Ковчег	152
“Холод и сырость...”	153
У запруды	154
Девчонки	155
Петербург	156
Болдинская осень	157
Променад	158
Дождь	159
Крест	161
Судьба	162
Фотографии	163
Чумацкий шлях	165
Узлы	166
Отражения (фантазия в форме венка сонетов)	167
Мартовская поэма	175

ЗА РАДУГОЙ (РАННИЕ МОТИВЫ)

За радугой	180
Галчонок	181
Старик	183
Библиотекарша	185
Арбовоз	186



Тюльпаны	188
Этот город	189
Мираж	190
“Риорита”	192
День Победы	193
Речушки	195
Тимоша	196
Застава	197
Игрушки	198
Таволжанка	199
Ностальгия по Севастополю	200
Лёнька	201
Эхо	203
Духовой	204
Розарий	205
Чайхана	206
Баянист	207
Голубятники	208
Лапта	210
Водовоз	211
Рассвет в горах	213
Весна	215
Бежин луг	217
Сирень	218

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

Ремесло	219
Лиде	220
“Я сказал: научи меня, степь...”	221
Тайна	222
После бурелома	223
Маска	224
Жизнь	225
“Можно подняться к могиле Волошина...”	226
На уроке	227
Стручки	229
“Поэт, раскрученный вполне...”	230



ОСЕНЬ В ГОРОДЕ

Осень в городе	232
----------------------	-----

ПОЭЗЫИ И РАССКАЗЫ

Дорога к дому	240
Стоит гора высокая	273
Дорогой и любимый, или “Что зря”	367
Старинный марш	393

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Колесо истории	410
Сергей Наровчатов	426
Николай Рубцов	433
Павел Мелёхин	440
Александр Филатов	448
Вячеслав Видченко	455
А помните, друзья?	460



НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ ПЕРОВСКИЙ

ЖУРАВЛИ НЕ ТОЛЬКО УЛЕТАЮТ...

СТИХИ · ПРОЗА · ВОСПОМИНАНИЯ

Ответственный за выпуск *А.П. Литюга*
Технический редактор *Н.М. Крыжановская*
Художник *Т.С. Блинова*
Корректор *Н.П. Новикова*

Издательство “Вешние воды”. 302000, г. Орел, ул. С.-Щедрина, 1.
Подписано в печать 19.06.2009. Формат 84 x 108 ¹/₃₂. Усл.-печ. л. 25,72.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Тираж 1200 экз. Заказ _____.

Отпечатано в ОАО “Типография “Труд”.
302028, г. Орел, ул. Ленина, 1.